



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

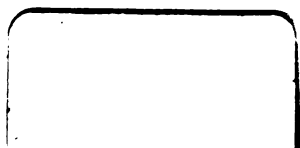
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

IV.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1904 ГОДЪ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

С. Найденовъ. Авдотьяна жизнь.
С. Гусевъ-Оренбургскій. Страна
отцовъ.
А. Лукьяновъ. Кузнецъ.
М. Горькій. Тюрьма.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1905.

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Bullman, Michigan 49457

891. 708

53

v. 4.

СОДЕРЖАНІЕ:

	СТРАН.
С. Найденовъ. Авдотьяна жизнь	5
С. Гусевъ-Оренбургскій. Страна отцовъ.	7
А. Лукьяновъ. Кузнецъ	295
М. Горькій. Тюрьма	301



С. НАЙДЕНОВЪ.

АВДОТЫНА ЖИЗНЬ.

ДРАМА ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ВИКТОРЪ ВИКТОРОВИЧЪ ИЗЮМОВЪ, банковскій чиновникъ.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА, жена его.

СТЕПАНЪ ИГНАТЬЕВИЧЪ ХВОСТОВЪ, купецъ, отецъ Авдоты Степановны.

СОФЬЯ СЕРГѢЕВНА, мать ея.

ПЕЛАГЕЯ ДМИТРИЕВНА ВАСИЛЬКОВА, хорошая знакомая Изюмовыхъ.

АБРАМЪ ЕВТИХЬЕВИЧЪ КАРТИНКИНЪ, банковскій чиновникъ.

ПАВЕЛЪ ГЕРАСИМОВЪ, крестьянскій сынъ.

НЯНЯ ДѢТЕЙ ИЗЮМОВЫХЪ.

ЛУША, горничная Изюмовыхъ.

АНФИСА, толстая баба.

Дѣйствіе происходитъ въ провинціи.

Авдотьи́на жи́знь.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Нижній этажъ стараго столѣтняго дома со сводами. Низкая душная комната съ желѣзною балкою, распирающей стѣны, она представляетъ гостиную и столовую. Обѣденный столъ стоитъ по срединѣ комнаты. Въ углу на заднемъ планѣ — божница, передъ которой теплится постоянно лампадка и на этотъ разъ на столикѣ горитъ еще восковая свѣча. Остальная меблировка: піанино, акваріумъ, мягкая мебель въ декадентскомъ вкусѣ производитъ впечатлѣніе случайно занесенныхъ вещей въ эту душную комнату со сводомъ. Три окна въ задней стѣнѣ выходятъ на площадь, по срединѣ которой проходитъ ровъ съ непросыхающей зловонною водою. Изъ оконъ виденъ городъ, расположенный по горѣ. Дома большею частью деревянные. Тускло свѣтятся кое-гдѣ керосиновые фонари.

Въ комнатѣ три двери: одна—въ спальню, другая—переднюю третью—проходную комнату.

Апрѣльскій вечеръ. Окна открыты. Изъ городского сада доносится иногда музыка. Въ комнатѣ полумракъ.

По поднятіи занавѣса, Изюмовъ въ тужуркѣ ходитъ по комнатѣ; часто подходитъ къ окнамъ и заглядываетъ, — повидимому онъ кого-то ждетъ и чѣмъ-то взволнованъ.

Это человѣкъ лѣтъ 30-ти здоровый и крѣпкій, но имѣетъ видъ больного человѣка. Носитъ круглую бороду и короткіе волосы на головѣ.

Входитъ няня, старушка лѣтъ 60-ти.

няня. Андрюшенька не спитъ... Балуется... Васъ зоветъ... Все спрашиваетъ: не пришла ли мама?

изюмовъ. Ахъ, няня... (Про себя) Вотъ мученіе-то. (Обращаясь къ нянѣ) Не могу я въ дѣтскую входить безъ нее... сердце сжимается... Посмотрю на дѣтей и...

няня. Подите... Не уснетъ безъ васъ, разбалуется, сонъ разгуляетъ... Вонъ-то какая опять... (Подходя къ окну) Должно-быть съ бойни воду спустили...

изюмовъ. (Съ отчаяніемъ, махнувъ рукой) А ужъ я ничего не слышу! Какъ мертвый сталъ...

(Уходитъ черезъ проходную комнату въ дѣтскую)

няня. (Затворяя окно) Душно будетъ... Пусть ужъ лучше повоняетъ немного... (Оставляетъ окна открытыми. Встаетъ на стулъ и поправляетъ лампадку, шепча себѣ подъ носъ) Троеручица... все-то ты видишь... Все-то ты объемишь... (Тихо напѣваетъ густымъ голосомъ) Господи, помилуй насъ, помилуй насъ... Святы Боже, святы крѣпки, святы безсмертны...

(Входитъ Изюмовъ)

изюмовъ. Не могу... Не могу я... Ступай, няня, къ нему... Все спрашиваетъ: гдѣ мама? пришла ли? Ну,

что я ему скажу? Въдь онъ понимать начинается... Это ужасно, няня... Ужасно...

(Садится за столъ, хватается себя за голову и задумывается)

няня. Все образуется... Не очень ужъ вы... Вонъ свѣча горить... шестая... А двѣнадцатую зажжемъ внизъ концомъ, и образуется... Дошлый онъ... этоть-то, который мнѣ говорилъ про это... Сидѣли мы съ нимъ въ оградѣ у Саввы Преподобнаго... Деревья тамъ большущія, прохлада отъ нихъ и запахи душистые... Вороньи гнѣзда, на вершинахъ-то... Онъ и говоритъ: двѣнадцать свѣчъ...

изюмовъ. Ступайте къ нему... Слышалъ я про это... Свѣча горить...

няня. Ну, пойду... Баловникъ ужъ больно становится.

(Идетъ въ дѣтскую)

изюмовъ. Сонечка, чай, опять разметалась... Одѣяльцо-то накидывайте на нее, — простудится, не лѣто...

(Няня уходитъ. Въ окнѣ появляется Пелагея Дмитріевна Василькова. Она дѣвушка лѣтъ 35 съ тупымъ невыразительнымъ лицомъ. Плечи у нея узкія и шея какъ будто бы расплывается по плечамъ; туловище маленькое, а средняя часть тѣла безобразно шпрокая; зубы черные отъ безпрестаннаго куренія табаку. Молодится, носить платья свѣтлыхъ цвѣтовъ)

ВАСИЛЬКОВА. (Въ окнѣ) Дома?

изюмовъ. Наконецъ!.. Что такъ поздно сегодня вы? Дѣти ужъ заснули...

ВАСИЛЬКОВА. Одни?

изюмовъ. (Съ грустью) Одинъ... Ушла въ семь часовъ... Не возвращалась... Я сейчасъ отопру...

(Уходитъ въ переднюю и скоро возвращается вмѣстѣ съ Васильковой)

изюмовъ. Надо лампу зажечь... (Зажигаетъ лампу) Я и свѣту-то сталъ бояться... Утромъ по улицамъ въ банкъ страшно ходить... А, ну-ка, кто подойдетъ, да и спросить: какъ ваша жена? Подумайте, что скажу! Срамота...

василькова. Ну, что? Какъ вчера, когда я ушла?
(Закуриваетъ папиросу)

изюмовъ. Читала, до двухъ часовъ ночи читала... Я спать хочу, глаза слипаются... Въ банкѣ вчера до десяти часовъ работали, — къ ревизіи мы теперь готовимся. А она ничего не понимаетъ, лежитъ, какъ болванъ, и свѣчи не тушить... Говорю: спать хочу, а она: „ступай, да спи въ кабинетѣ“, — буркнула и опять въ книгу носъ уставила... До двухъ часовъ...

василькова. А что читала-то?

изюмовъ. Да, да!.. Я и забылъ сказать... Съ книгой вѣдь она вчера пришла... Мы не замѣтили... Должно быть онъ ей далъ... Толстущая книга... Я сейчасъ принесу... У ней лежитъ на столикѣ передъ кроватью. (Уходитъ въ спальню и возвращается съ книгой) „Къ свѣту“ называется...

василькова. Знаю... Читала въ журналахъ объ ней хорошіе отзывы.

изюмовъ. Да, можетъ быть, и хорошая, да только не для нея. (Развертывая книгу) Тутъ вѣдь Богъ знаетъ о чемъ пишутъ... Вотъ, напримѣръ, статья: „О законномѣрности социальныхъ явленій“... Ну, что она тутъ пойметъ? Скажите на милость... Зачѣмъ ей это нужно? Я больше нея знаю, въ реальномъ курсѣ кончилъ и то ничего не пойму... А она вѣдь ничего не знаетъ, только притворяется, что знаетъ.

василькова. Пусть ее читаетъ... Это ничего...

изюмовъ. Какъ ничего! Что вы говорите? Вѣдь она ничего не пойметъ, а потомъ будетъ трещать что-ни-

оудь какъ книги, какъ попугай... Не переговоришь ее..
Да что-то не въ этомъ, а въ томъ, что книгу-то онъ
ей читаетъ... Дальнаго тутъ, нужнаго для семейной жизни
ничего не можетъ быть,—такъ, галиматъя какая-нибудь.

насилъкова. Нѣтъ, эта книга хорошая, только,
совершенно, не для нея: она не приготовлена. Ей бы
„Анну Каренину“ почитать...

наумовъ. Все равно ничего не пойметъ! Руки,
прямо руки у меня, Поленька, опускаются... Мѣста себѣ
не нахожу... А ей все равно... Какъ стѣна, ну положи-
тельно стѣна... И какъ жить будемъ, — не знаю. Хотя
кто бы нибудь потолковалъ съ ней, вдолбилъ бы въ
глупую бабку, что прежде всего нужно женщинѣ
имѣть хорошей матерью, желаю, а потомъ ужъ чѣмъ-
нибудь...

насилъкова. И я тоже, Викторъ, думала объ
этомъ. Хорошо, если бы съ ней поговорилъ кто-нибудь
другой... Меня и васъ она ужъ не слушаетъ... Мы ей
надоели...

наумовъ. Да кому же поговорить?

насилъкова. Если бъ Абрамъ Евтихьевичъ пого-
ворить съ ней? Онъ человѣкъ умный, вашъ школь-
ный товарищъ,—отчего бы не такъ?

наумовъ. (Схватываясь съ радостью за эту мысль) Вѣдь
это мысль!.. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы не такъ? Знаете
что? Я пошлю за нимъ сейчасъ дворника... Недалеко
жить... Я думаю, онъ дома.

насилъкова. Пошлите.

наумовъ. (Оживившись) Пошлю сейчасъ.

(Уходитъ въ кухню черезъ проходную
комнату. Слышно, какъ къ дому подъѣз-
жаетъ извозчичья пролетка. Васи-
лькова подбѣгаетъ къ окну; высунулась, по-
смотрѣла и спряталась за окно. Входитъ
И з у м о в ъ)

ВАСИЛЬКОВА. (Тихо) Тс... Она съ нимъ... Сейчасъ подѣхали...

ИЗЮМОВЪ. (Съ замираніемъ сердца) Вдвоемъ...

(Тихо, на цыпочкахъ подходитъ къ окну.
Пауза. Оба подслушиваютъ происходящій
на улицѣ разговоръ Авдотьи Степа-
новны съ Герасимовымъ и тихо
переговариваются)

ВАСИЛЬКОВА. Она зоветъ, а онъ не идетъ...

ИЗЮМОВЪ. (Со страхомъ) Неужели придетъ? Я ему
вчера написалъ, чтобъ не смѣлъ онъ показываться къ
намъ въ домъ...

ВАСИЛЬКОВА. Она просить...

(Пауза)

ИЗЮМОВЪ. Слышали, она сказала: дома невыно-
симо? (Пауза) „Кажется удавлюсь“. Слышали? Слышали?

ВАСИЛЬКОВА. Слышала... Молчите.

ИЗЮМОВЪ. Что же это такое? Позоръ, совсѣмъ
позоръ!

(Хлопають калиткой)

ИЗЮМОВЪ. (Отскочивъ отъ окна, задрожавъ и поблѣднѣвъ)
Идетъ!.. Онъ идетъ. Я не могу... Я не знаю, что со
мною будетъ... Какъ онъ смѣетъ! Какъ онъ смѣетъ!

(Звонокъ)

Не отпирайте... Пусть стоятъ... Пусть всю ночь
стоятъ...

(Слышно, какъ отпирають дверь)

ВАСИЛЬКОВА. Имъ, должно быть, отперла Луша.

ИЗЮМОВЪ. Скажите... Скажите, чтобъ онъ уходилъ...
Я не могу... Я не могу его видѣть...

(Убѣгаетъ въ спальню. Входятъ, не раз-
дѣваясь въ передней, Авдотья Степа-
новна и Герасимовъ. Она на видъ
совершенно интеллигентная, гибкая и
стройная женщина, съ миловиднымъ и
вызывающимъ личикомъ, лѣтъ 25-ти.
Онъ—молодой человекъ; держитъ себя

мужиковато, съ какой-то преднамѣренной, искусственной непринужденностью. Говорить рѣзко, но страшно просто. Видно, что этому челоуѣку—море по колѣно. Носить пенснэ; борода и усы почти незамятны. На немъ блуза, на плечахъ накинута пальто, въ рукахъ толстая палка)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Неснимая кофточка, въ шляпкѣ, садясь за пианино и играя) Это то, что вы вспомнили на извозчикѣ? Да? Это тотъ мотивъ?

ГЕРАСИМОВЪ. (Прислушиваясь) Чортъ его знаетъ... У меня дубоватый слухъ... Какъ будто бы тотъ...
(Входить няня)

НЯНЯ. (Укоризненно) Дѣти спать...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Переставая играть) Спать уже... (Обращаясь къ Васильковой) Онъ дома?

ВАСИЛЬКОВА. Да... Онъ просилъ...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Обращаясь къ Герасимову) Раздѣвайтесь. Будемъ пить чай...

(Няня уходитъ. Изъ спальни выскакиваетъ Изюмовъ. Отъ волненія онъ съ трудомъ можетъ говорить)

ИЗЮМОВЪ. Вы не смѣте... Не смѣте! Я вамъ писалъ... Я васъ просилъ никогда не приходить къ намъ...

ГЕРАСИМОВЪ. (Совершенно спокойно) Я въ сущности... Видите ли... собственно говоря... я и пришелъ поговорить относительно этого письма... Объясниться... Вы ужъ тамъ того... пишете глупости...

ИЗЮМОВЪ. Я не желаю съ вами объясняться.

ГЕРАСИМОВЪ. Этого нельзя... Разъ ужъ вы въ письмѣ назвали меня негодяемъ, такъ ужъ пожалуйста... прошу васъ... Какой же я негодяй? Вы изволите думать и предполагать разныя гнусности...

ИЗЮМОВЪ. Вы врываетесь въ чужую семью... Вы мѣшаете жить... Я этого не хочу... не хочу!

ГЕРАСИМОВЪ. Я у васъ бываю потому, что этого

хочетъ (Показываетъ на Авдотью Степановну) она. Я нахожу необходимымъ защитить ее, такъ какъ вы отравляете ея жизнь своими гнусными подозрѣніями... Я чувствую, что я въ этомъ виноватъ. Я другъ вашей жены, поймите,—другъ и только.

изюмовъ. Я не хочу, чтобы у ней были какіе-то друзья! Что это за друзья?

Герасимовъ. Но этого мало, что вы не хотите... Она хочетъ. Когда я вижу на улицѣ бьютъ человѣка, я подхожу и заступаюсь за него, хотя никто объ этомъ меня не проситъ... А тутъ я вижу, что черезъ меня нравственно колотятъ ни въ чемъ неповинную женщину,—и вы хотите, чтобы я плюнулъ на все и ушелъ бы!.. Я считаю необходимымъ бывать у васъ. Если вы не хотите, чтобы мы видѣлись на сторонѣ, вы не должны ничего имѣть противъ этого.

авдотья степановна. Мы все равно будемъ видѣться... Ты боишься людей, боишься, что они скажутъ про твою жену, такъ лучше, чтобы онъ бывалъ у насъ.

изюмовъ. Что же это такое? Поленька? Что же это такое?! У себя я въ домѣ или нѣтъ... Господи! Я съ ума сойду... (Хватается за голову и потомъ съ мольбой, чуть не плача, обращается къ женѣ) Дунечка, опомнись... Вѣдь у тебя дѣти, ты мать... Пожалѣй ихъ... Я не могу... я не могу больше... Я сейчасъ поѣду къ мамѣ, папѣ, и скажу имъ, что я выбился изъ силъ, лопнуло мое терпѣнье... Пусть они дѣлаютъ съ тобой, что хотятъ... Они тебя воспитывали, они и отвѣчаютъ... А я больше не могу... Если онъ будетъ бывать у насъ, я домъ брошу, дѣтей... убѣгу изъ города... на край свѣта убѣгу...

(Сдерживая рыданія, выбѣгаетъ въ переднюю. За нимъ выходитъ Василькова, Герасимовъ и Авдотья Степановна, чувствуя себя какъ-то не по себѣ)

ГЕРАСИМОВЪ. Удивительно, какъ глупы и нелѣпы люди... Такіе олухи должны страдать, больше—они должны погибать.

(Входитъ Василькова)

ВАСИЛЬКОВА. (Обращаясь къ Герасимову) Какъ же вы не поймете, что этого нельзя... Нельзя приходить сюда.

ГЕРАСИМОВЪ. Почему?

ВАСИЛЬКОВА. Онъ не хочетъ.

ГЕРАСИМОВЪ. Мало ли кто не хочетъ, чтобъ имъ не мѣшали въ своихъ четырехъ стѣнахъ продѣлывать гнусности... Но пора смѣло входить въ чужіе дома и распирать стѣны, чтобъ легче дышалось не одному хозяину, а всѣмъ, кто живетъ въ домѣ... Иначе земля, этотъ садъ Божій, никогда не очистится отъ скверны. Надо быть жестокимъ. А впрочемъ... Мнѣ стало противно здѣсь... (Подойдя къ Авдотѣ Степановнѣ) Прощайте, Дуня... я пойду... А негодяя все-таки не прощу ему.

(Идетъ къ дверямъ)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Рѣшительно) Я пойду съ вами... недалеко провожу васъ...

ГЕРАСИМОВЪ. Какъ хотите.

(Уходитъ въ переднюю; Авдотя Степановна идетъ за нимъ. Ее останавливаетъ Василькова, схватывая за руку)

ВАСИЛЬКОВА. Не ходите... Дунечка, не ходите... Это не поведетъ ни къ чему хорошему... Не смѣйте!

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Что такое? Я за васъ, Поленька, не вышла еще замужъ.

(Въ дверяхъ, что ведетъ въ проходную комнату, появляется Картинкинъ.

Это человекъ неопредѣленныхъ лѣтъ, чѣмъ-то всегда подавленный, о чемъ-то всегда думающій. Про него говорятъ: „ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга. Чортъ его

знаетъ кто онъ". Тащить на себѣ какую-то невидимую тяжелую ношу и при всемъ своемъ желаніи никакъ ее сбросить не можетъ. Внѣшность — учительская, не особенно опрятная и чистая, но приличная)

ВАСИЛЬКОВА. Вонъ Картинкинъ пришелъ... Оставайтесь...

КАРТИНКИНЪ. Я черезъ черный ходъ.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Отдергивая руку, иронизируя) Вотъ и оставайтесь съ нимъ... Это для васъ утѣшеніе... А я скоро приду.

(Уходитъ)

КАРТИНКИНЪ. (Здороваясь съ Васильковой) Здравствуйте, за мной посылали?

ВАСИЛЬКОВА. Да... Совсѣмъ она съ ума сошла... Сейчасъ здѣсь Богъ знаетъ, что было. Этотъ-то... гусь-то безцеремонный, ввалился въ комнаты, и сталъ тутъ доказывать... На бѣднаго Виктора смотрѣть — сжималось сердце. Мы рѣшили просить васъ, чтобъ вы переговорили съ Дунечкой...

КАРТИНКИНЪ. Что же я могу сказать? Безобразіе.

ВАСИЛЬКОВА. Вы умный, что-нибудь найдете. Насъ она совсѣмъ слушать не хочетъ... Жаль мнѣ на нихъ смотрѣть... Жили-жили душа въ душу и вдругъ... — такихъ, кажется, супруговъ во всемъ городѣ не было... — вдругъ появляется какой-то проходимецъ, и все на смарку... И нужно было ей заговорить съ нимъ въ вагонѣ...

КАРТИНКИНЪ. Они въ вагонѣ познакомились?

ВАСИЛЬКОВА. Въ вагонѣ, когда она зимой ѣздила въ Москву заказывать платья... Теперь перестала и наряжаться, всѣ моды забросила, старается одѣваться проще, должно быть, какъ онъ хочетъ... Вѣдь она ничего не говоритъ сама, все его словами.

КАРТИНКИНЪ. Узнавалъ про него въ полиціи.

ВАСИЛЬКОВА. Ну, и что же?

КАРТИНКИНЪ. Ничего не узнать, кромѣ того, что онъ крестьянскій сынъ изъ Ярославской губерніи, волости... Забылъ какая волость...

ВАСИЛЬКОВА. Странно... Сколько теперь разнаго непривычнаго народу появилось... И откуда? Крестьянскій сынъ или сапожникъ какой-нибудь, и рассуждаетъ какъ профессоръ.

КАРТИНКИНЪ. (Глубоко вздохнувъ) Все старо подъ луною. Никто, ни откуда не появляется... Грусть... Одна грусть... Сейчасъ бабу ограбили у Елагинскаго моста... Бѣжала почти голая по улицѣ и изъ носа кровь текла...

ВАСИЛЬКОВА. Вы опять, Абрамъ, не въ духѣ? Два дня не приходили чай ко мнѣ пить... Вѣдь вы знаете, я каждый день васъ жду въ пять часовъ... Не приходите, мнѣ скучно, тяжело..

КАРТИНКИНЪ. Не понимаю, зачѣмъ за мной посылали? Я сидѣлъ и писалъ...

ВАСИЛЬКОВА. Если бы я знала, что вы пишете, я сказала бы Виктору, чтобъ онъ не посылалъ.

КАРТИНКИНЪ. Что я имъ скажу? Что жить такъ, какъ живутъ они, я, вы—нельзя. Это не жизнь, это безобразіе. Затворите окно,—воняетъ.

ВАСИЛЬКОВА. (Затворяя окно) И когда это засыпать ровъ. Въ газетахъ десять лѣтъ пишутъ о томъ, чтобъ не спускать воду съ бойни, и все спускаютъ...

КАРТИНКИНЪ. Я не люблю газетъ.

(Пауза. Василькова съ любовью смотреть на него; нерѣшительно потомъ подходить къ нему и ласково проводить рукой по головѣ)

КАРТИНКИНЪ. (Отстраняя ее) Оставьте.

ВАСИЛЬКОВА. Вѣдь я васъ люблю. Пятнадцать лѣтъ, Абрамъ, люблю... Вы подумайте... Пожалѣйте меня немного...

КАРТИНКИНЪ. Опять на ту же тему... Я къ вамъ и чай пересталъ ходить пить потому, что вы все въ послѣднее время на эту тему... Лѣтъ пять молчали, да опять заговорили... Дико... странно.

ВАСИЛЬКОВА. Я не буду. Вы только приходите... Вотъ вы какой,—надо бы сказать, я и перестала бы... И то вѣдь три дня не были...

(Пауза)

Пойдемте на кладбище... Луна...

(К а р т и н к и н ъ вдругъ начинаетъ читать стихи взволнованнымъ голосомъ и кончаетъ чуть не плача. Василькова со вниманіемъ слушаетъ и восторженно смотреть на него)

КАРТИНКИНЪ. (Читаетъ)

Я видѣлъ огоньки,
Пылавшіе въ сердцахъ,
Какъ отблескъ ихъ блисталъ
Въ задумчивыхъ глазахъ...
И съ тѣхъ поръ огоньки
И отблескъ глазъ изъ дали
Манить и звать къ себѣ
Меня не уставали...
Во мракъ я уходилъ,—
Подъ сводами глухими
Сверкали огоньки
И искрились подъ ними...
Бѣжалъ въ унынья степь,
Къ гробницамъ и гробамъ,
Но свѣтъ отъ огоньковъ
Преслѣдовалъ и тамъ...
И вотъ я полетѣлъ,
Какъ бабочка ко свѣту,
Обжечь огнями грудь,
Слагая пѣсню эту!

ВАСИЛЬКОВА. Это ваше?

КАРТИНКИНЪ. Да, сейчасъ набросалъ.

ВАСИЛЬКОВА. Хорошо... Я не поняла, или поняла, но такъ какъ-то смутно, а хорошо... Чувствую, что хорошо... Пошлите, Абрамъ, куда-нибудь напечатать... Напечатають, ей-Богу, напечатають.

КАРТИНКИНЪ. Не хочу.

ВАСИЛЬКОВА. Неправда, вы хотите... Ваша мечта сдѣлаться писателемъ. Вотъ и посылайте, посылайте, посылайте, наконецъ, и напечатають. Такъ всѣ писатели дѣлали... Вы почитайте-ка ихъ біографію.

КАРТИНКИНЪ. Поздно... Жизнь прошла... Я приросъ къ банковскому стулу... Какъ я себя иногда ненавижу!

ВАСИЛЬКОВА. Это грустно... Зачѣмъ вы такъ говорите?..

КАРТИНКИНЪ. Нѣтъ ли у нихъ здѣсь водки? Распорядитесь, вы здѣсь своя, членъ семьи почти.

ВАСИЛЬКОВА. Не пейте, Абрамъ, вамъ нельзя. Вѣдь у васъ катарръ кишекъ, опять будутъ спазмы... (Прислушиваясь) Вонъ, кажется, она возвратилась... Поговорите съ ней... Я пойду въ дѣтскую, на дѣтей посмотрю... Вотъ если бы были у меня дѣти, какая была бы чудесная жизнь...

(Уходитъ въ дѣтскую. Входитъ Авдотья Степановна со шляпкой въ рукъ, проходитъ въ спальню, скоро возвращается безъ шляпки и садится у піанино)

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Поленька здѣсь еще?

КАРТИНКИНЪ. Въ дѣтской.

(Пауза)

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Женитесь на ней.

КАРТИНКИНЪ. Меня разговоромъ занимать не зачѣмъ...

(Пауза. Картинкинъ подходитъ къ піанино и перебираетъ ноты)

КАРТИНКИНЪ. Можно съ вами говорить?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Говорите.

(Пауза)

КАРТИНКИНЪ. Трудно начать... Не знаю какъ... Думалъ я надъ вашей жизнью и ни къ чему, собственно, опредѣленному не пришелъ. Жалко Виктора, жалко и васъ.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Васъ подослали говорить со мной?

КАРТИНКИНЪ. Вы не сердитесь, не обижайтесь... Я вамъ не врагъ... Я понимаю васъ... Выйти чуть не ребенкомъ замужъ, просидѣть нѣсколько лѣтъ на берегу вонючаго болота, подъ сводами—штука не легкая и довольно-таки не веселая... И ужаснѣе всего то, что знаешь: никуда не уйдешь...

(Авдотья Степановна тронута его словами. Въ ней пробуждается жалость къ самой себѣ. На глазахъ ея навертываются слезы)

КАРТИНКИНЪ. Не умѣю говорить... У меня выходитъ какъ-то все печально. Я и анекдоты рассказываю такъ, что всѣмъ дѣлается скучно и никто не смѣется...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Зачѣмъ онъ несправедливъ? Постоянно обращается къ другимъ... Самъ ничего не можетъ... Сейчасъ поѣхалъ къ мамѣ жаловаться, просить защиты... Какой это мужчина! Можетъ быть, если бы онъ былъ другимъ—и я была бы другая.

КАРТИНКИНЪ. Вѣрно, человѣкъ онъ съ недостатками, но все-таки хорошій человѣкъ, душевный, любить дѣтей.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Какое это достоинство? Дѣтей и кошки любятъ. Человѣкъ долженъ интересоваться жизнью... (Конфузаясь) Долженъ быть широкимъ...

КАРТИНКИНЪ. Какъ?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Вотъ я вчера взяла книгу, хотѣла читать, а онъ свѣчу потушилъ.

КАРТИНКИНЪ. Такъ-съ... Но вѣдь изъ-за свѣчи и тому подобныхъ мелочей нельзя же жизнь ломать, доводить человѣка чуть ли не до пули, бросать дѣтей, домъ, уходить чортъ знаетъ куда и Богъ знаетъ съ кѣмъ... Вѣдь я слышалъ, вы уѣхать хотите изъ дому...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Это я еще не рѣшила... Я не знаю, что мнѣ дѣлать... Я ничего не знаю... А только жить такъ, какъ мы живемъ, нельзя. Онъ съ папой думаетъ, что лучше ихъ нѣтъ людей на свѣтѣ, что только они двое во всемъ мірѣ, а остальные такъ себѣ — пѣшки, служащіе... А есть много хорошихъ людей. Прежде я ихъ не видала, а теперь знаю, что есть — видѣла... Вѣдь у насъ никто не бываетъ, только вы, Поленька, папа, да мама... Ну, зачѣмъ онъ Герасимову не велитъ ходить? Зачѣмъ?

КАРТИНКИНЪ. Надо войти въ его положеніе... Никакой мужъ не согласится, не отнесется равнодушно, если къ его женѣ будутъ ходить чужіе мужчины чуть ли не въ спальню, противъ его воли...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Вспыливъ) И вы думаете гадости?! Вы всѣ здѣсь только думаете гадости... (Вскакиваетъ и топаетъ ногами) Не смѣйте! Не смѣйте такъ думать! Это гадко... Вы сами всѣ грязные... Развратники!... Я знаю, что вы жили съ модисткой и бросили ее... Теперь она по улицамъ ходить... Всѣ развратники, мерзавцы, а на меня накнулись: мать! дѣти! Какъ можно! Я на зло всѣмъ — возьму, да и сдѣлаюсь его любовницей... Меня доведутъ до этого.

КАРТИНКИНЪ. А какъ же дѣти?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Дѣти, опять дѣти! Кажется, вы сдѣлаете то, что я скоро и дѣтей своихъ буду ненавидѣть... Онъ единственный человѣкъ, кото-

рый... (Слезы сдавливают горло) который... Онъ слушаетъ меня, понимаетъ. У меня никогда не было такого человека. Здѣсь всѣ мои враги... Хотятъ добра, а дѣлаютъ на каждомъ шагу зло... Подарки, деньги, деньги, подарки—вотъ и все... А мнѣ наплевать на эти подарки... Мнѣ на все здѣсь наплевать хочется и уйти, куда глаза глядятъ...

КАРТИНКИНЪ. Это крайность... Надо создать въ этой обстановкѣ лучшую жизнь.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Нельзя, нельзя этого! Вы тоже тянете ихъ руку... Вы тоже мой врагъ... Напрасно я съ вами говорила. (Вдругъ перемѣнивъ тонъ, дерзко, грубо, вульгарно) Уходите! Уходите! Вы тоже мой врагъ... Я никого не хочу видѣть.

(Убѣгаетъ въ спальню и запираетъ дверь.
Ошеломленный К а р т и н к и н ъ подходитъ къ двери и говорить)

КАРТИНКИНЪ. Авдотья Степановна, вы меня не поняли... Я не врагъ вашъ... Я разсуждаю разумно.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (За дверью) Убирайтесь! Вы подлецъ!

(Входитъ Василькова)

ВАСИЛЬКОВА. Поговорили?

КАРТИНКИНЪ. Поговорилъ... Она съ ума сошла, съ ней разговаривать нельзя... Никакой логики... Вообразила, что я ей врагъ и желаю зла, какъ всѣ здѣсь...

ВАСИЛЬКОВА. Удивительно, всѣ ей желаютъ только хорошаго, а ей кажется—злого.

КАРТИНКИНЪ. Она потеряла почву, растерялась, сама не знаетъ, чего хочетъ... Одно несомнѣнно, что влюблена она въ этого проходимца, какъ кошка... Виктору будетъ скверно...

ВАСИЛЬКОВА. А какъ вы думаете—далеко у нихъ зашло?

картинкинъ. Не знаю... Богъ съ ними... (Подходить къ окну и смотреть на улицу) Мнѣ и безъ нихъ скверно... Напрасно я въ эту исторію втесался... Пойдемте на кладбище... Луна, дѣйствительно, того... во всѣ носовыя завертки... (Немного подумавъ) Срываются же иногда съ языка такія дикія фразы.

василькова. (Обрадованная) Пойдемте... Я очень рада... только на минутку домой зайду, посмотрю, что мамаша...

картинкинъ. Водки бы мнѣ.

василькова. Не надо... Пожалуйста, не надо... Вамъ вотъ не по себѣ, а мнѣ еще хуже... (Робко) Знаете ли вы, о чемъ я думала въ дѣтской?

картинкинъ. Не знаю.

василькова. Сказать?

картинкинъ. Скажите.

василькова. Только вы не сердитесь... Не будете?

картинкинъ. Говорите.

василькова. Нѣтъ, дайте слово.

картинкинъ. Говорите... Вотъ чудачка!

василькова. Я думала... Въ дѣтской такъ хорошо... Тихо, ночникъ горитъ... Сонечка спитъ розовенькая, вся разметалась... Вотъ я и думала. (Немного помолчавъ) Послѣ скажу...

картинкинъ. Говорите.

василькова. Умреть мамаша, — ей семьдесятъ лѣтъ, — и совсѣмъ мнѣ не зачѣмъ будетъ на свѣтѣ жить... Теперь какъ будто бы и есть, а тогда... Подумать страшно... Одна, всю жизнь... А вотъ... Я не хочу, чтобъ вы женились на мнѣ... Я знаю, вы не женитесь... А вотъ если бы... если бы у меня былъ ребенокъ... (Стыдливо, опустивъ глаза) Вашъ ребенокъ... (Картинкинъ удивленно смотреть на нее) Вы не смѣйтесь... Тогда была бы совсѣмъ другая жизнь... Была бы цѣль... А что стали бы говорить, мнѣ было бы все равно...

КАРТИНКИНЪ. Это ужъ совсѣмъ дико... Я съ вами не пойду на кладбище...

ВАСИЛЬКОВА. Что вы?.. Почему? Вѣдь я только помечтала, подумала объ этомъ... Вы не сердитесь... Пойдемте.

КАРТИНКИНЪ. Пойти-то пойдемте... Только это вы забудьте, выкиньте изъ головы... Нехорошо...

ВАСИЛЬКОВА. (Подойдя къ двери спальни) Прощайте, Дунечка. Мы уходимъ... (Толкается въ дверь) Заперлась...

КАРТИНКИНЪ. Оставьте ее въ покоѣ. Ругаться будетъ... Говорить по-французски, на рояли играетъ, а говорить иногда и ругается, какъ ломовой извозчикъ.

ВАСИЛЬКОВА. Ну и Богъ съ ней. Завтра придемъ.

(Уходятъ. Сцена долгое время пуста. Изъ сада доносится музыка. Теперь, когда въ комнатѣ никого нѣтъ, звуки слышны яснѣе. Входитъ няня; осматривается и, подойдя къ дверямъ спальни, толкается)

НЯНЯ. Спать, должно быть... Умаялись... Охъ, Господи!.. Потушить лампу...

(Тушить лампу и уходитъ въ дѣтскую. Напѣвая подъ носъ что-то божественное. Нѣкоторое время спустя входитъ Авдотья Степановна и видя, что въ комнатѣ темно, возвращается въ спальню, беретъ свѣчу и проходить въ дѣтскую. Въ то время, когда она это дѣлаетъ, слышно какъ къ дому подъѣхали... Входитъ Изюмовъ и робко подходитъ къ дверямъ спальни. Прислушивается. Осторожно открываетъ дверь и входитъ на цыпочкахъ; скоро возвращается опять. Авдотья Степановна выходитъ ему навстрѣчу со свѣчей въ рукахъ)

ИЗЮМОВЪ. Ты была въ дѣтской... Ты была въ дѣтской! Дунечка... въ дѣтской...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Поставивъ на столъ свѣчу)
Опять ѣздила? жаловался?

ИЗЮМОВЪ. Прости меня.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Дуракъ... Тряпка.

ИЗЮМОВЪ. Ругай... Я не могу иначе... Я не знаю,
что дѣлать съ тобой... У меня умъ за разумъ зашелъ.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Противный...

(Идетъ къ дверямъ проходной комнаты)

ИЗЮМОВЪ. Ты куда? Опять въ дѣтскую... Я съ
тобой.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Я въ кухню.

(Уходитъ и возвращается съ ножомъ,
который старается спрятать въ рукавъ
платья)

ИЗЮМОВЪ. Ты зачѣмъ ходила? (Увидавъ ножъ) У тебя
ножъ!

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Я всегда буду спать
съ ножомъ подъ подушкой... Чтобы ты не смѣлъ под-
ходить къ моей кровати...

(Уходитъ въ спальню)

ИЗЮМОВЪ. (Въ дверяхъ спальни) Богъ съ тобой... До
того ли мнѣ, то ли у меня на умѣ... Я и спать въ
спальнѣ не буду... Я здѣсь на диванѣ лягу, только
будь спокойна... Спи...

(Осторожно затворяетъ дверь и идетъ къ
дивану. Садится, опускаетъ голову и за-
думывается. Пауза)

Занавѣсъ.

Авдоткина жизнь.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Та же комната. Яркій, солнечный день. По поднятіи занавѣса няня проходитъ изъ передней въ дѣтскую и видитъ опущенную на окнѣ одну половину шторы—условный знакъ Авдотьи Степановны съ Герасимовымъ, что мужа нѣтъ дома. Она, качая головою, подбираетъ штору; въ это время изъ спальни выходитъ Авдотья Степановна.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Ты что это дѣлаешь? Спрашиваютъ тебя тутъ порядки наводить? Убирайся отсюда!..

(Опускаетъ штору)

НЯНЯ. Нехорошо, барыня... Сосѣди замѣчаютъ, да и Викторъ Викторовичъ начинаетъ смекать эти знаки-то условные.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Какъ ты смѣешь, паршивая! Суешь носъ, гдѣ тебя не спрашиваютъ... Я тебя втришай выгоню!..

НЯНЯ. (Укоризненно) Нехорошо, срамота...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Выйдя изъ себя, стуча ногами) Дрянь! дрянь! дрянь! Пошла вонъ... пошла вонъ!.. Иди играть съ дѣтьми въ церковную ограду и цѣлый день не приходите... Чтобы я васъ не видѣла, носу не показывайте...

(Въ окнѣ появляется Герасимовъ)

ГЕРАСИМОВЪ. Здравствуйте...

(Няня, махнувъ рукой, уходитъ въ дѣтскую)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Батюшки, это вы... А я тутъ...

ГЕРАСИМОВЪ. Вы съ прислугой-то здорово щиплетесь... Это не похвально.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Меня такъ злать, возмущаютъ всѣ здѣсь... Вотъ эта старая...

ГЕРАСИМОВЪ. Надо владѣть собой... Человѣкъ, который не владѣетъ собой, грошевый... Алтынъ ему цѣна... Вотъ вамъ книжица...

(Кладетъ на подоконникъ толстую книгу)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Какая толстая... Опять такая, что я ничего не пойму.

ГЕРАСИМОВЪ. Нѣтъ, нѣтъ... Тутъ все ясно, просто изложено. Безъ всякихъ научныхъ мудростей... Поймете... Мерзавцы называются мерзавцами, эксплуататоры—эксплоататорами... Вообще—разъ, два, и готово... Важная книжица...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Пойму ли? Вѣдь меня учили не тому, что нужно... для жизни, что интересно... Ѣздила ко мнѣ на домъ изъ Покровской церкви батюшка, отецъ Алексѣй, училъ закону Божьему, жила французенка, ходила учительница музыки... Былъ еще учитель, Егоръ Егоровичъ... Въ женской гимназiи преподавалъ... И вдругъ удавился—деньги подъ проценты давалъ и разорился...

ГЕРАСИМОВЪ. Хорошъ учитель.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Очки носилъ и все сопѣлъ носомъ, когда занимался. Я хотала надъ нимъ... бумажки ему сзади на пуговицу привѣшивала...

ГЕРАСИМОВЪ. Такъ-съ... Ну, вчера какъ? Была борьба?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Здорово... Я прямо сказала... Онъ все дѣти, дѣти... А я ему отрѣзала: отъ нелюбимаго человѣка и къ дѣтямъ нельзя особенной любви чувствовать.

ГЕРАСИМОВЪ. Ну, это вы, кажется, перехватили. Да неправда, дѣтей-то вы любите...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Люблю. Такъ только сказала — чтобы онъ больше мучился и оставилъ меня въ покоѣ.

ГЕРАСИМОВЪ. Отравлять-то ихъ существованіе слѣдуетъ... Полезно. У вашего отца миллионы, десять тысячъ десятинъ земли, а онъ своего зятя заставляетъ служить въ банкѣ, получать 75 рублей. И тотъ служить и находить это въ порядкѣ вещей. Что это за люди? Дарятъ тысячные подарки и держатъ въ рабствѣ и униженіи своихъ родныхъ дѣтей. Это чортъ знаетъ что такое! Что же они дѣлаютъ съ другими?

(Входитъ Василькова)

ВАСИЛЬКОВА. Опять... Дунечка, когда же будетъ этому конецъ?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Не ваше дѣло, Поленька... Не суйтесь! Зачѣмъ опять пришли? Я сказала, чтобы утромъ вы не ходили... Это онъ васъ просить... Я знаю!

ВАСИЛЬКОВА. (Обращаясь къ Герасимову) Какъ же вамъ не стыдно, милостивый государь, стоять днемъ подъ чужими окнами. Вѣдь всѣ видятъ, вы семью позорите!

ГЕРАСИМОВЪ. Меня просили не бывать въ домѣ — я не бываю, а около дома стоять мнѣ никто запретить не можетъ... Напрасно они думаютъ отгородиться отъ свѣта стѣнами.

ВАСИЛЬКОВА. Ужъ не вы ли свѣтъ? — прости, Господи! Безобразникъ вы, озорникъ и больше ничего. Абрамъ Евтихьевичъ говорить, что вы — нежелательный субъектъ.

ГЕРАСИМОВЪ. Кто же желательный? Вы?

ВАСИЛЬКОВА. Я что... Я ничего не корчу изъ себя, живу и живу, а вотъ вы претендуете на что-то... Считаете себя передовымъ человѣкомъ, а дѣлаете однѣ

только гадости да мерзости. У васъ мать въ деревнѣ, быть можетъ, голодаетъ, а вы хвосты по городу продаете...

ГЕРАСИМОВЪ. Эта статья васъ не касается.

ВАСИЛЬКОВА. Да что, развѣ не правда?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Перестаньте, Поленька, вы ничего не понимаете! Вамъ что вашъ Абраша скажетъ, то вы и говорите.

ВАСИЛЬКОВА. (Обращаясь къ Герасимову) Миръ любовью держится, любовью живетъ и совершенствуется, а не жестокостью, не зломъ, милостивый государь.

ГЕРАСИМОВЪ. Благодарю васъ. До васъ я этого не зналъ.

ВАСИЛЬКОВА. И настоящій-то интеллигентный человекъ, передовой, такихъ вещей не продѣлываетъ, какія вы, сударь... Онъ кротокъ, вѣжливъ, любвеобиленъ, разумно терпѣливъ, такъ какъ увѣренъ въ своей правдѣ и понимаетъ, что ничего въ мирѣ не дѣлается такъ: тяпъ-ляпъ и готово.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Возмущаясь) Не ваши слова, не ваши, Поленька! Я отъ Абрама это слышала. (Приказывая) Не говорите чужихъ словъ!

ВАСИЛЬКОВА. Вы сами только его слова говорите. (Показывая на Герасимова) Да если сказать правду, мы, бабы, до сихъ поръ ничего своего не сказали... Такъ только думаемъ, что свое говоримъ...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Васъ слушать-то не хочется... (Обращаясь къ Герасимову) Я вамъ сейчасъ книгу принесу... Возьмите, не хочу больше читать ее.

(Беретъ книгу съ окна и уходитъ въ спальню за другой)

ВАСИЛЬКОВА. (Энергично, стуча по подоконнику рукой) Что же вы съ ней дѣлаете? Гдѣ у васъ умъ-то? Развѣ вы не видите, что она не приготовлена къ тому, что

вы ей говорите... Черезъ ваши, можетъ быть, хорошія слова получаютъ однѣ гадости, мерзости. Вы людей губите... Жестокій, грубый, дикій человѣкъ!

(Входитъ Авдотья Степановна)

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. (Передавая книгу) Вотъ... Ничего я въ ней не поняла... Что такое „проблемы“? Тутъ на каждой страницѣ эти проблемы...

ГЕРАСИМОВЪ. (Взявъ книгу и замѣтивъ подѣзжающаго къ дому Изюмова) Вашъ мужъ.

(Скрывается)

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Что это онъ такъ скоро сегодня? Нѣтъ еще двухъ часовъ... Служака! Тоже — „служу въ банкѣ“, а самъ ничего не дѣлаетъ, такъ для формы мѣсто занимаетъ, чтобы люди не говорили, что онъ ничего не дѣлаетъ.

ВАСИЛЬКОВА. Какъ бы не замѣтилъ онъ его, опять будетъ исторія.

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Ахъ, да все равно! Пусть всѣ видятъ, всѣ знаютъ... Надоѣло мнѣ передъ людьми комедію играть... „Мы хорошіе, мы почтенные граждане, у насъ въ домѣ миръ да благодать“... Противно, надоѣло все... Умру я, Поленька, отравлюсь спичками.

(Входитъ Изюмовъ)

ИЗЮМОВЪ. Я немного пораньше сегодня... Сейчасъ папа по телефону говорилъ, что приѣдетъ къ намъ вмѣстѣ съ мамой... Надо будетъ закуски приготовить, хересу... Поленька, распорядитесь.

(Василькова уходитъ)

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Какъ это глупо! Мать съ отцомъ приѣзжаютъ какъ будто бы въ гости... Закуска... Хересь... Безобразіе, невѣжество...

ИЗЮМОВЪ. У тебя все глупо стало... Тебя послушать, такъ всѣмъ намъ—и папѣ, и мамѣ, и мнѣ на акушерскіе курсы поступить надо.

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Дуракъ.

изюмовъ. Перестань ругаться, вѣдь ты барыня.

авдотья степановна. Какая я барыня? Слово „барыня“, произошло отъ слова „боярыня“, и боярыня все равно, что дворянка... А я просто такъ себѣ, купчишкина дочь... Ничего ты не понимаешь.

(Василькова на подносѣ вноситъ закуску и хересь)

изюмовъ. Ужъ ты больно стала умна... (Подчеркивая) Только не знаю—отчего бы?

авдотья степановна. Ты опять про это? Вѣдь далъ слово мнѣ не приставать съ этимъ...

изюмовъ. Вы видите... Я знаю, что видите... Я этого не могу допускать... Папа тоже возмущается... Онъ пріѣдетъ сейчасъ серьезно, окончательно съ тобой обо всемъ переговорить.

авдотья степановна. А... Вотъ какъ! Я не выйду къ нимъ. Запрусь у себя въ спальнѣ и не выйду.
(Уходитъ и запирается)

изюмовъ. (Подойдя къ дверямъ спальни) Этого нельзя, Дунечка... Папа обидится и мама тоже. Надо имѣть рассудокъ.

василькова. А вы не просите, хуже будетъ... Она все вамъ теперь напротивъ рѣшила дѣлать. Сама выйдетъ.

изюмовъ. (Стараясь говорить тише) Не стоялъ сегодня подъ окнами? Не дежурить?

василькова. (Подумавъ) Нѣтъ, сегодня не подходилъ.

изюмовъ. Можетъ быть, безъ васъ?

василькова. Едва ли.

изюмовъ. Давно вы здѣсь?

василькова. Давно.

изюмовъ. Можетъ быть за умъ взялась, поняла, что безобразіе учиняетъ... Папа говорить, что его можно

изъ города въ 24 часа убрать, если будетъ продолжать...
Что она вамъ ничего еще не говорила?

ВАСИЛЬКОВА. Нѣтъ, все тоже.

ИЗЮМОВЪ. Хотя бы она сказала ясно и просто, что ей нужно, чего ей не хватаетъ.

ВАСИЛЬКОВА. Отпустите ее, уйти она хочетъ.

ИЗЮМОВЪ. Куда отпустить? Зачѣмъ? Вѣдь она погибнетъ... Развѣ она знаетъ жизнь? Что-нибудь понимаетъ? Да я и представить себѣ не могу, какъ я останусь безъ нея... Дѣти дома?..

ВАСИЛЬКОВА. Съ няней въ церковную ограду пошли.

ИЗЮМОВЪ. Бѣдныя... Я просто на нихъ смотрѣть не могу,—грязныя, опаршивѣли, она совсѣмъ за ними не смотритъ, а нянька что... (Прислушиваясь) Вонъ, кажется, пріѣхали. Поленька, голубушка, пойдите къ дѣтямъ, — нянька ничего не видитъ, чулки вяжетъ, да спитъ... Какъ бы не случилось съ ними чего. (Звонокъ) Они... Я отопру.

(Уходитъ)

ВАСИЛЬКОВА. (Уходя въ проходную комнату) Я пойду за ограду.

(Входятъ Хвостовы и Изюмовъ.

Хвостовъ—суетливый, сѣдой старикъ съ бѣгающими острыми глазками; мягкій и добрый на видъ, ласковый, услужливый, но себѣ на умѣ, хитрый. Говоритъ звонкимъ, визгливымъ, бабьимъ голосомъ.

Хвостова богато разряженная, въ шляпкѣ, почтенная дама лѣтъ 50-ти. Пальцы въ брилліантовыхъ кольцахъ)

ИЗЮМОВЪ. (Тихо, продолжая въ передней начатый разговоръ) Говорить, не выйдетъ къ вамъ, заперлась въ спальнѣ.

ХВОСТОВА. Ну, это такъ она, Викторочка, дурачится. Какъ не выйдетъ? Сердце у ней доброе... Вотъ

я сейчасъ... (Подходить къ спальнѣ и стучить въ дверь) Дунечка! А, Дунечка! Отопри... Я съ папой приѣхала...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Изъ спальни) Я лежу — больна.

ХВОСТОВА. Что же заперлась? Отопри... Ты меня огорчаешь.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Я отопру, только изъ спальни никуда не пойду. (Отпираетъ дверь)

ХВОСТОВА. (Обращаясь къ Изюмову) Вотъ видите, сердце у ней доброе... (Уходитъ)

ХВОСТОВЪ. (Ехидно посмѣиваясь) Не выйдетъ... Вотъ бы метлой, метлой, да позагорбу, позагорбу... Говорю тебѣ—дери ее.

ИЗЮМОВЪ. Что вы, папа, развѣ можно? Я пальцемъ до нея боюсь дотронуться...

ХВОСТОВЪ. Легонько ничего... Взявъ косу, намоталъ на руку и того—„ахъ вы сѣни, мои сѣни“... Распустилъ... Самъ виноватъ.

ИЗЮМОВЪ. Знаю, что виноватъ, да теперь поздно, сдѣлать ничего нельзя. Она словно бѣлены обѣлась.

ХВОСТОВЪ. Говорю, косу на руку... а то и въ харю раза два... Помогаетъ и это.

ИЗЮМОВЪ. Вы такъ говорите... Сами знаете, что этого невозможно...

ХВОСТОВЪ. А по моему таки возможно. Въ такихъ случаяхъ иначе нельзя... Бабу въ кулакѣ надо держать, а вырвалась, такъ кулакомъ ее, кулакомъ...

ИЗЮМОВЪ. Будетъ вамъ... Не хотите ли закусить? Есть важная икра, хересъ вашъ любимый.

ХВОСТОВЪ. Хорошо, я тутъ закушу, а ты ступай, зови... У меня времени нѣтъ.

ИЗЮМОВЪ. (Наливая рюмку хереса) Вдвоемъ, можетъ быть, лучше уговоримъ, придетъ.

(Уходитъ въ спальню. Хвостовъ садится за столъ и закусываетъ. Пауза)

ХВОСТОВА. (Въ дверяхъ спальни) Ну, иди же, иди, Дунечка.

ИЗЮМОВЪ. (Тоже появляясь въ дверяхъ спальни) Пожалуйста, иди... Надо когда-нибудь все выяснить...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Въ спальнѣ) Я сейчасъ приду... Ступайте.

(Обрадованные Хвостова и Изюмовъ идутъ къ столу и садятся)

ХВОСТОВА. Сейчасъ придетъ... Вѣдь ей, Викторочка, тоже не легко... Я женщина, я понимаю ее.

ИЗЮМОВЪ. Я вижу... Она вся измучилась.

ХВОСТОВА. Характеръ у нея нехорошій, вспыльчивый.

(Изъ спальни выбѣгаетъ взволнованная, въ какомъ-то изступленіи Авдотья Степановна, подбѣгаетъ прямо къ столу, становится передъ отцомъ въ вызывающей позѣ и закладываетъ руки назадъ)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Что вы хотите отъ меня? Что вамъ нужно? Объясняться? Хорошо, я объяснюсь... Я такъ объяснюсь, что вы не забудете всю жизнь...

ХВОСТОВА. Опомнись, Дунечка! Развѣ съ отцомъ такъ разговариваютъ?

ИЗЮМОВЪ. Дунечка...

ХВОСТОВЪ. (Сдерживая себя, совершенно какъ будто бы покойно) Погодите. (Обращаясь къ дочери) Ты сядь и успокойся...

(Пауза. Хвостовъ медленно ѣстъ, выпиваетъ рюмку хереса. У Авдотьи Степановны проходитъ первый порывъ, и она, немного успокоившись, отходитъ отъ стола и садится въ сторонѣ на стулъ).

ХВОСТОВЪ. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты быть хорошей матерью, женой, дочерью? Если хочешь, то...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Слушайся насъ?.. Я всегда васъ слушалась, и вотъ, видите, что выходить... Видите?! И не то еще будетъ... (Ею опять овладѣваетъ порывъ отчаянія. Говоритъ, почти не отдавая себѣ отчета въ словахъ) Я не хочу съ нимъ жить! — Отпустите меня... Дайте мнѣ денегъ, паспортъ... И больше мнѣ ничего отъ васъ не надо... Вы должны мнѣ дать денегъ, должны! Вы не можете не дать...

ХВОСТОВЪ. (Начинаетъ выходить изъ себя) Какъ же? Какъ же... Вотъ тутъ. (Показываетъ на карманъ) Приготовили для васъ, получайте.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Вы должны мнѣ дать! Вы меня ничему не учили, въ гимназію не отдали, — у меня нѣтъ аттестата, я не могу никуда поступить.. Я ничего не знаю, ничего не понимаю... Мнѣ надо деньги, пока я изъ себя хоть что-нибудь сдѣлаю. Дайте денегъ! Вѣдь вы учили меня только услаждать вашу жизнь и жизнь будущаго мужа... Что же? Благодарю васъ... Дайте ручку поцѣловать... Я могу услаждать вашъ слухъ. Вы пріѣхали къ намъ въ гости. Вотъ сейчасъ... Не желаете ли?

(Нервно смѣясь до слезъ, раскрываетъ плавно и тихо поетъ)

Если бъ я солнышкомъ
На небѣ сіяла,
Я для тебя, мой другъ,
Только бъ блеснула.

ХВОСТОВА. Перестань, Дунечка!

ХВОСТОВЪ. (Обращаясь къ Назюмову) Ударь, ударь ее!

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Продолжая пѣть)

А не для лѣса,
А не для рѣчки...

НАЗЮМОВЪ. (Подбѣгая къ ней и закрывая плавно) Полно дурачиться. Папа пріѣхалъ говорить съ тобою серьезно, а ты...

хвостовъ. Ударь, ударь ее!

авдотья степановна. Ударьте! Я не боюсь васъ... Прежде боялась, а теперь ничего не боюсь!

хвостовъ. (Выйдя изъ себя) Молчи! Слушай, что я тебѣ скажу... Это послѣдняя рѣчь моя.

хвостова. Потомъ, потомъ скажешь... Лучше поѣдемъ домой... Приѣдемъ въ другой разъ.

хвостовъ. Никогда! И бывать я здѣсь не буду, если она... Слушай! Брось все... Одумайся... Чтобъ этого проходимца ни слуху, ни духу. Онъ негодяй, а ты...

авдотья степановна. Онъ лучше васъ всѣхъ! Онъ изъ простыхъ людей въ настоящие люди пробился... Это вамъ только кажется, что лучше васъ никого нѣтъ... Обнялись со своими золотыми мѣшками, за деньги получали крестовъ и думаете...

хвостовъ. Съ глазъ долой! Провались! Изломаю всю...

(Бросается на нее съ кулаками. Изюмовъ удерживаетъ его. Авдотья Степановна убѣгаетъ въ спальню; Хвостова за ней)

изюмовъ. Папа, что вы сдѣлали?! Теперь все погибло.

хвостовъ. Ничего, ничего не будетъ... Не бойся... Обойдется... А я сейчасъ къ полицеймейстеру поѣду, губернатору, если нужно будетъ... Такихъ проходимцевъ, ничего не дѣлающихъ, гнать изъ городовъ надо, за тысячи верстъ гнать... Онъ къ деньгамъ поддѣлывается, золотыя вещи ея украсть хочетъ... Знаю я ихъ... Ничего... Ты не бойся, Викторъ. Его здѣсь скоро не будетъ.

(Идетъ въ переднюю)

изюмовъ. Если бъ это можно было сдѣлать, все тогда бы перемѣнилось... Она только черезъ него съ ума сходить... Въ этомъ я увѣренъ...

(Уходятъ. Изюмовъ скоровозвращается и идетъ въ спальню. Не рѣшаясь войти)

останавливается у дверей и невольно слушает разговоръ Авдотьи Степановны съ Хвостовой)

изюмовъ. (Въ дверяхъ) Не правда, мама, не правда! Никогда я этого не говорилъ... Развѣ я могъ? Я такъ ее люблю...

(Входитъ Хвостова)

ХВОСТОВА. (Беря его за руку и отводя отъ двери, тихо) Викторочка, вы не мѣшайте мнѣ... Она начинаетъ успокаиваться, приходитъ въ себя... Я одна...

изюмовъ. Хорошо, хорошо, мама. Я уйду въ дѣтскую.

(Уходитъ. Изъ спальни съ кофточкой и шляпкой въ рукахъ выходитъ Авдотья Степановна)

ХВОСТОВА. Ты куда же? Вѣдь дала слово никуда не выходить. Полно, полно, Дунечка... Положи кофточку, дай шляпку.

(Беретъ у нея то и другое и кладетъ на пианино. Авдотья Степановна, сама не зная, что дѣлать—идти или не идти, ослабѣвшая, уставшая, опускается на стулъ)

ХВОСТОВА. Ты слушайся меня, только слушайся меня... Все будетъ хорошо... Смирись покуда, лаской скорѣе все сдѣлаешь.. И папа и Викторочка, если съ ними ласково, разумно говорить, все тебѣ сдѣлаютъ...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Ничего не сдѣлаютъ... Денегъ на конфеты дадутъ, шубу сошьютъ.

ХВОСТОВА. Ты потерпи еще, повѣрь себя... Поживи полгода, годъ, а тамъ видно будетъ... Не переборешь себя, не въ силахъ будешь ужиться, — сама буду просить за тебя, чтобъ отпустили и денегъ дали... Вѣдь у тебя, Дунечка, дѣти, ты подумай...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Они у васъ будутъ жить... Имъ еще лучше будетъ... Какая я мать...

ХВОСТОВА. Полно, моя милая, полно, дорогая... Ты наговариваешь на себя, у тебя сердце хорошее... Потеряла ты самое себя... почву под ногами утратила... Это бывает, проходить... Многія женщины такъ мучаются... Пройдетъ...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Никогда не пройдетъ.

ХВОСТОВА. (Тихо, почти шопотомъ, чтобы не слышалъ Изюмръ) Забудь этого... Онъ, можетъ быть, хорошій и любви твоей стоитъ, а лучше забыть... для дѣтей забыть...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Мнѣ двадцать пять лѣтъ... Шестнадцати лѣтъ вы выдали меня замужъ... Ничего я не понимала... Мнѣ жить, мама, хочется, жить...
(Плачетъ)

ХВОСТОВА. Ну, какъ-нибудь, какъ-нибудь, Дунечка. Вѣдь всѣ съ мужьями живутъ какъ-нибудь... Посмотри кругомъ: Чайкины, Федоровы, мадамъ Тиллэ... Не нравится вамъ здѣсь, переѣзжайте на Ивановскую... Тамъ деревья на улицѣ, въ домѣ сводовъ нѣтъ. Гдѣ хочешь живи, вѣдь у насъ пять домовъ.

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Какихъ?

ХВОСТОВА. Каменныхъ, одинъ только деревянный...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Каменныхъ много, а настоящаго дома ни одного... Ни одного...

ХВОСТОВА. Знаю я, про что ты говоришь... Сама объ этомъ всю жизнь думала. Да что дѣлать-то? Не огорчай меня, не обвиняй... Стыдно мнѣ на тебя смотрѣть.

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Какія мы всѣ женщины несчастныя, несчастныя...

ХВОСТОВА. (Увидѣвъ, что свѣча на столикѣ не горитъ) Свѣча-то у васъ сегодня не горитъ!.. Надо зажечь... (Зажигаетъ и считаетъ лежащія на столикѣ свѣчи) Это только восьмая... Няня говорить двѣнадцать надо.

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Развѣ это поможетъ? Сколько на свѣтѣ и умнаго, и хорошаго, и глупаго, и смѣшнаго... Все перепуталось и не разберешь, гдѣ правда и гдѣ ложь... Туманъ какой-то... А люди все-таки всѣ мерзавцы и негодяи...

ХВОСТОВА. Надо самой быть лучше... Пойду, Ду-нечка, посмотрю, что Викторочка дѣлаетъ... Онъ въ дѣтской...

(Уходитъ. Авдотья Степановна переходитъ къ окну, у котораго стоялъ Герасимовъ)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Шепчетъ, чуть слышно) Милый, дорогой... Позови меня... (Прижимается головой къ косяку, задумывается и смотреть на небо) Не позоветъ... не позоветъ...

Занавѣсъ.

Авдоткина жизнь.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Та же комната. Годовщина свадьбы И з ю м о в а. Комната по этому случаю замѣтно прибрана. На одномъ изъ маленькихъ столиковъ ваза съ букетомъ живыхъ цвѣтовъ. На обѣденномъ столѣ приготовлена весьма обильная закуска, бутылокъ десять разнообразнаго вина, серебряный самоваръ и чайная посуда. В а с и л ь к о в а разливаетъ чай, недалеко отъ нея сидитъ К а р т и н к и н ъ. А в д о т ь я С т е п а н о в н а стоитъ у окна и разговариваетъ съ дѣтьми, идущими играть въ церковную ограду.

А в д о т ь я С т е п а н о в н а. Смотри не шали, Андрей, не кидайся пескомъ, глаза засоришь... Возьми Сонечку за руку... Возьми! Я тебѣ говорю возьми! Няня, что вы плывете, какъ утка? Не отставайте отъ дѣтей, могутъ лошади раздавить. Что? (Послѣ паузы) Хорошо... Погодите, я сейчасъ пирожковъ и бутербродовъ дѣтямъ дамъ... (Беретъ со стола нѣсколько пирожковъ и бутербродовъ) Вотъ держите... (Няня показывается у окна и беретъ) Раньше обѣда не приходите... (Отошла и опять подошла къ окну) Сырой воды дѣтямъ не давайте! Слышите?

К а р т и н к и н ъ. Что сей сонъ значить?

А в д о т ь я С т е п а н о в н а. Поленька, налейте мнѣ... Девять лѣтъ тому назадъ я въ это время собиралась къ вѣнцу... Меня причесывалъ парикмахеръ Альбертъ... платье шила Курочкина...

К а р т и н к и н ъ. А я держалъ надъ вами вѣнецъ, путался въ вашемъ платьѣ, когда васъ кругомъ водили...

А в д о т ь я С т е п а н о в н а. Мнѣ было весело, я смѣялась... Когда пила теплоту, фыркнула и чуть у меня не вылилось все изо рта. Горѣло паникадило, стояла

рѣшетка. Батюшка сказалъ послѣ вѣнчанья: „Дай Богъ тебѣ такъ же весело жить, какъ ты весело вѣнчалась...“ Какъ это было давно, давно...

(Ея дѣлается грустно)

ВАСИЛЬКОВА. Вѣдь вотъ же можете вы, Дунечка, быть славной, хорошей... Что съ вами? Не передъ грозой ли?

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Имъ надо, чтобы я такой была—я буду. У меня хватить терпѣнья. Мама просила, общалась все сдѣлать... Буду ждать, посмотрю... а и то...

КАРТИНКИНЪ. Вы себя лучше розовыми мечтами не лелѣйте, потомъ тяжелѣе будетъ... Я, положительно, не представляю васъ одной, самостоятельной... Ни черта изъ этого не выйдетъ...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Я въ модистки пойду, буду работать.

ВАСИЛЬКОВА. Будетъ вамъ вздоръ говорить... Какая вы модистка? Вотъ вы здѣсь постарайтесь жизнь переимѣнить, создать лучшую...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Это невозможно... Здѣсь, какъ въ гробу, ничего сдѣлать нельзя,—положили, засыпали и лежи... Мнѣ представляется, хоть приди сейчасъ солдаты, не наши, иностранные, разрушь весь домъ, убей всѣхъ насъ и то эта жизнь останется,—такъ невидимая по камнямъ будетъ витать...

КАРТИНКИНЪ. Н-да...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Вотъ выйду я изъ дому на улицу, въ поле, куда-нибудь подальше изъ дому, и другимъ себя человѣкомъ чувствую. Плакать хочется, цвѣты рвать, цѣловать ихъ... А придешь домой, какъ въ сырой подвалъ, и хочется отравиться спичками... А въ Москвѣ я была, такъ совсѣмъ не вѣрила, что это я... Помолодѣла... Мужчина на улицѣ мнѣ одинъ сказалъ: какая хорошенькая.

картинкинъ. Почудили тамъ?

авдотья степановна. Нѣтъ, я тогда боялась... Сидѣла въ номерѣ одна, никуда почти не выходила, и то было хорошо и весело... А когда ѣхала обратно...

василькова. Ну, ну, расскажите, какъ это вы съ нимъ встрѣтились?

авдотья степановна. Онъ ѣхалъ въ третьемъ классѣ, а я во второмъ... До самаго Коврова и не подозревала, что такой ѣдетъ въ одномъ поѣздѣ... А въ Ковровѣ на станціи встрѣтились. Онъ мнѣ борщъ свой отдалъ... Публики было много, я ничего сама не успѣла добыться, а онъ говоритъ: „Нате, ѣшьте сначала вы“... Такъ и познакомились... И потомъ...

(Голосъ Изюмова въ проходной комнатѣ: „Раньше трехъ обѣдать не будемъ“)

авдотья степановна. Пришелъ... И какъ хорошо безъ него, придетъ и все отравитъ... Видѣть не могу...

(Входитъ Изюмовъ)

изюмовъ. Здравствуйте. (Здоровается съ Васильковой и Картинкинымъ. Онъ выглядитъ свѣжѣе и веселѣе, чѣмъ въ двухъ предыдущихъ актахъ) А вотъ это, Дунечка... (Вынимаетъ футляръ съ медальономъ и длинной цѣпочкой) Ты давно хотѣла...

авдотья степановна. Ничего не хотѣла...

(Равнодушно раскрываетъ футляръ)

изюмовъ. Триста рублей стоитъ...

(Авдотья Степановна, посмотрѣвъ на Картинкина, иронически улыбается)

авдотья степановна. Благодарю!..

(Цѣлуетъ мужа, чуть дотрогиваясь губами не то до щеки, не то до воротника; кладетъ футляръ на столъ и уходитъ въ спальню)

изюмовъ. (Просіявъ отъ радости) Поцѣловала... Вы видѣли? Полтора мѣсяца уже не цѣловала. Совсѣмъ она, Поленька, другой стала. не узнаешь. О дѣтяхъ

стала заботиться... Вчера цѣлый вечеръ имъ волосы чесала... Теперь все слава Богу... Налейте-ка мнѣ стаканчикъ. (Напѣваетъ)

Законъ, законъ,
Законъ себѣ поставимъ
На-ра, на-ра,
На радостяхъ пожить...

ВАСИЛЬКОВА. Викторъ, гдѣ у васъ глаза?

ИЗЮМОВЪ. (Испугавшись) А что? Развѣ опять подъ окнами стоялъ? Вы видѣли? Видѣли?

ВАСИЛЬКОВА. Нѣтъ... Пять дней онъ ужъ не появлялся.

ИЗЮМОВЪ. Это хорошо... Слава Богу... Должно быть образумился, рѣшилъ оставить ее въ покоѣ... И она, я думаю, измучилась и рада... Папа говоритъ, что все обойдется. (Тихо) А я, признаться, думалъ, что сбѣжитъ она...

КАРТИНКИНЪ. Дѣло не въ томъ, Викторъ, что онъ подъ окнами не ходитъ... Можно не ходить, не видѣться, да ближе быть...

ИЗЮМОВЪ. Ну, вотъ вздоръ! Только бы онъ не ходилъ, только бы они не видѣлись, и все пройдетъ... Жили же мы съ ней до сихъ поръ, ничего этого не было, а тутъ появился онъ, и испортилъ ее, смутилъ.

КАРТИНКИНЪ. „Блаженъ кто вѣруетъ, тепло ему на свѣтѣ“.

ИЗЮМОВЪ. Что она дѣлаетъ въ спальнѣ? Пойду посмотрю.

(Уходитъ)

КАРТИНКИНЪ. Тяжело на нихъ смотрѣть...

ВАСИЛЬКОВА. Да, главное, ничего тутъ сдѣлать нельзя, ничего тутъ не выдумаешь.

КАРТИНКИНЪ. Тутъ надо начинать съ основанія.

ВАСИЛЬКОВА. Вы все въ корень вещей смотрите. Хотите еще чаю?

КАРТИНКИНЪ. (Вставая изъ-за стола и подходя къ окну) Нѣтъ.

(Пауза)

Не понимаю, зачѣмъ я здѣсь бываю почти каждый день? Каждый разъ ухожу съ горькимъ осадкомъ, непонятымъ, оскорбленнымъ... На прошлой недѣлѣ она меня два раза выгнала и я хожу. Должно быть я жалкая личность.

ВАСИЛЬКОВА. И я тоже каждый день къ нимъ бѣгаю, а если подумать,—зачѣмъ они мнѣ и зачѣмъ я имъ? Я никому не нужна... Только мамашѣ, но она скоро умретъ... Дайте папиросу.

КАРТИНКИНЪ. (Давая ей папиросу) Я родился въ этомъ городѣ, живу тридцать пять лѣтъ и у меня знакомыхъ только вы и они... Я не симпатиченъ людямъ, меня никогда, никуда не приглашаютъ... Почему? Не знаю... А, между тѣмъ, я люблю жизнь, людей... Я говорю иногда очень умно, вдохновенно... пишу стихи...

ВАСИЛЬКОВА. Говорите вы хорошо, но постоянно только о себѣ... Вы не сердитесь... Я не дѣлаю вамъ замѣчанія, а говорю только... Постоянно о себѣ...

КАРТИНКИНЪ. Я и думаю только о себѣ: что я за человѣкъ и что мнѣ съ собой дѣлать... Весь мой дневникъ, который я веду уже десять лѣтъ, наполненъ этой чепухой... Зачѣмъ я пишу его, для чего? Не знаю, какъ не знаю, зачѣмъ я бываю здѣсь.

ВАСИЛЬКОВА. Надо гдѣ-нибудь бывать.

КАРТИНКИНЪ. Печально. (Поглядѣвъ въ окно) Вонъ, кажется, старики пріѣхали... Не уйти ли?

ВАСИЛЬКОВА. Неловко, обидятся, подождемъ... (Подходить къ спальнѣ) Викторъ, ваши пріѣхали.

(Выходитъ Авдотья Степановна Изюмовъ)

изюмовъ. Приѣхали... Надо идти встрѣтить...

(Авдотья Степановна первая выходитъ въ переднюю. Это ошеломляетъ настолько Изюмова, что онъ останавливается и, схвативъ за руку Василькову, говорить, захлебываясь отъ восторга)

изюмовъ. Вотъ видите! Первая идетъ встрѣчать... Я говорилъ вамъ, что она другая стала... А что въ спальнѣ мнѣ она говорила! Пріятно было слушать...

(Уходитъ въ переднюю)

василькова. Слѣпой, совсѣмъ слѣпой... Жалко мнѣ его до слезъ... Кажется, взяла бы, да все ему доказала бы, а жалко—пусть такимъ слѣпымъ походить, немного поживетъ, отдохнетъ...

(Входятъ Хвостовы, Изюмовъ и Авдотья Степановна. Хвостовъ въ мундирѣ попечителя вѣдомства Императрицы Маріи, при шпагѣ, на шеѣ медали, кресты, въ рукахъ треуголка)

хвостовъ. Прямо изъ собора... Молебствіе было торжественное... Усталъ стоять, да и ѣсть захотѣлось.

изюмовъ. Вотъ и прекрасно... Тутъ все на столѣ... Мама, сымайте шляпку.

хвостовъ. Погоди... Это потомъ, не уйдетъ... А вотъ сначала (Обращаясь къ Авдотѣ Степановнѣ) поздравляю тебя... Смотри у меня, будь умненькой... Не сердись... Мало ли что въ семьяхъ бываетъ... Ну?

авдотья степановна. Что—ну?

хвостовъ. Подойди ко мнѣ. (Авдотья Степановна подходит; онъ гладитъ ее по головѣ) Ты думаешь у тебя злой отецъ-то? Обидѣ не забываетъ... Хочешь на конфекты? Викторъ, дасть ей на конфекты?

изюмовъ. Дайте, папа.

хвостовъ. Сколько? Цѣлковый будетъ или два? Ну, дамъ цѣлковый... (Медленно разстегиваетъ мундиръ, что ему мѣшаетъ дѣлать треуголка. Не забылъ ли дома бумаж-

никъ? Вотъ хорошо... Старый объ дочкѣ забылъ, на конфетки не привезъ... Ахъ, я такой-сякой, намазанный-сухой...

(Исюмовъ и Хвостова очень довольны, смѣются)

исюмовъ. Папа, дайте треуголку, она вамъ мѣшаетъ.

(Бережно беретъ треуголку и кладетъ на пианино)

хвостовъ. Забылъ... Что дѣлать?—забылъ... Ахъ, шутъ возьми... Вотъ горе-то, вотъ бѣда-то... (Ощупываетъ бумажникъ въ карманѣ) Нѣтъ, кажись, здѣсь... Здѣсь, не забылъ... (Серьезно, подчеркивая) Слышишь, не забылъ...

авдотья степановна. Садитесь лучше закусывать... Будетъ вамъ...

хвостовъ. Ну, ну... Получай цѣлковенькій. (Вынимаетъ выигрышный билетъ, беретъ его за кончикъ и трясетъ имъ въ воздухъ) Ишь ты... какіе большіе стали выпускать цѣлковые-то... новаго образца, специально для дочекъ... Дать?

исюмовъ. Это выигрышный билетъ!

авдотья степановна. (Непочтительно) Дайте!

хвостовъ. Ты что это какъ?—„Дайте!“ А если я обратно въ карманъ положу?

авдотья степановна. (Цѣлуя у него руку) Благодарю васъ.

хвостовъ. То-то... Возьми. Мужу отдай, пускай въ банкъ положить, присоединить...

(Авдотья Степановна съ жадностью прячетъ деньги въ карманъ, комкая билетъ, и торопясь это сдѣлать, чтобы не отняли)

хвостовъ. Ты что это? Дрожишь вся? Все еще не выбросила изъ головы? Мужу отдай билетъ, мужу!

авдотья степановна. Ну, ужъ это дудки, папа! У меня нѣтъ денегъ на карманные расходы... Надоѣло все просить... А въ головѣ у меня ничего нѣтъ, ничего...

хвостовъ. Отдай мужу!

хвостова. Пусть ее... Двѣсти рублей,—куда она съ ними убѣжитъ?

изюмовъ. Понятно, папа... Что вы боитесь?

авдотья степановна. И бѣжать я никуда не хочу... Зачѣмъ я побѣгу? У меня дѣти.

хвостовъ. Смотри, Лиса Патрикѣевна! Хитра, себя на умѣ... Я вѣдь вижу...

изюмовъ. Ничего, папа... Не огорчайте насъ... Она теперь совсѣмъ другой стала.

хвостова. Годовщина свадьбы, такой день, а ты...

изюмовъ. Пожалуйте за столъ... Дунечка, наливай чай...

хвостовъ. Ну, посмотрите, потомъ чтобы меня не беспокоить... И слушать васъ не буду, если тамъ опять что-нибудь...

(Всѣ садятся за столъ. Авдотья Степановна разливаетъ чай. Пауза):

хвостова. Молебствіе сегодня было парадное. На площади, противъ Астафьевскаго дома, подмостки были... Два архіерея, Викарій изъ Суздаля...

изюмовъ. А я не попалъ... Папа, можетъ быть, рюмочку?

хвостовъ. Чаю хочу сначала... Его превосходительство (Смѣется) чудакъ человѣкъ!—Подошелъ ко мнѣ, взялъ мою руку и сказалъ: „жму вашу благородную руку“. (Обращаясь къ Изюмову) Слышишь — благородную!—„Жму вашу благородную руку и говорю вамъ: вы благороднѣйшій человѣкъ“. (Смѣется и опять обращается къ Изюмову) Вотъ руку-то посмотри... Рука, какъ рука и она же фунты отвѣшивала...

хвостова. Полно чудить... То злой, то очень ужъ веселый... (Голосъ Герасимова изъ проходной комнаты) Мнѣ нужно! Какіе тамъ доклады...

(Луша показывается въ дверяхъ)

луша. Тутъ господинъ какой-то...

ГЕРАСИМОВЪ. (Отстраняя отъ дверей Лушу) Ступай, ступай! Чего тамъ докладываешь?.. Кто черезъ черный ходъ приходитъ, о тѣхъ не докладываютъ... (Луша скрывается) Эй вы, почтенные обыватели! Вашихъ рукъ это дѣло, что я долженъ въ 24 часа изъ города удалиться? Ну? (Всѣ всполошились, встали изъ-за стола, растерялись. Хвостовъ первый приходитъ въ себя) Кто меня за мошенника выдалъ? Ну?

ХВОСТОВЪ. (Обращаясь къ Картинкину) Дворника позовите... Кучера моего, онъ на козлахъ сидитъ...

ГЕРАСИМОВЪ. Вижу... все вижу... Ну, я у васъ въ долгу не останусь... (Обращаясь къ Изюмову) Слушай ты, ржаная лепешка! Пожалѣлъ я тебя, хотѣлъ оставить въ покоѣ, да досадили мнѣ... Чистъ я былъ, какъ хрусталь, передъ женой твоей, а вотъ теперь при всѣхъ скажу: Дуня, хотите—пріѣзжайте ко мнѣ? Адресъ напишу, ждать буду.

ХВОСТОВЪ. (Кричитъ на улицу, подбѣжавъ къ окну) Полицейскій!

(Хвостова и Изюмовъ подбѣгаютъ къ Авдотѣ Степановнѣ и жестами о чемъ-то умоляютъ ее)

ГЕРАСИМОВЪ. (Обращаясь къ Хвостову) Не кричи! Самъ уйду... Я все сказалъ, что нужно...

(Идетъ къ дверямъ)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Не пустать, не пустать... только сейчасъ, только съ вами... Одѣнусь я...

(Выбѣгаетъ въ спальню).

ХВОСТОВЪ. (Обращаясь къ Изюмову) Запри... Скорѣе запри...

(Бѣжитъ къ спальнѣ и вмѣстѣ съ Изюмовымъ, мѣшая другъ другу, запираютъ дверь)

ХВОСТОВЪ. Ничего... Не уйдетъ, не уйдетъ теперь... на окнахъ тамъ рѣшетки, рѣшетки...

(Изюмовъ, ничего не соображая, наваливается уже на запертую дверь и крѣпко держитъ ее. Авдотья Степановна стучится и дергаетъ дверь)

ГЕРАСИМОВЪ. (Совершенно спокойно, просто, убѣждая) Напрасно, ребята, это вы дѣлаете, все равно уйдетъ...

ХВОСТОВЪ. (Въ изступленіи, топая ногами и наступая на Герасимова) Что?.. Взялъ?.. Выкусил?.. Кукишъ съ масломъ! (Дѣлаетъ кукиши и тычетъ ими почти въ лицо) Вотъ тебѣ! Не хочешь ли? Милости прошу. Покушай! Покушай!

ГЕРАСИМОВЪ. (Такъ же спокойно) Не горячись, старикъ, пожалуй умрешь... Прощай... Встрѣтимся на томъ свѣтѣ, я на тебя пожалуюсь дьяволу.

(Уходитъ)

ХВОСТОВЪ. (Обращаясь къ Изюмову, все еще стоящему въ той же позѣ у двери) Ты держи ее, пять дней не выпускай, черезъ рѣшетку ѣсть подавай... А я... я видѣть ее не могу... Ноги моей здѣсь больше не будетъ.

ХВОСТОВА. Съ тобой ударъ сдѣлается... Успокойся...

ХВОСТОВЪ. Домой... Скорѣе домой... (Обращаясь къ жевѣ) Ты оставайся... Я одинъ... Оставайся...

ХВОСТОВА. Нѣтъ, какъ я тебя брошу такимъ... что ты? Я съ тобой...

(Уходятъ)

КАРТИНКИНЪ. (Потрясенный всѣмъ происходящимъ въ комнатѣ) Викторъ! Ни замками, ни цѣпами душу не удержишь... Что ты дѣлаешь? Какъ ни дики ея порывы, какъ ни нелѣпа она сама, въ ней пробудилось самосознаніе, вдохновилась душа... Дай дорогу ей... Посторонись... Отпусти ее...

ИЗЮМОВЪ. Что ты? Что ты?.. Вѣдь она погибнетъ, совсѣмъ погибнетъ...

(Опускается на стулъ около двери и плачетъ)

КАРТИНКИНЪ. Пусть погибнетъ... Погибнуть черезъ себя легче, меньше обидно, чѣмъ черезъ другихъ... И здѣсь она погибнетъ, только медленной, пошлой смертью, какъ погибнемъ съ тобой мы... Погибнуть молодымъ, погибнуть вдохновенно, ярко, борясь и стремясь,—это такъ красиво, такъ великолѣпно!.. Мы не умѣли жить, не будемъ мѣшать другимъ...

ВАСИЛЬКОВА. Вы идеализируете... Богъ знаетъ, что говорите...

КАРТИНКИНЪ. Что ты ей можешь дать? Что, кромѣ медальона и тяжелой обузы заботъ о себѣ и дѣтяхъ? Что, кромѣ ряда однообразныхъ, скучныхъ, какъ осень, дней?

ИЗЮМОВЪ. Мы жизнь перемѣнимъ... На Ивановскую улицу переѣдемъ... Тамъ все будетъ иначе...

КАРТИНКИНЪ. Нѣтъ, братъ, ничего не будетъ иначе... Вотъ она здѣсь говорила сегодня: „Приди сюда иностранные солдаты, разрушь домъ, убей всѣхъ насъ, а наша жизнь останется, такъ, говорить, невидимая по камнямъ витать будетъ“... И это правда. Мы родились на берегу вотъ этого (Показываетъ на окно) рва, вонючаго болота, и куда бы мы ни переѣзжали, мы опять очутимся на немъ... Поздно... Мы гнусно прожили свое время и дали опутать насъ съ ногъ до головы сѣтями обыденщины... Не мѣшай рвать эти сѣти другимъ... Отпусти ее...

ИЗЮМОВЪ. Вадоръ, вадоръ ты говоришь... Она погибнетъ... Куда ей справиться тамъ... Ничего не выйдетъ изъ нея...

ВАСИЛЬКОВА. И въ самомъ дѣлѣ, Абрамъ, та жизнь, о которой вы говорите, не для нея... Она пойдетъ по торной дорогѣ... Викторъ правъ.

КАРТИНКИНЪ. Жаль... А можетъ быть изъ нея что-нибудь и вышло бы? (Подумавъ) Не знаю... Но я все-таки отпустилъ бы ее: пусть поживетъ, узнаетъ жизнь...

изюмовъ. Никогда, никогда я этого не сдѣлаю! Это значитъ самому толкать ее въ пропасть...

картинкинъ. Ну, такъ она убѣжить сама... Я ска- залъ все... Прощай пока...

(Уходитъ)

изюмовъ. Поленька, что же дѣлать? Научите меня, скажите...

василькова. Не знаю, но только не то, что вы... Прежде всего надо отпереть дверь...

изюмовъ. Ни за что, пока онъ въ городѣ: она убѣжить...

василькова. Но она можетъ сдѣлать что-нибудь надъ собой!

изюмовъ. (Пораженный этой мыслью) Да, да!.. Господи, какъ же мнѣ это не пришло въ голову?.. Жива ли она? (Прислушивается у двери) Тихо тамъ... Дунечка, я сейчасъ отопру... (Хочетъ отпереть и не можетъ) Не могу... Убѣжить она... Убѣжить...

василькова. Да вы закройте и парадный, и черный ходъ...

изюмовъ. Да, да... Какъ это я не догадался?

(Убѣгаетъ въ переднюю и запираетъ па- радный, пробѣгаетъ въ проходную комнату и запираетъ черный выходъ. Возвращается)

изюмовъ. (Тихо) Заперъ... Ключи вынулъ... Сей- часъ ее отопру...

(Отпираетъ. Авдотья Степановна въ кофточкѣ и платкѣ выбѣгаетъ изъ спальни, дико озирается, не можетъ дви- гаться дальше и садится на стулъ)

авдотья степановна. (Шепчетъ, ни къ кому не обращаясь) Что со мной дѣлаютъ? Что со мной дѣлаютъ? Поджечь... Задушить руками...

изюмовъ. Поленька, побудьте съ ней... Я не мо- гу смотрѣть на нее.

(Уходитъ въ спальню)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Ушелъ... Ушелъ... (Вскакиваетъ и бѣжитъ въ переднюю; скоро возвращается, стоитъ по срединѣ комнаты и шепчетъ) Заперли... Догадались... (Вспомнивъ) Черный ходъ!.. Я уйду... Я уйду...

(Убѣгаетъ и не возвращается дольше, чѣмъ изъ передней)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Въ отчаяніи, схватывая за грудь Василькову) Ключъ! Ключъ, старая дѣвка! Дай! Дай мнѣ ключъ...

ВАСИЛЬКОВА. Дунечка, успокойтесь... У него ключи, онъ заперъ...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Я въ окно...

(Бѣжитъ къ окну. Василькова преграждаетъ ей путь)

ВАСИЛЬКОВА. Опомнитесь... Народъ ходитъ...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Народъ... (Немного подумавъ) Въ окно изъ дѣтской... тамъ на дворъ...

(Бѣжитъ къ двери)

ВАСИЛЬКОВА. (Схватывая ее за руку) Дунечка... Дунечка... подумайте...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Ничего не хочу думать! Ничего не хочу знать! Не смѣй ходить. Не смѣй!

(Уходитъ. Василькова бѣжитъ къ спальнѣ, чтобы позвать Изюмова, но, добѣжавъ до двери, не рѣшается войти: ей безконечно жалко его. Она подбѣгаетъ къ окну, чтобы увидеть еще разъ Авдотью Степановну)

ВАСИЛЬКОВА. (Смотря въ окно) Вернитесь!.. Не слышитъ, садится на извозчика...

(Потерявъ всякую надежду, опускается на стулъ, стоящій у окна. Пауза.)

Дверь спальни нерѣшительно отворяется и на порогъ показывается Изюмовъ)

ИЗЮМОВЪ. (Тихо, робко) Ну, что?

ВАСИЛЬКОВА. Она... Она успокоилась... легла у няни на кровати.

ИЗЮМОВЪ. Слава Богу... Я не буду мѣшать, посижу пока въ спальнѣ... А вы все-таки не уходите...

(Затворяетъ дверь)

Занавѣсъ.

Авдоткина жизнь.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Та же комната. 9 часовъ вечера. На столѣ самоваръ и посуда. Картинкинъ и Василькова коротаютъ вечеръ. Картинкинъ сидитъ у окна и читаетъ стихи. Василькова смотритъ на него все тѣми же влюбленными глазами.

КАРТИНКИНЪ.

Покоемъ долгимъ сна

Утомлена душа,

Не жаждетъ и не хочетъ...

И только надъ собой,

Кляня въ тоскѣ покой,

И плачетъ, и хохочетъ...

Ее ни моря даль,

Ни радость, ни печаль

Ужъ больше не тревожатъ.

И, если бъ передъ ней

Всталъ образъ прежнихъ дней,—

Любить она не можетъ...

(Пауза. Василькова тронута прочитаннымъ стихотвореніемъ)

ВАСИЛЬКОВА. Прочитайте еще.

КАРТИНКИНЪ. (Что-то думая про себя, послѣ паузы) Странно... за всю свою жизнь я не читалъ никому своихъ стиховъ, кромѣ васъ... Я пишу съ 17-ти лѣтъ и пятнадцать лѣтъ читаю вамъ ихъ... Зачѣмъ я это дѣлаю? Нѣтъ, что ни говорите, а во мнѣ чего-то не достаетъ...

ВАСИЛЬКОВА. Пейте чай, простынетъ...

КАРТИНКИНЪ. (Переходя къ столу) Если сосчитать, сколько вечеровъ длинными часами мы съ вами вмѣ-

стѣ пили чай, получится капиталъ, миллионы, когда бы время перевести на деньги... Пили зимы, пили осени, весны... Цѣлые годы пили... Нелѣпо...

василькова. Но это была единственная моя радость... Если бы вы не заходили ко мнѣ пить чай, я умерла бы отъ тоски...

картинкинъ. Н-да... Я, въ сущности, говорилъ всю жизнь только съ вами... только у васъ...

василькова. Я всегда была благодарна вамъ, Абрамъ. Я любила васъ слушать.

картинкинъ. Вы одна, которая терпѣливо выслушиваете меня...

василькова. Я васъ знаю, какъ свои пять пальцевъ...

картинкинъ. И что же? Отъ этого ни мнѣ, ни вамъ не тепло и не холодно... Все это мы дѣлали отъ скуки и одиночества...

василькова. Нѣтъ, я не потому... Вы, можетъ быть, а я... я любила васъ (Робко) и люблю, Абрамъ...

(Встаетъ и нѣсколько разъ проходить по комнатѣ, на что-то рѣшаясь, что-то соображая. Пауза)

картинкинъ. Только одна женщина обратила на меня вниманіе,—это вы... Странно... А какъ мнѣ хотѣлось любить и быть любимымъ... Помните, какъ я прибѣгалъ къ вамъ восторженно влюбленнымъ и говорилъ по цѣлымъ вечерамъ о своихъ симпатіяхъ... Помните—мечты о Фридолиной... Лизѣ Колосовой... Последнюю и, кажется, дѣйствительно любилъ...

василькова. И я слушала, мучилась, какъ мучюсь теперь... Вы оскорбляли постоянно и никогда этого не замѣчали...

картинкинъ. Я вамъ говорилъ, что я свинья по отношенію васъ...

ВАСИЛЬКОВА. Развѣ это утѣшеніе? Подумайте, что вы говорите... Какой вы эгоистъ, какой эгоистъ...

КАРТИНКИНЪ. Не будемъ разсуждать на эту тему, а то мнѣ домой захочется идти...

ВАСИЛЬКОВА. (Нерѣшительно подойдя къ нему сзади стула) Оцѣните меня... Васъ, какъ я, мать не любила... Вы одиноки... У васъ сѣдые волосы... Нечего ждать, ничего не найдете.

КАРТИНКИНЪ. Пойте, пойте панихиду... (Возмущаясь) Да неужели я жилъ, мечталъ, писалъ стихи, дневники — только для того, чтобы кончить вами... Это ужасно...

ВАСИЛЬКОВА. Оскорбляйте... Я привыкла... И все-таки, все-таки, Абрамъ... (Обнимаетъ и цѣлуетъ его) Простите...

КАРТИНКИНЪ. (Вскакивая) Опять... Вы опять за это? Я просилъ васъ...

ВАСИЛЬКОВА. Я только поцѣловала.

КАРТИНКИНЪ. Только! Это возмущаетъ меня, злитъ... Вы опять дойдете до того, что заговорите о ребенкѣ... Это идиотство!..

(Беретъ шляпу и уходитъ)

ВАСИЛЬКОВА. Жестоко... Жестоко... (Закрываетъ лицо руками и долго такъ стоитъ, потомъ бѣжитъ въ спальню за ручнымъ зеркаломъ и смотрится, наклонясь къ лампѣ) Постарѣла... Морщины... Я всегда такой была... Уродъ!

(Вдавливаетъ ногти въ голову, желая причинить себѣ физическую боль. Возвращается Картинкинъ)

КАРТИНКИНЪ. Вы меня простите... Я гадокъ... Простите... И нужно было вамъ тревожить эти старыя дрожжи; такъ великолѣпно сидѣли, бесѣдовали...

ВАСИЛЬКОВА. Если бы вы знали, какъ мнѣ больно...

КАРТИНКИНЪ. (Лаская ее по головѣ) Ну, ничего... не обижайтесь... Я... это тоже оттого, что мнѣ самому скверно.

(Садится около нея и кладетъ ей на плечо руку. Она пугается этой первой ласки въ

жизни, стыдится, опускаетъ глаза и потомъ погружается въ какое-то сладкое забвеніе)

КАРТИНКИНЪ. Трудно объяснить, отчего я иногда озлобляюсь не только на васъ, но на всѣхъ, такъ, безъ всякой причины... Но ничего, позабудьте, что я вамъ сказалъ... Будемъ опять видѣться, чай пить, бесѣдовать...

(Василькова хватается его руку и цѣлуетъ)

КАРТИНКИНЪ. Это не надо... къ чему? Вы не унижайтесь, я другъ вашъ...

(Пауза)

ВАСИЛЬКОВА. Сколько я перестрадала... На улицѣ надо мной смѣются мужчины... и часто пошло острять... Я слышу и дѣлаю видъ, что не слышу... Чѣмъ я виновата?

КАРТИНКИНЪ. (Тронутый ея горемъ, кладетъ ея голову на грудь и гладитъ волосы) Забудьте все... Жизнь не въ этомъ...

ВАСИЛЬКОВА. Какъ же не въ этомъ? Въ этомъ, въ этомъ, Абрамъ. Я могла бы быть счастливой, у меня могли бы быть дѣти... А теперь... Вонъ музыка играетъ... Люди веселятся... а я одинока, одинока, одинока... Но сейчасъ мнѣ хорошо... Сейчасъ мнѣ хорошо... Если бы вотъ всегда такъ...

(Пауза. Въ проходной комнатѣ шумъ и слышны голоса Изюмова и Авдотьи Степановны)

ИЗЮМОВЪ. Дунечка, воротимся... Не раздѣвайся... Не хорошо... Обидятся... Приѣхали въ гости и уѣхали...

АВДОТЬЯ СТЕПАНОВНА. Убирайся одинъ... зачѣмъ потащился за мной?

ИЗЮМОВЪ. Да ты пойми... Выслушай...

(Въ нервно-возбужденномъ состояніи вбѣгаетъ Авдотья Степановна и пробѣгаетъ въ спальню. За ней—Изюмовъ)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. Ничего не хочу слушать.. Мнѣ противны всѣ тамъ... Поѣзжай одинъ, если хочешь...

ИЗЮМОВЪ. Неловко... У папы съ Грековымъ дѣла...
(Уходятъ и продолжаютъ горячо спорить, затворивъ двери спальни. Слышны визгливые возгласы Авдотьи Степановны и истерическій плачъ)

ВАСИЛЬКОВА. Опять поссорились... Когда это кончится?..

КАРТИНКИНЪ. Никогда... Восемь лѣтъ тому назадъ меня оскорбилъ директоръ... Я возмутился, наговорилъ грубостей и отказался служить... Но прошло двѣ недѣли и я вновь пришелъ... Униженно просилъ прощенія, и меня простили... Съ тѣхъ поръ я на всю жизнь засѣлъ на банковскомъ стулѣ... Буря въ стаканѣ воды... Мы не умѣемъ протестовать, мы умѣемъ только визжать отъ боли.

(Входитъ Изюмовъ)

ИЗЮМОВЪ. Воды!.. Поленька, стаканъ воды... Опять ерундить...

(Василькова уходитъ въ кухню и скоро возвращается съ водой)

ИЗЮМОВЪ. Кажется, конца этому не будетъ... Лучше бы не возвращалась. Представьте,—пріѣхали въ гости, все, какъ слѣдуетъ... и вдругъ соскочила и собралась домой... Богъ знаетъ, что съ ней дѣлается... (Обращается къ только что вошедшей Васильковой) Давайте скорѣе.

(Беретъ стаканъ воды и уходитъ въ спальню)

КАРТИНКИНЪ. Это вѣчная исторія... Затѣмъ я хожу сюда? Не понимаю... (Въ волненіи ходя по комнатѣ) Не понимаю, чего мы боимся жить? Она испугалась, испугалась, что у нея нѣтъ шубы, бѣлья, что вышли двѣсти рублей, и возвратилась...

ВАСИЛЬКОВА. Она хорошо сдѣлала... Что бы съ ней было бы?

КАРТИНКИНЪ. (Продолжая ходить) Дико... страшно дико... Вѣдь мы гибнемъ, гибнемъ каждый по своему,—одинъ на банковскомъ стулѣ, другой въ спальнѣ, третій за прилавкомъ и все-таки, все-таки судорожными руками хватаемся, какъ за спасеніе, за свое несчастное счастье—за этотъ камень, который насъ тащитъ ко дну... Не понимаю... Не понимаю, чего мы боимся...

ВАСИЛЬКОВА. Вѣдь она умерла бы нищей въ больницѣ. Это вотъ бы чѣмъ кончилось... Не сталъ бы онъ съ ней долго возиться...

КАРТИНКИНЪ. А теперь умереть дома на своей кровати... Знаете ли, въ одну изъ такихъ минутъ, какъ сейчасъ, я способенъ разбѣжаться и разбить себѣ голову объ стѣну...

ВАСИЛЬКОВА. Опять у васъ мрачное настроеніе... Перестаньте, Абрамъ... Мнѣ больно васъ слушать...

(Входитъ Изюмовъ)

ИЗЮМОВЪ. Успокоилась... Ничего... Сегодня немного... давайте играть въ преферансъ... Она услышитъ и прибѣжитъ... (Громко, стараясь, чтобъ услышала Авдотья Степановна) Поленька, давайте карты... Разставляйте столъ...

(Приготавливаетъ столъ для картъ)

КАРТИНКИНЪ. Я играть не буду...

ИЗЮМОВЪ. Ну вотъ еще... Вадоръ какой... Каждый разъ ломаетесь... Садимся...

ВАСИЛЬКОВА. И мнѣ чего-то не охота.

ИЗЮМОВЪ. Нѣтъ, ужъ вы пожалуйста... Не люблю я, когда это вы кочевряжитесь...

КАРТИНКИНЪ. Я играть не буду... опротивѣло...

(Садится за піанино и что-то подбираетъ однимъ пальцемъ)

изюмовъ. Позову ее... авось!.. (Подойдя къ дверямъ спальни) Дунечка, мы въ преферансъ собираемся играть... (Тихо, обращаясь къ Васильковой) Улыбнулась... Кажется, придетъ... Садимся...

(Садится за карточный столъ. Василькова лѣнливо, съ неохотой, по принужденію тоже садится и беретъ въ руки карты)

изюмовъ. Картинкинъ, будетъ вамъ ломаться... играемъ...

(Входитъ Авдотья Степановна)

(Изюмовъ подмигиваетъ Васильковой и дергаетъ ее за рукавъ въ очень довольномъ настроеніи)

авдотья степановна. Я буду, но только не на бумажку и не въ преферансъ, а въ стуколку... Надо копѣекъ въ лавочкѣ намѣнять... (Обращаясь къ Васильковой) За вами три сорокъ шесть... (Обращаясь къ мужу) Пошли въ лавочку...

изюмовъ. Не стоитъ...

авдотья степановна. (Всплывъ) Ну, такъ я не буду играть!

изюмовъ. Хорошо, хорошо...

(Уходитъ въ проходную комнату)

авдотья степановна. Картинкинъ, садитесь... Будетъ вамъ тыкать тамъ пальцемъ.

картинкинъ. (Продолжая подбирать пальцемъ ноты) Я не буду.

авдотья степановна. Почему?

картинкинъ. Такъ не буду.

авдотья степановна. Не смѣете.

картинкинъ. (Переставая играть) Что?

авдотья степановна. Если не хотите играть, не приходите къ намъ...

картинкинъ. (Подходя къ столу) Вотъ какъ... Я не знаю, что вамъ сказать... Видно, любовь способна обла-

гораживать насъ только на мѣсяцъ, на два, а потомъ мы снова...

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Вольше шутя, чѣмъ серьезно) Противный...

КАРТИНКИНЪ. Я никогда не былъ вашимъ врагомъ... Я въ глубинѣ души даже восхищался вами, Авдотья Степановна... Говорилъ одно, а думалъ другое, потому что я рабъ и ничтожество... Но никто такъ не радовался, когда вы вырвались отсюда и никто такъ не былъ удивленъ...

ВАСИЛЬКОВА. Молчите, Абрамъ...

(Входитъ Изюмовъ)

ИЗЮМОВЪ. Размѣняли... (Кладетъ горсть копѣекъ на столъ) Теперь сраженіе... „Какъ въ ненастные дни собирались они“ (Садясь за столъ, напѣваетъ, подражая Евгению Онегину и Ленскому). „Начнемъ?“— „Начнемъ, пожалуй!“

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Задумавшись) Вы меня обвиняете?..

(Встаетъ и переходитъ къ окну)

ИЗЮМОВЪ. Куда же, Дунечка? Что такое? Что съ тобой опять?

(Пауза. Картинкинъ опять сѣлъ за піанино и началъ что-то подбирать)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Сдерживая слезы) Нельзя обвинять... Я... Ну, да все равно, все равно теперь.

ИЗЮМОВЪ. Что такое? Скажите... Это вы опять, Картинкинъ?.. Я васъ просилъ не вспоминать ничего... Лучше не ходите, если вы не понимаете словъ. (Въ проходной комнатѣ голосъ Хвостовой: „что, не спать еще!“) Что это? Мама... Зачѣмъ она?

(Уходитъ въ проходную комнату)

АВДОТЯ СТЕПАНОВНА. (Подбѣжавъ къ піанино, тихо но горячо, какъ бы оправдывая, защищая себя) Вы думаете, мнѣ легко здѣсь?.. Легко... Но... но онъ самъ бѣдный.

Я погубила бы его... Я не могла ничего другого придумать... А вы обвиняете... вы обвиняете...

картинкинъ. Струсил... Испугались... Эхъ-ма!

(Нервно ударяетъ по клавишамъ. Входитъ Изюмовъ, Хвостова и Анфиса толстая баба съ двумя узлами бѣлья)

изюмовъ. Дунечка, мама пріѣхала въ баню звать. Папа выдумалъ на ночь глядя. Всегда онъ что-нибудь выдумаетъ... Мнѣ велѣлъ обязательно пріѣхать...

авдотья степановна. (Цѣлуя руку матери) Здравствуйте... Поздно вѣдь, мама, — десять часовъ.

хвостова. Ничего... Папѣ отъ скуки захотѣлось, а потомъ къ намъ ужинать.

авдотья степановна. (Грустно) Хорошо, поѣдемте... Я сейчасъ соберу бѣлье.

(Уходитъ въ спальню)

изюмовъ. А мы тутъ только что хотѣли въ картиншки перекинуться...

хвостова. Ну, что? Какъ она?

изюмовъ. Ничего... Все слава Богу... (Тише) Сегодня немного поскандалила, а сейчасъ ничего... Въ карты съ нами собиралась играть.

хвостова. Ну, вотъ видите... Сердце у ней доброе... А пройдетъ годъ, другой, подрастутъ дѣти—все быльемъ порастетъ...

изюмовъ. Вашими устами да медъ пить бы... Дай Богъ... Дай Богъ...

(Въ дверяхъ спальни появляется Авдотья Степановна)

авдотья степановна. Викторъ, гдѣ мочалки?

изюмовъ. За умывальникомъ были, милая... за умывальникомъ, дорогая. Я пойду посмотрю...

(Оба уходятъ въ спальню)

хвостова. (Обращаясь къ Картинкину) А вы давно здѣсь?

картинкинъ. Давно... Очень давно... Мнѣ кажется, какъ только я родился, такъ сюда меня и принесли...

хвостова. Привыкли, привязались къ Викторочкѣ. Къ нему вѣдь нельзя не привязаться, онъ такой добрый, милый... (Обращаясь къ Васильковой) А вы давно здѣсь?

василькова. Тоже очень давно...

хвостова. Ступайте къ намъ ужинать... Вамъ безъ насъ подадутъ... Тутъ безъ нихъ что прислугу-то безпокоить.

василькова. Благодарю.

(Картинкина сильно оскорбляетъ такое предложеніе Хвостовой. Онъ становится противенъ и гадокъ самому себѣ, ему хотѣлось бы убѣжать, спрятаться отъ людей, но растерянный и подавленный оскорбленіемъ, чтобы только не замѣтили его смущеніе, онъ беретъ ноты и передвигаетъ ихъ).

Входитъ Изюмовъ и Авдотья Степановна. Въ рукахъ у нихъ вязанныя сумочки съ бѣльемъ)

изюмовъ. Готовы... Чудакъ папа! Чай, опять въ 37 номерѣ и три баньщика?

хвостова. Тамъ... 35 и 37 по телефону заказали...

(Уходитъ въ проходную комнату. На сценѣ остаются Картинкинъ и Василькова. Пауза)

картинкинъ. Вы слышали?.. Онъ тоже сказалъ, что лучше мнѣ не ходить сюда... Даже онъ...

василькова. Не будемъ ходить... Вѣдь не придешь день, два — пришлютъ... Иди въ карты играть! Словно мы обязаны...

картинкинъ. Мнѣ не хочется ни ходить, ни сидѣть, ни лежать...

ВАСИЛЬКОВА. Она совсѣмъ поглупѣла... Оскорбляетъ ни за что...

КАРТИНКИНЪ. Нѣтъ.. Она нисколько ни глупѣе, ни умнѣе, ни лучше и ни хуже насъ... Всѣ мы Авдотьи... Всѣ мы влачимъ и терпимъ Авдотьины жизни... Погорячимся, поерепенемся, а потомъ... потомъ смиряемся и живемъ, живемъ, живемъ...

ВАСИЛЬКОВА. Какъ же иначе, Абрамъ? Уѣхать вамъ надо куда-нибудь, но только подальше изъ нашего города... Есть же иная жизнь, иные люди... Идите къ нимъ... Тамъ не выгонять васъ, примутъ, поймутъ и скажутъ, навѣрное скажутъ, какъ жить... А здѣсь ни я и никто вамъ не можетъ ничего сказать... Мнѣ хочется, мнѣ такъ хочется, чтобъ вы были счастливы...

КАРТИНКИНЪ. Уѣхать... пробовалъ, уѣзжалъ, и какъ она... Дрянь, гадина я... комаръ...

ВАСИЛЬКОВА. Вы найдете тамъ другихъ людей, найдете то, чего не хватаетъ вамъ въ жизни... Поѣзжайте, возьмите у меня немного денегъ.

КАРТИНКИНЪ. Довольно... У меня была единственная радость — тѣшить себя мечтами и она... она сгорѣла... Никуда мнѣ не уѣхать...

(Томительная пауза)

ВАСИЛЬКОВА. Пойдемте гулять.

КАРТИНКИНЪ. Пойдемте.

(Идутъ къ дверямъ. Картинкинъ останавливается, какъ будто что-то вспоминая)

ВАСИЛЬКОВА. Что вы?

КАРТИНКИНЪ. (Посмотрѣвъ на дверь спальни) Ничего... Идемте.

(Уходитъ. Картинкинъ возвращается и пробѣгаетъ въ спальню. Скоро выходитъ оттуда съ револьверомъ, останавливается по срединѣ комнаты и ощупываетъ, осма-

триваетъ револьверъ, какъ будто бы видѣть эту вещь въ первый разъ въ жизни)

ВАСИЛЬКОВА. (Изъ проходной комнаты) Чего вы тамъ? Идите...

КАРТИНКИНЪ. Я портсигаръ ищу... Я портсигаръ забылъ...

(Забѣгаетъ за диванъ, садится на корточки и стрѣляется. Раздается почти беззвучный выстрѣлъ, тѣло его падаетъ и принимаетъ смѣшное положеніе. Смерть этого человѣка, какъ и вся жизнь его, производитъ какое-то комически-трогательное впечатлѣніе)

ВАСИЛЬКОВА. (Изъ проходной комнаты) Нашли?

Занавѣсъ.

С. Гусевъ-Оренбургскій.

СТРАНА ОТЦОВЪ.

*Посвящается
Алексию Максимовичу
Пышкову.*

Изгнанниками должны вы
быть изъ страны отцовъ ва-
шихъ. Страну дѣтей вашихъ
должны вы любить.

Ф. Ницше.

I.

Четверть вѣка назадъ Житницкій уѣздъ считался богатѣйшимъ уѣздомъ Старомірской губерніи. Уѣздный городъ Житница, окруженный кольцомъ хлѣбныхъ амбаровъ, гдѣ денно и ношно ссыпался и выгружался хлѣбъ, напоминалъ вѣчную ярмарку: гуль и гамъ нескончаемаго базара стоялъ надъ грязью улицъ, надъ сутолкой пристани, надъ взбаломученной гладью затона, кишѣвшаго барками, буксирами, расшивами и баржами. Грязь улицъ казалась золотою грязью, такъ густо было въ ней замѣшано зерно. Поэтому городъ напоминалъ обширный птичникъ: стаи голубей носились въ воздухѣ прожорливой саранчей, дѣля богатую добычу съ курами, воробьями и галками. Мужики изъ ближнихъ и дальнихъ деревень придавали городу оживленный видъ непрекращающагося праздника. Обыватель издалека узнавалъ мужиковъ по одеждѣ, по говору,—по упряжкѣ ихъ коней, по манерѣ держать себя.

— Вотъ завидовцы ѣдутъ! — говорилъ онъ, выходя къ воротамъ, увѣнчаннымъ пучкомъ сѣна:—ишь, какъ громко гуторять... Богатый народъ! Хуторокъ-то у нихъ махонькій, а пузатый!

И, снявъ шапку, выходилъ онъ на средину улицы и кланялся:

— Къ намъ милости просимъ! У насъ дворикъ просторный!

Утромъ, на зарѣ, слышавъ тягучую музыку телѣгъ и лепетъ бубенчиковъ, обыватель торопливо рас-

пахивалъ ворота постоялаго двора своего, или спѣшилиъ растворить окна и двери „бакалейной торговли“.

— Поёмщина ползаетъ! — бормоталъ онъ: — богомиловцы съ васильевцами!

Этихъ узнавалъ онъ по солидности ихъ вида и нѣ-которой угрюмости характера. Около воевъ своихъ они шли важно, на коней никогда не кричали, вышивали въ мѣру и терпѣть не могли зряшнихъ разговоровъ; когда же заставалъ ихъ въ городѣ праздникъ, чинно шли въ церковь, солидные и нарядные, становились поближе къ иконостасу, истово крестились и подавали рубли на поминаньяхъ. И если дьяконъ Кряковъ выносилъ просфору, то непременно кому-нибудь изъ васильевцевъ или богомиловцевъ. Обыватель любилъ съ ними совѣтоваться о дѣлахъ своихъ и говорилъ:

— Поёмщина намъ первые друзья!

Если же слышалась гармоника или балалайка и гдѣ-нибудь влажнымъ вечеромъ усердно выстукивали кованныя подошвы, обыватель ухмылялся:

— Гнѣздовцы гуляютъ... У нихъ нони урожай!

Съ ярко-цвѣтными покупками подъ мышкой, то горланя пѣсни, то наполняя воздухъ звуками спорнаго говора, хохота и брани, мужики, — эти желанные житницкіе гости, — походили на трудовую армію, мирно завоевавшую городъ, купившую его милліонами золотистыхъ зеренъ.

Редакторъ-издатель „Старомірскаго листка“, — газеты, издававшейся въ губернскомъ городѣ, — г. Веселуха-Миропольскій не безъ гордости отмѣчалъ въ передовицахъ, говоря о Житницкомъ уѣздѣ:

— Мы — кормимъ Россію!

И если подъ словомъ „мы“ г. Веселуха-Миропольскій разумѣлъ отчасти и себя, это было простительное заблужденіе. Народъ олюбецъ шестидесятыхъ годовъ, хотя

и въ рамкахъ статскаго совѣтника, онъ растворялся въ этомъ туманномъ, мистическомъ „мы“, гордился его успѣхами.

— Мы — народъ землепашцевъ, — говорилъ онъ на одномъ сѣздѣ, — мы — пахари! Мы вспашемъ ниву міра подъ посѣвъ „разумнаго, добраго, вѣчнаго“...

Г. Веселуха-Миропольскій ничего не вспахалъ.

Съ теченіемъ времени все неувѣреннѣе звучалъ его голосъ, пока однажды „Старомірскій листокъ“ не купилъ съ аукціона купецъ Чугунниковъ.

Съ этихъ поръ мѣстоименіе „мы“ мало-по-малу уходило со сцены, возвращаясь въ ту мглу, изъ которой не на долго вышло, благодаря общественному движенію. Его смѣнило мѣстоименіе „наше“. Оно звучало властно и самоувѣренно. „Наша политика“, „наше хозяйство“, „наша торговля“, „наша молодая промышленность“... „Мы“ и „наше“ вступили въ глухую, но неравную борьбу, это слабое „мы“, едва вставшее на ноги и уже отданное подъ государственно-полицейскую опеку, — это гордое „наше“, — чертополохомъ расцвѣтшее подъ сѣнью бюрократическаго режима. Въ глубинахъ и безднахъ жизни шла ихъ смертельная борьба, а на поверхности сложный процессъ ея выражался въ схваткѣ словъ, кричащихъ и плачущихъ, то робкихъ, то нахальныхъ, — иностранныхъ большею частью, потому что творилось то новое, для чего не было соответствующихъ въ языкѣ понятій, и творилось такъ быстро, что не было времени вырабатывать ихъ отъ корней собственнаго языка. Этими словами, пугающими и влекущими, озаглавливались корреспонденціи изъ Житницы. „Экспроприація земельной собственности“... „Деревенскій пролетаріатъ“... „Произволъ администраціи“... „Ростъ крупной земельной буржуазіи“...

Корреспонденціи, какъ бомбы, бились въ стѣны редакціи.

Онѣ предупреждали объ огромной опасности, о растущей грозной бѣдѣ. Точно изъ обширнаго молчаливаго подполья кричалъ голосъ корреспондента:

— Мы идемъ къ гибели!

Часть корреспонденцій поглощала редакціонная корзина, потому что онѣ касались знакомыхъ Чугунникова. Часть—поѣдалъ красный цензурный змій. Но и то, что оставалось, вызывало негодованіе. Какъ-то, на парадномъ обѣдѣ, цензоръ,—мѣстный вице-губернаторъ,—сѣденькій старичокъ съ свѣтящейся лысиной, строгій и съ круглыми глазами, сказалъ Чугунникову:

— Кто вамъ корреспондируетъ изъ Житницы? Его превосходительство недоволенъ! У насъ свобода печати, у насъ гласность, у насъ все можно обсуждать, но...

Онъ поднялъ брови, вращая глазами и сдѣлалъ гнѣвный жестъ рукой.

— Предупреждаю,—вольномудства не потерпимъ!

Чугунниковъ взмокъ и едва могъ пролепетать:

— Слушаю-съ... ваше... превосходительство!

Черезъ недѣлю въ редакціи получилось письмо отъ цензора:

„Въ послѣдней корреспонденціи изъ Житницы въ скрытомъ видѣ заключалась злостная выходка противъ г. начальника губерніи. Хотя корреспонденція мною не пропущена, требую немедленнаго сообщенія мнѣ фамиліи автора“...

По поводу этого письма происходило бурное совѣщаніе въ редакціи. Чугунниковъ, вѣчно боявшійся апоплектического удара, тѣмъ не менѣе вышелъ изъ себя до красноты лица и хрипоты голоса, заявилъ что-то о своихъ хозяйскихъ правахъ и позволилъ себѣ оскорбительную выходку по адресу редактора. Въ тотъ же день три сотрудника вышли изъ состава редакціи и заявили о томъ письмомъ въ газету.

Корреспонденціи сразу замолкли.

Только черезъ полгода редакція получила просьбу о высылкѣ гонорара—откуда-то изъ Сольвычегодска.

Но газета не осталась безъ корреспондентовъ. Писать сталъ обыватель, и писалъ онъ обо всемъ:—„о немощныхъ улицахъ“, о „бродячихъ собакахъ“, о „массѣ невѣдомо откуда нахлынувшего пришлага люда, ищущаго заработковъ“, о „растущемъ числѣ нищихъ и бродягъ и, параллельно,—о „бездѣтельности полиціи“, о „прогрессѣ преступленій противъ собственности“, о „небываломъ ростѣ проституціи“, о „благодѣтельномъ вліяніи на населеніе попечительскихъ чайныхъ“, о торжественномъ молебствіи съ присутствіемъ уѣзднаго начальства, при открытіи завода бр. Кандауровыхъ, по совершеніи котораго о. Іона Монастырскій произнесъ прочувствованное слово о правахъ хозяевъ и обязанностяхъ слугъ...

Городъ Житница измѣнился за послѣднія двадцать пять лѣтъ.

Въ немъ гордо выросъ элеваторъ, сооруженный по системѣ инженеръ-механика Березина. Отъ главной линіи къ городу протянулась вѣтка. Онъ украсился постройками, мостовыми, электричествомъ и новой колокольней при женскомъ монастырѣ по образцу Кіевопечерской. Позади амбаровъ выросли слободки и пригороды, правда темные, грязные, уже при возникновеніи своемъ имѣвшіе выморочный и опустошенный видъ, но увеличившіе населеніе города съ пятнадцати до тридцати тысячъ. Попрежнему денно и ночью скрипятъ въ Житницѣ хлѣбные возы, кричатъ буксиры, конкурируя съ басовымъ гудкомъ завода братьевъ Кандауровыхъ. Но уже нѣтъ прежняго количества голубей и мужики не придаютъ городу видъ безконечнаго праздника. У возовъ идутъ истощенные, грязные люди

въ рваныхъ армякахъ, унылые и голодные. И обыватель ужъ забылъ свою къ нимъ прежнюю дружбу. Стоя у воротъ съ надвинутымъ на носъ картузомъ и думая о плохихъ временахъ, онъ провожаетъ ихъ угрюмымъ взглядомъ, нерѣдко крича негодующе:

— Куды ты, с-сволочь!!

А они все тянутся, бесконечно тянутся около разбитыхъ на колеса телѣжонокъ своихъ, гнѣвно и раздраженно кричатъ на тощихъ клячъ, смиренно стаскиваютъ съ головъ картузы и лохматые шапки при видѣ почтенныхъ людей въ синихъ кафтанахъ, въ сапогахъ бутылками.

— Ваше степенство... Куды хлѣбушко сыпать?

Хлѣбъ „мужицкій“ смѣнился хлѣбомъ „купецкимъ“ и „арендательскимъ“. Городъ, какъ въ зеркалѣ, отразилъ хозяйственную эволюцію уѣзда.

Новые завоеватели покорили городъ.

Житницкій обыватель, непостоянный въ своихъ симпатіяхъ, съ чувствомъ самоудовлетворенной гордости показываетъ заѣзжему человѣку новыя достопримѣчательности города: захватившіе цѣлые кварталы неуклюжіе и угрюмые, но вычурные дома,—созданіе тупой и тяжелой архитектурской фантазіи, состоящей на купеческой службѣ.

— А наша-то большая деревенька совсѣмъ городомъ стала!—говоритъ онъ, сладостно хихикая:—ужъ поговариваютъ объ образованіи Житницкой губерніи... губерніе будемъ-съ! Извольте-ка полюбопытствовать, какія сооруженія повсюду произраśli-съ! Воистину, можно сказать... до-ма-а!

Но это даже не дома!

Это цитадели руссійскаго капитализма, какъ паукъ жаднаго, но лишеннаго широты и фантазіи: они напоминаютъ крѣпости, въ которыхъ твердо засѣла ново-

явленная аристократія, полчища новыхъ аргонавтовъ, смѣнившихъ прежнихъ рыцарей узаконеннаго разбоя и жадно цѣпкими руками рвущихъ на части все то же старое золотое руно.

Вотъ домъ купца Шаповалова. Тридцать оконъ по переднему фасаду,—въ четыре этажа, оконъ то большихъ, то маленькихъ, то круглыхъ. Внизу рядъ складовъ съ желѣзными дверями, гдѣ хранятся десятки тысячъ пудовъ хлѣба. Крестьянскія телѣжки запружаютъ улицу передъ этими дверями; вѣтеръ крутитъ вокругъ дома сѣно и солому,—кормъ тощихъ клячъ.

Вотъ домъ купца Стрижикозина.

Онъ еще только строится, но огромные лѣса уже заставляютъ обывателя говорить почтительно, съ му-
чительною завистью:

— Стрижикозинъ-то! Давно ли спичками торговалъ... Семиэтажное воздвигаетъ!

Вотъ еще „достопримѣчательность“—широкозадовскій домъ: нелѣпая смѣсь мавританскаго и русскаго стилей. Колонки, стрѣльчатые окна, рѣзные карнизы, башенки по угламъ, поддерживающіе балконъ центавры, похожіе на утопленниковъ, и въ то же время во всей наружности дома что-то распухшее, какъ отъ водянки, что-то придавленное, какъ тяжелая, во мракѣ бродящая мысль.

И что ни улица—новый такой домъ!

Владѣльцевъ ихъ знаетъ наперечетъ каждый босоногій мальчишка; исторіи обогащенія этихъ „завоевателей земли“ составляютъ устную лѣтопись не только города, но всего уѣзда, всей губерніи.

Русскія біографіи складываются подъ особымъ угломъ.

Шаповаловъ началъ свою карьеру въ житницкой ночлежкѣ. Это было давно. Никто не знаетъ, откуда появился онъ на житницкомъ горизонтѣ. Никто имъ

тогда не интересовался. И, быть можетъ, въ предчувствіи его, грядущаго изъ тьмы исторіи съ горящими глазами, обыватель спускалъ на ночь съ цѣпи волкодавовъ на защиту крестьянскихъ воевъ. Только впослѣдствіи, когда Шаповаловъ завелъ свору собственныхъ собакъ, яростно лающихъ у его амбаровъ,—вспоминали смутную исторію приказчика, прокутившаго „по молодому дѣлу“ хозяйскія деньги. Безъ дѣла, безъ средствъ, безъ знакомства, въ чужомъ городѣ, побитый, потрепанный, въ брюкахъ, украшенныхъ бахромой, въ развалившихся ботинкахъ,—служилъ онъ даже одно время при полиціи, исполняя должность часового на углахъ улицъ, гдѣ съ неудачнымъ видомъ фланера разсматривалъ проходящихъ, а порою принималъ на себя обязанности дипломата по внутренней политикѣ. Но эта служба ему претила. По натурѣ онъ былъ дѣлецъ. Мало-по-малу,—маклачествомъ, мелкой торговлей, потомъ биржевымъ маклерствомъ,—онъ успѣлъ сколотить небольшія деньги. Такъ жилъ онъ до голоднаго года. Въ голодный годъ,—вмѣстѣ со стаей другихъ хищниковъ, какъ коршунъ, ринулся въ уѣздъ. Тамъ у распухшей отъ голода деревни скупилъ землю по одному мѣшку муки за десятину. Какъ на походномъ бивуакѣ въ завоеванной мѣстности, онъ жилъ все лѣто въ холщевой палаткѣ, зорко сторожа добычу, пока вся земля не отутилась въ его рукахъ. На другое лѣто онъ переѣхалъ въ другую часть уѣзда, но уже поселился въ старой господской дачѣ. Теперь у него пятнадцать тысячъ собственной и арендованной земли, свои хутора, „свои“ мужики и „цитадель“ въ городѣ.

Стрижикозинъ—вчерашній крестьянинъ.

Онъ еще сохранилъ мужичій типъ свой и деревенское добродушіе, хотя дѣти его ходятъ уже въ ко-

телкахъ и яркихъ галстукахъ. Онъ еще любитъ вспоминать тѣ годы, когда онъ, босой, ходилъ въ школу, гдѣ попъ поучалъ его терпѣнію, смиренію и упованію на помощь Божію. Эти уроки дали своеобразные плоды, какъ все фарисейское.

— И съ помощью Божіею все я претерпѣлъ-съ!—мягко смѣялся Стрижикозинъ воспоминанію, играя массивной золотой цѣпью на жилетѣ:—бывало о. Іона... Уповай, говоритъ, токмо на единого Творца въ дѣлахъ своихъ, а во всемъ прочемъ подчиняйся начальству, Богомъ надъ тобою поставленному... Во вѣки не постыдишься. И подчинялся! И уповалъ-съ! И если есть у меня землишки малая толика, никогда не забываю, кѣмъ я не по заслугамъ награжденъ-съ...

Онъ поднималъ къ носу бѣлый палецъ, униженный перстнями, говоря съ выраженіемъ благочестиваго смиренія:

— Богомъ-съ!

И вчерашній босоногій мальчишка, волею сильной натуры очутившійся въ городѣ,—начавъ съ торговли спичками, Стрижикозинъ дѣлилъ съ Шаповаловымъ уѣздъ, разрывая въ клочки богатую добычу. Точно пятна проказы пестрѣютъ ихъ владѣнія по картѣ уѣзда.

А за ними тянутся еще сотни.

Эти черныя сотни вышли на широкую арену безсознательнаго творчества исторіи и общими силами взяли за ея гигантское колесо, не подозрѣвая, что колесо это вертится только въ одну сторону: къ ихъ фатальной гибели. Экономическая драма, въ которой они играли свою жестоку роль, разрасталась въ драму социальную, въ великую драму пробуждающуюся среди крови и слезъ сознанія вѣками угнетаемой личности.

Но среди этихъ новоявленныхъ лэндлордовъ и королей земли первое мѣсто въ исторіи Житницкаго уѣзда принадлежитъ Широкозадову. Съ тяжелой поступью, съ мутнымъ взглядомъ, угрожающимъ призракомъ всталъ онъ надъ уѣздомъ, далеко бросая зловѣщую тѣнь.

Сынъ разорившагося старомірскаго купца, Порфирій Власычъ Широкозадовъ выросъ и воспитался въ суровой обстановкѣ деспотизма семьи, въ развращающей сферѣ традиционно-рабскаго міросозерцанія среды, въ удушливомъ, спертomъ воздухѣ болота, кошмарный, полный образовъ бреда, сонъ котораго такъ долго, такъ успѣшно охранялся. Унаслѣдовавъ отъ отца широкую, сильную натуру, онъ прошелъ школу толстовскаго режима въ гимназіи, гдѣ до четвертаго класса въ немъ сумѣли убить всѣ добрые порывы ума и сердца; деспотизмъ отца заставилъ его уединиться въ себя; базаръ далъ содержаніе его уму и направленіе его волѣ. Онъ докончилъ воспитаніе на степныхъ ярмаркахъ, гдѣ хищническая торговля съ киргизами дала ему богатую практику обманныхъ пріемовъ стяжанія и намѣтила программу жизни. Женившись, послѣ ряда безпутныхъ лѣтъ, по приказу отца, разлучившаго его въ свое время съ любимой дѣвушкой,—на большихъ капиталахъ,—онъ, послѣ бурной ссоры съ отцомъ, оставилъ его и началъ самостоятельное дѣло. Поселившись въ Житницѣ съ молодою женой и дочерью Александрой, Широкозадовъ мутнымъ взглядомъ оглядѣлъ міръ и тяжелымъ, грузно хлюпающимъ шагомъ направился на его завоеваніе.

Онъ нутромъ понималъ тактику земельного хищенія,—умѣлъ использовать каждый недочетъ мужичьяго хозяйства, умѣлъ выбрать моментъ, чтобы придти и закабалить.

Наступали у мужиковъ сроки платежей въ земельный банкъ,—онъ умѣлъ дать деньги на такихъ условіяхъ, что земли въ концѣ концовъ переходили къ нему. Была нехватка у мужиковъ въ посѣвномъ хлѣбѣ,—онъ гостепріимно раскрывалъ амбары, урожай же переходилъ къ нему. А неурожай отдавалъ мужиковъ въ его полную власть и, разоренные, часто они, совсѣмъ безъ борьбы, уступали ему земли, чтобы потомъ голоднымъ потокомъ наполнить житниціе пригороды и слободки.

Позади него, гдѣ онъ прошелъ, слышались стоны и проклятія закабаленныхъ, а онъ шелъ дальше и дальше по уѣзду съ своимъ загадочно-тупымъ мутнымъ взглядомъ, тая планы захвата, пугавшіе даже крупныхъ землевладѣльцевъ своей тонко-продуманной неожиданностью. Точно сытый, но жадный коршунъ медленно кружилъ онъ по уѣзду, и участки за участкомъ оставались въ его рукахъ. При этомъ онъ не останавливался даже передъ мошенничествомъ, если оно было легально обставлено, дѣлая этимъ только шагъ впередъ по скользкой, развращающей почвѣ изжившаго закона. Однимъ ударомъ онъ раздавилъ Завидовку. Арендовавъ у завидовскихъ крестьянъ землю на двѣнадцать лѣтъ, по контракту съ огромной неустойкой, онъ убѣдилъ ихъ продать ему землю навѣчно. Но купчая крѣпость составлена была на чужое имя. И Широкозадовъ взыскалъ съ крестьянъ неустойку, совершенно ихъ разорившую. Потомъ, присоединивъ къ землѣ поле сосѣднихъ хуторянъ, сжалъ Завидовку желѣзнымъ кольцомъ. И теперь прежняя милая Завидовка официально превращена въ Широкозадово, со станціей того же имени, вѣчно заваленной широкозадовскимъ хлѣбомъ.

И мужики стали—мужики широкозадовскіе.

Широкозадовца сразу узнаешь: онъ оборванъ, грязенъ, лохматъ, приниженъ или буненъ, смотря по тому—

трезвъ или пьянъ,—а пьянъ онъ какъ только представится случай. Если вы увидите на станціи сцену: пьяный мужикъ въ разорванной рубахѣ безобразно ругаетъ кого-то, потрясая одною рукою въ воздухъ по направленію къ вагонамъ, какъ трагическій актеръ, а другою тщетно придерживая полуспавшіе штаны, наивно открывающіе наготу Адама, не спрашивайте браваго жандарма, кого онъ „препроводилъ“ съ перрона... Это широкозадовецъ! Не спрашивайте и самого широкозадовца, какъ изъ крестьянина онъ сталъ пропойцей, бродягой, травимымъ собаками воромъ, котораго веселые лавочники колотятъ на потѣху базара? Тусклымъ взглядомъ посмотреть онъ на васъ, не пойметъ васъ... Хорошо, если не обругаетъ! Никто такъ не умѣетъ ругаться, какъ широкозадовецъ. Онъ ругаетъ на особицу мать, на особицу отца, и тетокъ, и дядей, и братьевъ, и сестеръ... Онъ умѣетъ только проклинать! И проклинаетъ все: жену, дѣтей, безплодную землю, бездождное небо, утро и вечеръ, и ночь и дены! Онъ уже начинаетъ налитымъ кровью глазомъ угрожающе смотрѣть въ самое небо и, быть можетъ, завтра проклянетъ самого Бога. Вѣдь услали же одного широкозадовца въ Сибирь за то, что онъ рубилъ иконы, изступленно крича:

— Ступайте мою скотину кормить!

Собственныя дѣти покидаютъ широкозадовца, оставляя его на свободѣ бушевать среди чужихъ полей, валяться пьянымъ въ чужихъ канавахъ, умирать истощеннымъ на чужой межѣ: они уже прониклись уваженіемъ къ побѣдителю. Сыновья поступаютъ въ приказчики къ Широкозадову, грозно покрикиваютъ на мужиковъ, обмѣриваютъ и обсчитываютъ ихъ. А дочери... мѣняютъ красный деревенскій платокъ на городскую шляпку, румянецъ полей, залитыхъ солнцемъ, на парфю-

мерныя румяна, которыя пьянымъ и властнымъ поцѣлуемъ разслюнявить Широкозадовъ.

Въ описываемый моментъ владѣнія Широкозадова уже мертвою петлей сдавили и Поёмщину.

Богатые когда-то богомиловцы сдались. Только васьильевцы были на сторожѣ. Васильевцы мѣшали Широкозадову. Владѣнія ихъ прорѣзывала Поёма. По ту сторону Поёмы у нихъ была обширная полоса земли, сжатая владѣніями богомиловцевъ, давно уже перешедшими въ аренду къ Широкозадову. Полоса эта клиномъ врѣзывалась въ земли Широкозадова, была одною изъ лучшихъ земель по округѣ, кромѣ того, она прилегала къ берегу Поёмы, гдѣ было очень удобно поставить паровую мельницу.

Долго и упорно ходилъ Широкозадовъ около этой земли.

Но упорны были и васьильевцы.

— У насъ эта полоса, какъ приданое у невѣсты!— говорили они:— лучшая земля... Какъ можно сдать ее! развѣ мы себѣ враги? Что у насъ останется?!

Не разъ съ гикомъ налеталъ на село становой, требуя не въ обычное время недоимки. Не разъ староста убѣждалъ сходя отдать землю, чтобы [покрыть общественные долги, а писарь читалъ сходу уже составленный приговоръ съ соблазнительными условіями, который надо было только подписать.

— Смерть свою подписать?— говорили васьильевцы:— у Широкозадова назадъ не возьмешь!

На сходѣ происходили бурныя сцены.

Временами, послѣ долгихъ споровъ, сторонники Широкозадова начинали брать верхъ, рисуя соблазнительныя перспективы. Но это было торжество временное, пока не появлялся Назаровъ. Молодой, красивый мужикъ, котораго учитель звалъ „Садко-купецъ“, а

становой „висьльникъ“, Назаровъ былъ человекъ страсти и пламеннаго краснорѣчія, одинъ изъ тѣхъ „идейныхъ“ крестьянъ и народныхъ ораторовъ, которые будутъ увлекать массы съ трибунъ будущаго. Онъ кончилъ земскую школу, глубоко любилъ книгу, хорошую, умную бесѣду, много разъ подвергался штрафамъ и арестамъ со стороны земскаго, отсидѣлъ за устройство на дому чтенія для крестьянъ... Являясь на сходъ, онъ разбивалъ всѣ хитросплетенія широкозадовскихъ союзниковъ.

Широкозадовъ рѣшился на отчаянное средство.

При посредствѣ писаря, старосты и ихъ единомышленниковъ, купленныхъ милостями Широкозадова, была составлена бумага объ уступкѣ Широкозадову зарѣчной земли на 12 лѣтъ, а такъ какъ въ этотъ годъ бродившая по селу эпидемія унесла много мужиковъ,—всѣ умершіе были внесены въ приговоръ,—ихъ подписи крестами красовались на сѣромъ листѣ и были скрѣплены удостовѣреніями грамотныхъ, подписью писаря и печатью старосты.

Васильевцы ахнули.

Поднялось судебное дѣло, но процессъ былъ проигранъ: вся формальная правда оказалась на сторонѣ Широкозадова.

Тогда въ обществѣ поднялось броженіе, безпримѣрное въ исторіи Васильевки. Васильевцы ходили какъ пьяные отъ гнѣвнаго возбужденія при видѣ такого наглаго торжества неправды! Передъ ними рушились самыя устои жизни, все, во что они привыкли вѣрить и отъ чего чаяли защиты. Сначала растерянные, они уже стали говорить:

— Намъ не на кого надѣяться! Надо самимъ за себя стоять!

Это были слова Назарова.

Ихъ стали всѣ повторять, даже женщины.

Село раздѣлилось на партіи: партія старосты и партія Назарова. Къ первой примыкали „тузы“. Ко второй—все бѣдное, все молодое, все возмущенное неправдой. Здѣсь и тамъ у мужиковъ собирались сходки, на которыхъ часто ораторствовали женщины. И въ то время, какъ мужики еще искали легальныхъ выходовъ, женщины предлагали радикальныя мѣры. Передъ окнами богачей молодежь проходила съ пѣснями и не разъ въ стекла летѣлъ камень при крикахъ:

— Предатели!!

Всю зиму продолжалось возмущеніе, а къ веснѣ водворилось упорное, но зловѣщее молчанье.

Мужики дали Широкозадову вспахать землю и засеять.

Но когда пришла пора уборки, шумной и многочисленной толпой двинулись они подъ предводительствомъ Назарова, съ серпами и косами, на спорную землю и въ одну ночь сжали, выкосили и вывезли хлѣбъ. Налетѣло начальство, началось разслѣдованіе, пошли описи, обыски, аресты, возбудилось „дѣло о самовольной потравѣ“. Мужики молчали, никого не выдавали. Но ихъ возбужденіе выразилось въ погромѣ. За зиму сожгли избу у старосты, попалили скирды у двухъ богатѣевъ, которыхъ молва всего болѣе обвиняла въ предательствѣ. Становой все чаще и чаще шнырялъ по стану, собирая всякіе слухи.

Нарочито по его просьбѣ пріѣзжалъ въ Васильевку крестовскій священникъ, о. Матвѣй, и собравши сходъ у часовни, говорилъ:

— Всяка душа властямъ предержащимъ да повируется! Братіе! Почто возстаєте, яко Сатана на Господа, противу благопопечительнаго начальства своего!

Дальше привлекался къ дѣлу злополучный, всю жизнь пересылавшійся подѣ конвоемъ солдатъ изъ тюрьмы въ тюрьму апостоль-идеологъ, и шли тексты о происхожденіи властей.

Кто-то засмѣялся.

Прочіе упорно молчали.

Опять мужики дали Широкозадову вспахать и засѣять землю. Опять передъ уборкой шумной толпой, съ пѣснями, привалили на спорную землю.

Но тутъ они нашли солдатъ.

Молчаливо и сумрачно стояли солдаты подѣ ружьемъ.

Передъ ними остановились крестьяне.

Налетѣлъ изъ вечерняго сумрака становой, стоя въ тарантасѣ.

— Зачѣмъ вы пришли сюда? Уходите съ миромъ! Добромъ!

Выступилъ Назаровъ.

— Это наша земля. И мы пришли убирать свой хлѣбъ!

— Это широкозадовская земля!—закричалъ становой.

— Наша земля!—тоже крикнулъ Назаровъ:—у насъ обманомъ ее взяли! Не отдадимъ ея!

Тогда всѣ возбужденно закричали:

— Наша земля! Широкозадовъ обокралъ насъ. Это нашъ хлѣбъ! Уходите отсюда сами! Или мы прогонимъ васъ!

— Молчать! — налеталъ становой: — Эй! десятскіе! Взять Назарова! Я тебѣ покажу, мерзавецъ... бунтовщикъ!

Вокругъ Назарова сгрудились.

Мужики до хрипоты кричали что то возбужденное, бабы тянули къ становому крѣпко сжатые кулаки, обзывали его „широкозадовской собакой“. Старуха Пова-

лихина, раскольница, бросила въ него серпомъ и поранила руку.

Становой поднялъ окровавленную руку.

— Прикажите стрѣлять!—кричалъ онъ, обращаясь къ офицеру:—разгоните эту сволочь!

Раздалась команда, солдаты двинулись со штыками на перевѣсъ.

— Солдаты!—кричалъ Назаровъ:—вы такіе же мужики, какъ мы! Вы вернетесь завтра на свои нищія пашни, а на мѣсто ваше встанемъ мы подъ ружье и придемъ стрѣлять въ васъ, когда вы встанете за правое дѣло! Солдаты! Братья! Подумайте, кому служите, на кого идете!

— Молчать, негодай, молчать! Острожникъ!—хрипло кричалъ становой.

Онъ махалъ офицеру руками:

— Стрѣляйте... По инструкціи! Бунтовщики! Я отвѣчаю!

Молодой офицеръ взволнованно говорилъ:

— Господа! Господа! Уходите, ради Бога! Мы стрѣлять будемъ! Мы должны стрѣлять.

— Стрѣляйте!—кричалъ Назаровъ:—стрѣляйте, коли вы свои души богачамъ продали! Стрѣляйте! Мы стоимъ за правое дѣло! Умремъ, а съ мѣста не двинемся!

— Ну, ну! Стрѣляйте!—кричали женщины, приближаясь впередъ.

При свѣтѣ фонарей блестяли серпы /и косы; навстрѣчу имъ неумолимо надвигались штыки.

— Вася! Внучекъ!—закричалъ вдругъ старикъ Повалихинъ:—и ты противъ насъ!

Толпа въ ужасѣ зашумѣла.

— Василий! Повалихинъ! На насъ идетъ!

Молодой солдатъ бросилъ ружье, оставшись на мѣстѣ, нарушивъ строй.

Строй сомкнулся.

Штыки почти коснулись толпы, неподвижной и мрачной...

Молодой офицеръ взволнованно закричалъ:

— Стой!!

Солдаты мгновенно встали.

— Командуйте стрѣлять!—кричалъ становой.

— Не могу же я разстрѣливать безоружныхъ!—

нервно сказалъ офицеръ и скомандовалъ: — ружья составь! Взять всѣхъ! Связать всѣхъ!

Солдаты бросились на крестьянъ. Въ нихъ полетѣли косы, серпы, котелки, мѣшки съ припасами. Мужичьи и бабьи кулаки отчаянно работали.

Къ утру восемь человѣкъ, и въ ихъ числѣ Назаровъ, сидѣли въ темной каталажкѣ при правленіи въ селѣ Крестахъ.

II.

На полпути между Житницей и губернскимъ городомъ Старомірскомъ разбросалось въ лощинѣ село Гнѣздовка. Священникомъ тамъ былъ о. Иванъ Гонибѣсовъ.

Однажды утромъ вскорѣ послѣ происшествія въ Васильевкѣ, на широкомъ поповскомъ дворѣ стоялъ возъ сѣна, и о. Иванъ самолично металъ его на повѣть. Стоя на возу, онъ покрикивалъ работнику:

— Не зѣвай!

Голосъ его былъ трескучъ и раскатистъ.

Въ каждомъ движеніи его сквозила сила Голиааа. Поднявъ вилы, увѣренно вопзаль онъ ихъ въ сѣно и, напрягая мускулы, слегка багровѣя, легко отдѣлялъ огромный пластъ. Поднимая пластъ надъ головою, какъ гигантскій зонть, онъ кричалъ, веселясь отъ чувства собственной мощи:

— О-го-го-о!! Ну-ко, Парамонушко!

Пласть обрушивался на повѣтъ и съ шелестомъ разсыпался. Вѣтеръ раздувалъ свѣтлую пушистую бороду батюшки, играя перекидывать ее съ плеча на плечо и заворачивалъ полы подрясника какъ женскую юбку, показывая стоявшему внизу у воза мужику полинялые клѣтчатые батюшкины шаровары, отчего мужикъ слегка конфузился. Мужикъ былъ старый, сѣдой, слегка выпившій, въ сѣромъ армякѣ, теплой шапкѣ, сдвинутой отъ жары на затылокъ и тяжелыхъ сапогахъ, густо смазанныхъ. Подъ мышкой съ одной стороны онъ держалъ громадный калачъ въ ситцевомъ платкѣ, съ другой—оранжевую курицу со связанными лапами, хвостомъ впередъ. Изъ-за пазухи глядѣло горлышко бутылки.

— Оно, теперича сказать,—хрипло говорилъ мужикъ,—къ примѣру, ежели... вся наша мужичья безтолковщина отъ бариновъ пошла.

Работая вилами, о. Иванъ спрашивалъ:

— Какихъ бариновъ?

— А энтихъ самыхъ, которые ежели... барины! Мужичье дѣло, батюшка, святое. Мужикъ тебѣ изъ чего хочешь,—изъ навоза, изъ грязи, изъ камня, изъ песку—деньги сдѣлаетъ. Посѣялъ ленку,—штаны съ рубашкой. Побросалъ пшенички въ землю,—кормись весь годъ. Взялъ топоръ, поплевалъ на руки, ухнулъ—рупъ! А тутъ тебѣ приходитъ человекъ въ кургузкѣ, говорить:—„Мы—барины. Подавай, мужикъ, на казенную надобность полтину“. Сегодня полтину, завтра полтину. Послѣзавтра—рупъ! Да вѣдь такъ, батюшка, ни навозу, ни грязи не хватитъ! Ну, и везетъ мужикъ штаны-то съ рубашкой на базаръ, а самъ въ дерюгѣ ходитъ! И пшеничку на базаръ, и ежели топоромъ постукалъ,—на базаръ! А барины говорятъ:—„Мало! Подавай пшо!“ Подавай да подавай... ну, мужикъ-то и растерялся, не

знать, въ котору ему сторону кинуться, вездѣ барины сторожать. Земскій штрафы теребитъ, становой—казенное, старшина—недоимки. Съ крикомъ, съ гикомъ, скачутъ на тебя. Аль мужикъ-то кисеть волшебный съ неразмѣннымъ рублемъ?! Мужикъ - то теперешній—одно званіе мужикъ, а нутро у него выклевано, потому—земли съ каждымъ годомъ менѣ, всю онъ ее либо въ аренду роздалъ, либо продалъ, а рублей тащутъ все болѣ! Теперича и земскіе,—и купцы и арендатели,—всѣ надъ мужикомъ—барины! И становой, и урядникъ, и всякій проѣзжающій, ежели онъ въ кукардѣ,—всякъ можетъ мужику слово сказать, и говорить все больше бранное... А мужику про свои нужды и поговорить негдѣ, потому и на сходѣ нонѣ... тоже все барины верховодятъ! Вся бѣда отъ нихъ! Голый человѣкъ мужикъ сталъ и ничего ему больше не остается, какъ бунтовать... Слыхалъ, мотри, батюшка, какъ Широкозадовъ васильевцевъ съ мертвецами обошолъ?

— Слыхалъ, Василій Петровичъ!

— Дошлый!.. А теперь васильевцевъ же и судить будутъ! Вотъ она, господская-то, правда на свѣтѣ какая!..

Василій Петровичъ задумался, вздыхая и слегка покачиваясь, отчего у курицы раздувался хвостъ.

— А слыхалъ, батюшка, новость?—вдругъ вспомнилъ онъ:—у крестовскаго батюшки матушка сбѣжала.

— Что-о?!

О. Иванъ такъ неловко бросилъ пласть, что тотъ разсыпался по двору, уносимый вѣтромъ въ разныя стороны. Опершись на вилы, онъ широко-открытыми глазами смотрѣлъ на мужика, и сквозь загаръ и румянецъ его лица замѣтно проступила блѣдность.

— Чего ты врешь тамъ!—строго сказалъ онъ.

— Зачѣмъ враты!—отвѣчалъ мужикъ, слегка обидѣвшись:—сынъ Миколой подводу гонялъ въ Богомиловку,—тамъ всѣ говорятъ! Прошлую ночь на ямскихъ проскакала съ псаломщикомъ... У Кирюхи лошадей смѣняла. Все, говоритъ Кирюха-то, па улицу скокъ-скокъ... головой вертеть, не гонятся ли.

— Путаетъ твой Кирюха что-нибудь!

— Кирюха не напутать!—убѣжденно сказалъ мужикъ:—Кирюха—цыганъ! Сквозъ стѣну видить.

О. Иванъ отбросилъ вилы.

Лицо его выражало безпокойство и волненіе.

Приказавъ Парамону добросать сѣно, онъ соскочилъ съ воза.

— Пойдемъ-ка въ комнаты, Василій Петровичъ, да Расскажи толкомъ. Что за чушь! Не вѣрится! Хорошо вѣдь я знаю отца-то Матвѣя! И Павлинъку, матушку-то его знаю! Съ дѣтства знаю! Друзья! Такая славная, такая милая женщина... Повѣрить не могу! Вздоръ, вздоръ.

О. Иванъ провелъ мужика по широкому двору, заставленному телѣгами и рыдванками, среди сохъ, еще покрытыхъ невысохшей землей, и боронъ зубьями кверху.

— Матушка!—закричалъ онъ, входя въ комнату:—слышь-ка, каки новости!

Попадья вышла вся въ мукѣ, съ засученными рукавами, сухая, высокая, съ озабоченнымъ лицомъ. На ней было простое темное платье, безъ намека на украшеніе, по-монастырски повязанный бѣлый платокъ, да и вся она, серьезная, строгая, когда-то красивая, но съ сухимъ, холоднымъ выраженіемъ глазъ, напоминала раньше срока постарѣвшую послушницу.

— Какія новости?—коротко и сухо спросила она.

И, выслушавъ, холодно сказала:

— Давно этого ждать надо было. Что тутъ удивительнаго? Отъ такой вертупки чего и ждать больше? По виду-то распутная!

Она подошла къ зеркалу, поправляя платокъ и смотря на себя, какъ на чужую.

— Какъ тебѣ не стыдно, Лина!—вскипѣлъ отецъ Иванъ. — Такъ порочить женщину! Такую хорошую женщину, какъ Павлинъка! Знакомую!

— Твоя знакомая-то... И цѣлуйся съ ней!

— Безсовѣстная ты! Я тебѣ вотъ что скажу: со всею своей божественностью ты мизинца ея не стоишь!

Онъ взволнованно шагаль по столовой.

— Не смѣй, не смѣй ее такъ называть! Я тебѣ это запрещаю разъ навсегда! Все это вадорь, что говорятъ, ничему я не вѣрю! Сплетни, выдумки! Недораазумѣніе одно! И тебѣ стыдно было говорить такъ!

— Не прыгай!—холодно сказала попадья:—и руками не махай! Пугать меня нечего... не изъ трусливыхъ. Глазокъ голубыхъ закатывать не умѣю, какъ эта твоя... Па-а-влинъка! Да и не хочу! Ужъ я давно, голубчикъ мой, насквозь тебя вижу.

— Въ чемъ?—удивленно обернулся къ ней о. Иванъ, неувѣренно смотря на нее.

Она смотрѣла на него съ злою насмѣшкою.

— И не смѣй сравнивать меня ни съ кѣмъ!—внезапно въ свою очередь взволновалась она:— Не смѣй сравнивать... слышишь?! Кабы не Лизынька, ушла бы я въ монастырь отъ тебя... схоронилась за бѣлыя стѣны!

— Подъ малиновые звоны!—насмѣшливо сказалъ о. Иванъ, отвернувшись и барабана по стекламъ пальцами.—Ступай, сдѣлай милость... радъ буду! Я бы и самъ давно ушелъ. Думаешь, сласть мнѣ въ попахъ-то. Да некуда намъ идти съ тобой, дорогая! Да и ты изъ одной злобы не уйдешь никуда: мучить да

грызть некого будетъ! Отъ ревности, отъ злости ты свѣта не видишь! Моя жизнь не была бы такимъ поганымъ болотомъ, кабы была у тебя ко мнѣ хоть капля любви.

— Любви!!

Лицо попадья искажилось словно острою болью, и точно черную и мрачную волну она вылила изъ потемнѣвшихъ глазъ на о. Ивана.

Василій Петровичъ, терпѣливо вздыхавшій у порога и дѣлавшій видъ, что изучаетъ трещины на потолкѣ, такъ жадно, однако же, заслушался семейной сцены, что совсѣмъ забылъ про курицу и та, выйдя изъ состоянія долговременной апатіи, внезапно рванулась, забила крыльями, крича, полетѣла и растянулась у ногъ матушки, безсильно вытянувъ шею. Василій Петровичъ, желая поймать курицу, выронилъ и калачъ, который шумя покатился и, сдѣлавъ полукругъ, легъ рядомъ съ курицей.

Батюшка засмѣялся и сразу отошелъ.

— Ишь... дары-то! Летятъ и катятся! — говорилъ онъ: — угости-ка вотъ лучше, мать, насъ чаемъ съ Василіемъ Петровичемъ. Сынка женить, гостинцевъ принесть.

Попадья молча развернула калачъ, спрятала платокъ въ комодъ, а курицу отнесла въ кухню. Вернувшись, стала разливать чай и, подвигая гостю стаканъ, сказала:

— Что же это ты, Василій Петровичъ, курицу принесть?

— А какъ же! — не понялъ Василій Петровичъ: — развѣ не полагается?

— Не разорился бы и отъ гуся.

— Гуся! Ишь ты... Господи! Гуся! Какое дѣло... а! Да Господи... Матушка! Ништо мы...

Онъ смущенно и сконфуженно крутилъ густо на-масленной головой.

— Предоставимъ и гуся!

— Гусь—дѣло хорошее!—говорилъ въ октаву отецъ Иванъ:—особливо... жирный! Птица важная. Есть въ немъ что-то такое...

Онъ щелкнулъ пальцами.

— Солидное, понимаешь ты... основательное! Именно, какъ это сказать... понимаешь ты... гусиное! Отъ него и запахъ не то, что отъ другой птицы... въ носъ бьетъ!

Водворилось молчаніе.

Гдѣ-то мычала корова. Гдѣ-то лошадь звонко ржала и стучала скованными ногами. Какое-то неожиданное событіе всполошило курятникъ. Пролетѣла мимо оконъ бѣлая стая гусей, шумя крыльями, и спустилась въ затхлую зеленую лужу, потревоживъ свинью. Со всѣхъ сторонъ лились въ окна звуки деревенскаго дня, вступая въ родственную ассоціацію съ мыслями, какъ ча-стоколь закрывавшими темную и бездонную глубину души.

— А у насъ вотъ,—сказала попадья,—овечка что-то захромала, Василій Петровичъ!

— Это бываетъ. Съ человѣкомъ случается, а овца что же... Знамо, она овца!

— Такая ярочка славна... а вотъ охромѣла! Исху-дала вся! Однѣ кости! Обмѣнилъ бы ты намъ ее! Все равно, къ свадьбѣ будешь рѣзать... Хроминьку-то и не такъ жалко!

Василій Петровичъ безпомощно улыбнулся, взглянулъ для чего-то на потолокъ и развелъ руками.

— Обмѣнимъ!

— Ну,—сказалъ о. Иванъ:—ты уже и обобрать го-това... Оставь хоть на племя!

Онъ обернулся къ Василю Петровичу.

— Послушай-ка, Василий Петровичъ. Такъ ты мнѣ толкомъ и не сказалъ: попадья-то съ кѣмъ поѣхала?

— Толкуютъ, съ псаломщикомъ. Ражій такой дѣтина, Кирюха сказывать, волосомъ черный... какъ воронъ!

— Съ усами?—вскричалъ о. Иванъ.

— Усы, Кирюха говоритъ, хоть на кнутовище наворачивай, горластый! Лошадей перепугалъ у Кирюхи-то, какъ рывкнулъ... чудное такое:—запрягай, говоритъ, по архерейскому приказу въ четыре возжи сразу!

— Псаломщикъ! Рудометовъ! Сомнѣнья нѣтъ! Отца протоіерея родственникъ... Узнаю, узнаю!

Онъ смущенно гладилъ бороду.

— Да что же это такое... а? Нелѣзно больно! Неправдоподобно! Стыдъ и срамъ! Поѣхать надо будетъ къ Матвѣю-то... непременно, обязательно поѣхать.

Онъ горячо заговорилъ:

— Вѣдь я ее малюткой зналъ... гимназисткой! Въ короткомъ платьицѣ! Книжки подъ мышкой... а сама веселая! Все шутки, все смѣхъ! Что за милая была, что за славная... привѣтливая! Какъ солнце! Взглянетъ, улыбнется... и все кругомъ улыбается... и вотъ плакать ты сейчасъ... и ужъ слезъ нѣтъ! И, знаешь, бывало, глядя на нее, мнѣ все сказка вспоминалась про ту дѣвушку, которая идетъ себѣ, безпечная, а за ней цвѣты вырастаютъ! Бывало, гдѣ Павлинька,—шумъ, гамъ, веселье... Ахъ, Павлинька! Мы ее золотой звали!

Онъ мягко смѣялся, и по лицу его разлилось растроганное выраженіе. Прищуренными глазами смотря на Василия Петровича, сочувственно покачивавшаго головой, и держа бороду въ кулакъ, отчего лицо его казалось необыкновенно мягкимъ и добрымъ, онъ приготавлился продолжать свои описанія, но, взглянувъ на попадью, откинулся съ испуганнымъ видомъ. Впив-

пшсь въ лицо его острыми, какъ иглы, глазами, она шарила по столу рукой, точно въ припадкѣ лунатизма.

— Что съ тобой!—хотѣлъ онъ вскричать.

Но не успѣлъ.

Нашаривъ чашку съ чаемъ, попадья, не спуская съ него глазъ, подняла ее и съ силою ударила о полъ. Во всѣ стороны, звеня и стуча, полетѣли дребезги, брызги чая облили мебель и стекла оконъ. Вслѣдъ за этимъ попадья встала и быстро вышла изъ комнаты въ спальню.

Василій Петровичъ сидѣлъ какъ въ столбнякѣ, откинувшись на стулѣ; широко раскрывъ глаза, разинувъ ротъ, онъ все еще смотрѣлъ на то мѣсто, гдѣ сидѣла попадья, точно видѣлъ тамъ призракъ. Грустно разсмѣявшись при видѣ комическаго удивленія гостя, о. Иванъ вздохнулъ, промолвивъ:

— Вотъ жизнь!

Василій Петровичъ немедленно и торопливо сталъ прощаться, ступая на носки своихъ огромныхъ сапогъ и говоря шумящимъ шопотомъ:

— Насчетъ овечки-то успокой матушку, отецъ! Обмѣню! Вишь у ней сердце-то... крутое... грозвое!

Онъ исчезъ, давая осколки чашки.

На улицѣ отчаянно пропѣлъ колокольчикъ, будто кто мчалъ во весь духъ.

Звонъ смолкъ у воротъ.

— Никакъ къ намъ?—поглядѣлъ о. Иванъ въ окно:— къ намъ и есть. Почтовые! Кто бы это?

И тотчасъ узналъ:

— О. Матвѣй!

О. Матвѣй, какъ вошелъ, такъ и упалъ на грудь о. Ивану. Повинуясь его сильной рукѣ, онъ прошелъ въ прохладную залу съ полузакрытыми ставнями, гдѣ въ стекла съ раздражающимъ жужжаньемъ бились мухи.

Тамъ опустился на диванъ съ безсиліемъ жалкаго отчаянія. Онъ былъ маленькій, тщедушный, съ крошечнымъ лицомъ, поросшимъ бѣловатымъ пухомъ, съ птичьимъ носикомъ, теперь посинѣвшимъ отъ плача. Шелковый сѣрый подрясникъ сидѣлъ на немъ неуклюже и отъ слезъ грудь подрясника покрылась черными полосами и пятнами. Онъ всхлипывалъ и бормоталъ безпомощно:

— Вотъ я къ тебѣ! Къ кому мнѣ больше? Ты уже слышалъ о несчастіи-то моемъ? Вотъ какъ быстро бѣжить дурная слава! Иване, Иване! Чѣмъ я заслужилъ?!

— Успокойся!—съ солидной строгостью совѣтовалъ о. Иванъ.

— Нѣтъ мнѣ успокоенья! Нѣтъ! Погибъ я... Опорочень... передъ лицемъ всѣхъ!

— Ты чего въ шелки-то вырядился? — посмотрѣлъ на него о. Иванъ.

— Въ шелки?

Онъ съ удивленіемъ осмотрѣлся.

— Да такъ, по ошибкѣ. Все равно! Хотя въ рогожу... все равно мнѣ теперь! Господи! Почто гонишь, почто наказуешь! Слушай, Иване... голубчикъ! Поѣдемъ со мной!

— Куда?!

— Поѣдемъ! Выручи! Въ городъ! Захватить её... Поймать её надо! Пока люди не узнали, пока до высшаго начальства не дошло! Срамъ-то, стыдъ-то какой на мою голову накликала... Всю карьеру мою... За что?! Чѣмъ заслужилъ?! Я ли не любилъ, я ли не холилъ?! Всѣ удобства предоставилъ... чего душа хочетъ? Приходъ—лучшій въ епархіи... по доходности... Богатѣйшій приходъ! Въ бархатъ ходила! Шляпки-то ей, бывало... Шляпки! Какъ въ городъ ѣду... шляпку: самъ знаешь... по двѣ-на-дцати цѣлковыхъ!

— Зна-ю!

— Юбку... намеднись... шелковую, красную... послѣдней моды!

— Видаль!—задумчиво басилъ о. Иванъ:—цвѣтистая!

— Носи не хочуй! Хозяйка! Все въ ея власти! Чего не хватало? Съ золоченой дугой ѣдила... Благочинничиха завидовала на ея житье... Королева! Королева! Фортепяно ей купилъ... Господи! За что мнѣ сіе!

Онъ всплескивалъ руками.

— За что?!

— Разбабился... вотъ за что! — строго сказалъ о. Иванъ. — Распустилъ бабу! Ишь ты... въ шелковую юбку обрядилъ! Бабу знаешь какъ держать надо...

Онъ протянулъ руку и сжалъ кулакъ, но, покосившись на дверь, въ которую недавно ушла попадья, спряталъ кулакъ въ карманъ и неувѣренно крикнулъ.

О. Матвѣй, не слушая, уронилъ растрепанную голову на руки, раскачивался и бормоталъ:

— Умру... умру! Не переживу! Срамъ-то! На всю епархію! Люблю я ее! Какъ она могла! Какъ смѣла! Разведусь я съ нею!

Онъ вскочилъ съ дивана и закричалъ, трагически потрясая въ воздухъ маленькими кулачками въ приступѣ отчаянія:

— Убью я её!!

Но тутъ же, упавъ на диванъ, замеръ въ позѣ обезсилѣвшаго человѣка, не отгоняя даже мухъ, ползавшихъ по мокрому лицу. Только въ груди его что-то еще въ послѣднемъ трепетѣ билось и онъ истерически втягивалъ воздухъ судорожными вздохами. Воспользовавшись перерывомъ жалобъ, о. Иванъ взялъ его подъ руку и поднялъ съ дивана, добродушно говоря:

— Поплакалъ? Ну, и будетъ скулить! Теперь выморкайся! А бушевать брось... въ разбойники не годишься! Ишь ты... Отелло какой! Мавръ! Убью! Айда-ка

лучше чай пить! Раствори горячую кровь водицей. А нюни подбери! Здоровый мужикъ, а мвро точить!

Онъ провелъ его въ столовую, усадилъ за столъ, пощупалъ ладонью потухшій самоваръ, нерѣшительно посмотрѣлъ на дверь въ спальню и вздохнулъ.

— Простыла машина-то. Да ничего, тепленькаго выпьешь... тебѣ горячее вредно, и то горячку порешь! Оно конечно... если бы матушкѣ сказать... Да я нынче, другъ, поговорку помню: не тревожь льва въ пещерѣ его.

Онъ разливалъ чай.

— Выпьемъ малую толику для милаго прилику, пополощемъ брюхо жижицей компаніи ради, да и въ путь... Ужъ поѣду я съ тобой...

О. Матвѣй отеръ слезы и помахалъ на себя платкомъ, чтобы освѣжить распухшее лицо.

— Пожалуйста, Иване! Бога ради! Ты на нее вліяніе имѣешь! Она на тебя Богу молится! На тебя все мое упованіе возлагаю!

— На Бога уповай... на князи не надѣйся! Да поѣду, поѣду! Не канючь!

Онъ высунулся въ окно и крикнулъ громовымъ голосомъ:

— Пара-монъ!

— Че-о?—отозвался тотъ издалека.

— Скажи Абдулкѣ тройку запречь. Гнѣдого въ корень. Съ бубенцами... для города!

— А возжи какія?

— Малиновыя!

Онъ грузно опустился на стулъ.

— Ну, а теперь рассказывай! Будетъ голову-то вѣшать! Въ чемъ у васъ заминка? Кто правъ? Кто виноватъ? Предупреждаю: судья строгій я! И въ Павлинкину вину не вѣрю. Знаю я тебя! Пищать ты умѣешь, какъ хвостъ прижмутъ,—а самъ тоже... съ бусорью!

О. Матвѣй молча полѣзъ за пазуху, досталъ оттуда измятое письмо и, пожавъ плечами, протянулъ его о. Ивану.

— Читай!

Этотъ скачущій почеркъ былъ хорошо знакомъ о. Ивану. Онъ читалъ и все больше багровый румянецъ выступалъ на его лицѣ.

„Матвѣй! — писала Павлинька мужу: — Отнесись хоть разъ ко мнѣ по-дружески, пойми меня! Переполнилась моя чаша, — до краевъ налилась и расплескалась! Не могу я больше, пойми, выносить этой жизни! Вотъ я пишу и плачу... Тишина гнететъ меня! Не вижу я ни дня, ни солнца... одна черная тьма! Вотъ ты зналъ, чего хотѣлъ въ жизни, передъ тобой вилось много дорогъ, и ты выбралъ по душѣ своей, идешь по ней съ сердцемъ легкимъ, горизонты твои для тебя широки и радостны! А я... несчастная... Я знала только, что мѣръ прекрасенъ и, когда наступить мой часъ, — меня... поведутъ въ него! И когда пришелъ ты, я, зажмурившись подъ яркимъ солнцемъ, позволила роднымъ своимъ отдать тебѣ мою руку, трепеща и ожидая... И когда раскрыла глаза, увидала себя въ склепу! Твой путь для меня — подземелье, твоя радость для меня — отчаяніе! Пойми! Будь гордъ, какъ сильный, и прости меня, безсильную! Я не могу! Я словно вставлена въ черную раму и завѣшена крепомъ, я, маленькая, всѣмъ чужая, всѣмъ враждебная... и мнѣ холодно, я замерзаю, мнѣ кажется, что зеленая плѣсень прорастаетъ на мнѣ, какъ у утопленницы въ глубинѣ болота. Мы не можемъ болѣе вмѣстѣ жить! Я уѣзжаю въ городъ... Предоставь мнѣ свободу, прошу тебя, — отдай меня самой себѣ! Дай мнѣ хоть въ этомъ сохранить къ тебѣ уваженіе! Прощай! Твоя несчастная неудачница Павла“.

О. Иванъ молча свернулъ письмо и положилъ его на столъ.

— По этому письму, — сказалъ онъ, — еще ничего страшнаго не выходитъ. Хорошее письмо, душевное!

О. Матвѣй вскипѣлъ, нахохлился, вскочилъ со стула.

— Да ты пойми! Она съ любовникомъ убѣждала!

— Ну! — съ сомнѣніемъ сказалъ о. Иванъ: — послѣ такого письма ужъ я и вовсе не вѣрю! Горячая голова, романистка! Конечно, развѣ можно жить съ такими идеями... А чтобы что такое... вздоръ, не вѣрю! Можетъ раньше что замѣчалъ? Вѣдь нѣтъ же?

— Нѣтъ! Но она хитрая... хитрая! Она на все способна... на всякую пакость! Ей вѣрить нельзя! Ужъ у меня съ нею давно нелады... скрывалъ только! То плачетъ по цѣлымъ днямъ, запретъ въ комнатѣ, сидитъ, не выходитъ. То злая ходитъ, къ каждому моему слову придирается, язвитъ. Это не по ней, другое не по ней! Въ приходское дѣло вмѣшивается, осуждаетъ мои дѣйствія, точно это женское дѣло. Намедни изъ-за мужика схватка вышла... Паспортъ требуетъ! Ужъ давно она надумывала уйти, давно! И вотъ какъ получилъ я письмо, — растерялся сначала... глазамъ не повѣрилъ! Вечеръ, ночь, понимаешь... Я только что съ прихода пришелъ... И вотъ, письмо... Я бросился узнавать, — къ служанкѣ, къ работникамъ. Никто не знаетъ. Я къ церковному старостѣ. И тотъ ничего! А тутъ дьяконъ идетъ по улицѣ и посмѣивается: — куда, говорить, это ваша матушка съ псаломщикомъ поскакала!.. Ты вѣдь знаешь, дядя, Рудометова... отца протоіерея племянникъ! Тать и разбойникъ! Я на почтовый дворъ. Ну... вотъ...

Красное личико о. Матвѣя опять сморщилось, точно губка.

— Такъ, такъ, — басилъ о. Иванъ. — Значить, у васъ и раньше размолвки были... я не зналъ!

— Размоловки! Господи! Скандалы были! Да что жъ... Это у всѣхъ бываетъ, безъ того нельзя! Всѣмъ не сладко живется! Не бѣгають же!

— Это такъ!—согласился о. Иванъ.

На дворѣ звенѣли бубенцы и звякалъ колокольчикъ.

— Ну,—сказалъ о. Иванъ,—дѣло это путанное, въ городѣ все разберемъ. А только искренній мой совѣтъ: не думай пока ни о чемъ, а главное соплей не распускай. Такія бабы, братъ, какъ твоя, не любятъ этого! Да соплей и никто не любить... Собирайся-ко! Какъ-нибудь поправимъ дѣло.

— А какъ же,—сказалъ о. Матвѣй, почему-то понизивъ тонъ:—съ матушкой бы повидаться.. хотя мнѣ и совѣстно.

О. Иванъ почесалъ затылокъ.

— Да я сейчасъ скажу ей. Она, видишь ли, сегодня... нездорова маненько. Не тревожь льва въ пещерѣ его... Да придется, все равно не уѣдешь безъ этого!

Онъ вздохнулъ и пошелъ къ спальнѣ. Осторожно, пріоткрывъ дверь, онъ сначала просунулъ туда голову, потомъ протиснулся и весь, стараясь производить какъ можно меньше шума. Спальня, темная комната, единственное окно которой было полузавѣшено старымъ ситцевымъ одѣяломъ, раздѣлялась черной занавѣской на двѣ половины. Въ одной—стояла широкая супружеская кровать, на которой спалъ обыкновенно о. Иванъ. Кромѣ этой кровати, съ высоко взбитыми подушками и багровымъ одѣяломъ, стула, половика на полу и дюжины разноцвѣтныхъ подрясниковъ, развѣшенныхъ по стѣнамъ—здѣсь ничего не было: этотъ неуютный и пустынный уголъ напоминалъ чуланъ, въ которомъ хранилось приданое: торжественно убранная кровать. Въ другой половинѣ, слабо освѣщенной баг-

ровымъ свѣтомъ лампы, было помѣщеніе матушки. Оно напоминало келью. Простая складная кровать, безъ тюфяка, покрытая бѣлымъ лѣтнимъ одѣяломъ; столикъ, на которомъ среди „божественныхъ“ книжекъ попадались сборники „Нивы“ и даже какой-то безконечный французскій романъ, только до половины разрѣзанный; фотографіи на стѣнахъ мужчинъ и женщинъ, о которыхъ о. Иванъ никогда ничего не зналъ; олеографіи съ видами швейцарскихъ хижинъ,—все, вплоть до дѣтской кроватки, въ которой, разметавшись, спала рыженькая, веснучатая пятилѣтняя дѣвочка,—все дышало уютомъ кельи, обитательница которой еще не со всѣмъ отеклась отъ мірскаго.

Матушка стояла передъ иконами, тускло освѣщенными свѣтомъ лампы, и молилась. Ея фигура выдѣлялась чернымъ, строгимъ силуэтомъ.

— Лина!—шопотомъ позвалъ о. Иванъ.

Она обернулась.

Глаза ея были красны отъ слезъ и сквозь обычную сухость лица проглядывало что-то мягкое. И лицо ея показалось о. Ивану такимъ жалкимъ, старымъ, больнымъ и оцвѣтшимъ, что у него заныло въ груди, точно онъ первый разъ увидалъ ее. Ему стало жалко ее. Онъ невольно сдѣлалъ къ ней шагъ и протянулъ ей руку.

— Лина! За что ты все... сердишься на меня?

Лицо ея стало еще мягче. Она такимъ же невольнымъ движеніемъ взяла его руку.

— Не знаю. Не я сержусь... Во мнѣ что-то! Ты извини!

И больше словъ у нихъ не было.

— Лина! Тамъ... о. Матвѣй.

— Ну, что жъ!

— Вышла бы?

Она тихо покачала головой.

— Не могу! Не принуждай...

Помолчали.

— Лизанька здорова?—чтобы что-нибудь сказать, спросилъ онъ.

Онъ безшумно поцѣловалъ одѣяльце на груди у дѣвочки и, поднявшись, сказалъ, глядя на олеографія:

— Лина! Я ѣду... въ городъ.

Лицо ея мало-по-малу приняло свою обычную сухость.

— Ну, что жъ...

— Прощай!

Она холодно сказала:

— Прощай!

Онъ тихо вышелъ, чувствуя себя въ чемъ-то виноватымъ, хотя не зналъ за собой никакой вины.

— Нездорова, братъ... извиняется!—сказалъ онъ о. Матвѣю.

Лошади стояли у крыльца и безпокоились Абдуль держалъ наготовѣ возжи, Парамонъ стоялъ у воротъ, готовясь распахнуть ихъ. Батюшки уже садились въ тарантасъ, какъ служанка позвала о. Ивана въ комнаты.

Въ столовой его ждала попадья.

— Вотъ тутъ сто рублей и книжка. Внесешь тамъ въ кассу.

— Откуда это ты накопила?—удивился о. Иванъ:—то-то, я замѣчаю... куры-то да овцы...

— Ну, что жъ... Для себя, что ли? На Лизанькину книжку положишь. Мы маемся, пусть хоть дѣти не маются.

И она опять, какъ черная тѣнь, скользнула въ спальню.

III.

Кони птицами снялись съ мѣста, бѣшено вырвались за ворота и въ густомъ облакѣ пыли помчали за околицу. Абдулъ намоталъ возжи на руки и, сдерживая тройку, побагровѣлъ отъ натуги. Гнѣдой коренникъ широко работалъ ногами. Колокола захлебнулись и едва звякали подъ дугой отъ быстроты его бѣга. Пристяжныя прыгали, какъ котята. Пѣгая пристяжка совсѣмъ завернула голову къ боку, но все рвалась впередъ, возбуждаемая бѣгомъ. Тарантасъ подпрыгивалъ отъ каждаго камешка и ямки. Борода о. Ивана убѣжала за плечи.

— Держи шляпу!—кричалъ онъ:—глаза-то прикрой... ослѣпнешь!

Вѣтеръ свистѣлъ у нихъ подъ ушами.

Изъ-подъ лошадиныхъ копытъ земля летѣла мягкими комьями, таявшими на лету, но еще съ силою ударявшими въ лица и платье. У батюшекъ лица сдѣлались черными, шляпы и рясы покрылись пыльнымъ налетомъ. Кусты, цвѣты, межевые камни летѣли навстрѣчу, сливаясь во что-то пестрое у колесъ тарантаса. Изъ-за пригорковъ едва возникали перелѣски, какъ уже, разростаясь, бѣжали навстрѣчу, на мигъ охватывали тарантасъ зеленой чащей, и убѣгали...

— Каково?!—кричалъ о. Иванъ съ сдержаннымъ весельемъ:—машина! Колокольчиковъ-то не слыжать! Развѣ это кони? Вѣтрогоны!! Покупалъ-то... ха-ха! Котораго за сорокъ, котораго за полсотню! За гнѣдого только двѣ сотни далъ! Ахъ... ко-о-нь!! У меня, братъ, любая лошадь—на бѣга гоняй! У меня... школа!!

— У-удиви-тельно!—хотѣлъ сказать о. Матвѣй, но большой комокъ земли ударилъ его прямо въ губы, и онъ началъ утираться и отплеиваться.

— Ничего!—хохоталь о. Иванъ:—поѣшь землицы здѣшней... святая, поповская!

Онъ привсталъ въ тарантасѣ.

— Мои луга начались... смотри! Хороши? Сейчасъ стога мои увидишь. Землица-то эта не даромъ мнѣ досталась! По округѣ лучшая! Три года воевалъ! Сколько водки спойлъ!

Онъ кричалъ:

— Абдулъ! Наддай!..

Отъ скорости лошадинаго бѣгата тарантасъ обволакивала пыль, но тотчасъ же улетаала и вилась тучей позади. Комья земли летѣли, оставляя за собой пыльные слѣды, какъ кометы. На широкомъ луговомъ просторѣ, открывшемся изъ-за лѣсной опушки, возвышались тамъ и сямъ громадныя омѣты. Сквозь свистъ вѣтра о. Иванъ кричалъ, что такихъ омѣтовъ не ставить ни одинъ священникъ по округѣ, у благочиннаго нѣтъ такихъ, потому что на этихъ лугахъ даже въ неурожайные годы трава родится, въ засуху ползетъ изъ земли, какъ щетина. Онъ радовался на свои луга, жестикулируя, показывалъ о. Матвѣю, гдѣ ихъ границы. Границы оказывались такъ далеко, что о. Иванъ приподымался въ тарантасѣ, весь пыльный и черный, и не обращая вниманія на комки земли, разбивавшіеся о него, показывалъ вытянутой рукой въ пространство, крича:

— Во-онъ грань-то... у лѣса! Пчельникъ тамъ хорошо бы поставить! Пчелиное мѣсто! Трава медовая!

Внезапно онъ почти всталъ въ тарантасѣ и заоралъ яростно:

— Мо-о-ше-нники!!

— Что случилось?!—поднял о. Матвѣй лицо, наминавшееся земляной комокъ.

— Разбой-ники!! Что они дѣлають со мной! Опять, навѣрное, сельскій староста, подлець! Смотри, Матвѣй, смотри! Вотъ оно, поповское житье...

О. Иванъ ткнулъ Абдулку въ спину крѣпко сжатымъ кулакомъ.

— Наддай! Чего ротъ разинулъ! Катай безъ дороги... наперерѣзь!!

Тарантасъ запрыгалъ по неровной почвѣ.

О. Матвѣй заслонилъ рукою глаза и старался разсмотрѣть, что такъ взволновало о. Ивана. Но онъ ничего не видѣлъ особеннаго, кромѣ нѣсколькихъ мирно пасущихся, красивыхъ, рослыхъ быковъ. Одни изъ нихъ щипали траву и, жуя ее, съ философскимъ спокойствіемъ наблюдали мчавшуюся къ нимъ тройку, другіе стояли у омѣтовъ, слегка теребили ихъ бока или отъ нечего дѣлать бодали ихъ крутыми и крѣпкими рогами.

О. Иванъ держался за плечи работника и хрипѣлъ:

— Гра-би-и-тели!!

Изъ-за омѣта выскочили два пастушонка и отчаянно начали колотить быковъ длинными кнутами.

— Сто-о-о-й!!—загремѣлъ о. Иванъ, выскакивая на лету изъ тарантаса.

Перетрусившіе пастухи гнали вскачь испуганныхъ быковъ, молча, но отчаянно хлопая бичами.

— Чьи такіе? Сто-о-й!! Я все равно знаю!—кричалъ о. Иванъ, бѣгомъ несясь по полю за бѣглецами!—сто-о-й!! Старостины быки... Ахъ, грабители! Я покажу вамъ, какъ травить поповскіе луга! Я вамъ... Сто-о-о-й!!

Его огромная фигура металась по полю, какъ вихрь. Подрясникъ растянулся и плылъ по воздуху, точно вѣтеръ, длинныя ноги въ широчайшихъ шароварахъ дѣлали саженные шаги. Онъ попытался-было поймать мальчишекъ, но юркіе мальчишки бросились въ раз-

сыпнѹю. Онъ опять поскакалъ за быками. Одному онъ усиѣль-таки перегородить дорогу и поймалъ его за рога.

Быкъ мотнулъ головой.

О. Иванъ запатался, но удержался. Руки его скользнули по шеѣ, по спинѣ убѣгавшаго быка и цѣпко ухватились за хвостъ.

— А-а-а, подлецы!—оралъ о. Иванъ на весь лугъ:—достану я на васъ улику!!

Быкъ въ ужасѣ прыгалъ и метался. Но о. Иванъ крѣпко держалъ его обѣими вытянутыми руками за хвостъ, ногами же упирался въ землю, и скользилъ за быкомъ, какъ по льду. Быкъ рвался, временами начиналъ ревѣть. О. Иванъ отзывался на ревъ ругательствами и угрозами.

О. Матвѣй катался въ тарантасѣ отъ хохота. Абдулка улыбался до ушей. О. Иванъ скакалъ по полю и, обращая къ Абдулкѣ свирѣпое лицо, кричалъ:

— Чего, нехристь, смѣешься! Помоги иди!

— Лошадка нельзя бросать!

— Отдай... Матвѣю... возжи!!

Быкъ ускорилъ бѣгъ. О. Иванъ—тоже. Подрясникъ на немъ раздувался, какъ хвостъ у куруна, шляпа слетѣла, волосы, точно у Авессалома, развѣвались по вѣтру. Онъ то присѣдалъ, чтобы найти точку опоры, то выпрямлялся и бѣжалъ гигантскими шагами, хрипло крича на быка:

— Стой, подлецы! Стой, мошенники!

Замѣтивъ подбѣгавшаго на помощь Абдулку, быкъ круто повернулъ въ сторону. О. Иванъ выпустилъ хвостъ, взмахнулъ руками, будто прося помощи у неба. Мигъ... онъ лежалъ на землѣ, а быкъ вскачь спасался по полю.

О. Иванъ поднялся пыльный и мрачный.

— Чьи мальчишки?—спросилъ онъ работника, очищая бороду отъ земли.

Тотъ мотнулъ головой.

— Не сняй.

— А быки?

— Не сняй.

О. Иванъ уставился на него круглыми глазами.

— А ты самъ кто? Тоже не сняй! Ахъ ты... турецкая морда! Заодно съ подлецами... шайка?! Ну, погоди, доберусь я до васъ до всѣхъ...

Онъ шелъ къ тарантасу, уже остывая, и говорилъ Абдулкѣ, бросая на него притворно-гнѣвные взгляды:

— Вотъ прїѣдемъ въ городъ, сведу тебя къ архерею... окрещу тебя! Пота-т-чикъ!!

Абдулка улыбался до ушей.

— Ми ни сняй... Ми ни здѣшни... Шабра-ауль вси зняемъ. Здѣсь не сняй!—говорилъ онъ.

— Молчать! Садись на козлы! Ступай шагомъ.

О. Иванъ мрачно ввалился въ тарантасъ, сердито покосился на о. Матвѣя, но потомъ не выдержалъ и самъ расхохотался.

— Вотъ оно поповское житье! Смѣйся, смѣйся! А какъ поразсудить, нѣтъ горше одежи, какъ подрясникъ съ рясой да широкополая шляпа. Сдѣлай себѣ хоть посохъ съ золотымъ набалдашникомъ, а все тебѣ одинъ почетъ... Ну, мало, скажи на милость, имъ своего-то выгона,—нѣтъ... айда на поповскіе луга, травы поповскіе ометы! Эхъ, узнать бы, чьи быки, взмылили бы я тому человѣку шеицу-потылицу во всю милую душу... съ пескомъ и съ иломъ! Чтобъ до свадьбы не зажило! Вѣдь тутъ трудъ!

О. Иванъ широкимъ жестомъ показалъ на луга.

— Горбъ тутъ! У попа-то не такой, что ли, горбъ, какъ у мужика? Такъ же потѣть! Двѣ недѣли рѣлъ я

косиль,—въ первой косъ шель! Самъ ометы-то металл! А они:—„у тея, ба-тющка, всяво много! Травы-те не въ проворотъ, хлѣба-те полонъ ротъ“! Думаютъ, даромъ достается!

— Мужичишки, одно слово! — презрительно сказалъ о. Матвѣй: -- не люблю я ихъ! Эхъ, зачѣмъ я только въ академію не попалъ! Служилъ бы теперь въ городъ.

Тройка шагомъ вышла на столбовую дорогу.

Абдулка подобралъ возжи. Кони пошли полной рысью. Колокольчики заплѣли надъ степями, унылой ширью убѣгавшими подъ горизонты.

— Вотъ радуюсь я хозяйству своему,—впалъ въ унылый тонъ о. Иванъ,—а какъ такой случай... и не мило ничего! Зачѣмъ въ попы шель? Какъ слѣпой былъ! Онъ помолчалъ.

— Безмыслица какая-то!

— Вотъ у насъ,—заговорилъ о. Матвѣй,—слава Богу, въ Крестахъ такого безобразія нѣтъ! Народъ страхъ Божій знаетъ, въ субординаціи содержится. Къ духовнымъ почтительны. У насъ поповскихъ стоговъ травить не стануть, нѣ-ѣтъ! У насъ, голубчикъ мой, на этотъ предметъ такой порядокъ заведенъ, что мужикъ-то ходить да оглядывается... да не то чтобы грубое слово сказать,—за версту духовное лицо увидить,—хотя бы не свое, чужеприходное,—шапку ломить! Золотой челоуѣкъ у насъ Аркадій Михайловичъ. Издалека взоромъ орла, такъ сказать, провидитъ всякій непорядокъ... и пресѣкаетъ!

— Какой Аркадій Михалычъ?

— Пустоваловъ. Земскій нашъ! Неужели ты его не знаешь? Да тутъ кругомъ по округъ все его земли лежать!

— Слышать что-то про него...

— Ахъ, какой администраторъ! Какой хозяинъ! Государственный умъ! Мы ему большую карьеру предрекаемъ. Какой человѣкъ... внимательный человѣкъ!

О. Матвѣй сжалъ руки на груди, будто для молитвы, и покачивалъ маленькой головкой.

— Такіе люди для Россіи нужны, нужны.

— Кажется, наши мужики какого-то Пустовалова поругиваютъ... Знакомое имя-то!

— Не мудрено! Гроза! Государь въ уѣздѣ! Только такими людьми, какъ городъ праведниками, и земля наша держится! Это, такъ сказать, министръ,—но министръ у самыхъ корней практическаго дѣла, вѣдающій не теорію, но практику государственной жизни! Погибнетъ, развратится земля наша безъ такихъ людей, оскудѣетъ вѣра, исчезнетъ страхъ Божій...

— Ка-кой... мудреный! Нѣтъ, нашъ земскій попроще... его и не видать никогда, либо спитъ, либо рыбу удить, а когда дѣла разбирать начнетъ, мужики только руками разводять! Правъ ли, виноватъ ли,—либо штрафъ, либо подъ арестъ... А когда запьетъ, такъ совсѣмъ веселый человѣкъ! Намеднись пришелъ въ церковь. Впереди стоитъ урядникъ и усердно намаливается, ожидая просвиры,—толстенькій, низенькій, совершенно лысый. А земскій большой, въ корнетахъ служилъ. Подошелъ къ уряднику сзади, перекрестился и благоговѣнно поцѣловалъ его въ лысину.

О. Иванъ хохоталъ.

— Простъ, очень простъ!

— И нашъ простъ... но мудръ... И, именно, какъ это сказать, не только мудръ, но какъ-то... смиренно-мудръ! Такой случай былъ. Это еще не задолго до бунта въ Васильевкѣ. Одинъ мужикъ... навѣрное, извѣстный тебѣ, Назаровъ... бунтарь и государствен-

ный преступникъ! Имѣлъ, по точнымъ моимъ свѣдѣніямъ, полный амбаръ хлѣба! Я потребовалъ, чтобы онъ вынесъ полную пудовку сѣмяннаго сбора... Онъ же, сдѣлавъ это молча, со злымъ взглядомъ и стиснутыми зубами, — промолвилъ вслѣдъ, когда я отъѣзжалъ:—„обирала“... Какъ?! Такъ ты грубить священнику?! Натурально, я къ земскому. И что же? Что сдѣлалъ бы другой? Презрѣлъ? Сей же приказалъ явиться сходу,—вызвалъ этого самого Назарова,—въ присутствіи всѣхъ подошелъ ко мнѣ и попросилъ благословенія. Обернулся къ сходу. „Вотъ, говорить, съ какимъ почтеніемъ и благоговѣніемъ надо относиться къ особѣ духовнаго званія. А ты, Назаровъ, что себѣ позволилъ? Это я за тебя у батюшки прощенья просилъ. Но что же мнѣ съ тобой сдѣлать? Какое наказаніе равноцѣнно твоему поступку?“ Ну... и потомъ...

— Что же потомъ?

— Одно только слово сказалъ земскій,—кратко, внушительно и проникновенно:—„запереть!“ И заперли!

О. Иванъ крикнулъ:

— Вотъ ужъ это... не того!—сказалъ онъ:—это зря! Нѣтъ, братъ... это дѣло не годится... Ну, поругать такъ, чтобы перо и пухъ полетѣли. А доносить—это подлю по моему... и нецѣлесообразно! Человѣка этимъ испортить можно!

— Чать, поди на нихъ, разбойниковъ, какой-нибудь страхъ нуженъ!

— На кого и какой... Иного словомъ-то можно больше пронять. Въ нашемъ дѣлѣ случается, что и почтенный человѣкъ отъ грубости не удержится... Наше дѣло какое? Извѣстно, и поприжмешь иной разъ, гдѣ возможно... а иногда, гдѣ и невозможно! Тѣмъ живемъ... что подѣлаешь! Такъ нужно понять это... и извинить! Ты его

пошуняй, да огорошь его текстомъ, чтобы за сердце тронуло, онъ тебѣ не то, что пудовку, — двѣ вынесетъ да на придачу еще какую-нибудь такую утку приволочетъ! А ты... Эхъ, ты!

— Съ мужикомъ фамиллярничать негодится, — недовольно сказалъ о. Матвѣй:—онъ тебѣ живо на шею сядетъ, ежели его не пострадать... Вонъ въ Васильевкѣ какая исторія разыгралась!

— А что же по твоему? Широкозадовъ правъ?

— Онъ почтенный и вліятельный человѣкъ. Всѣми уважаемъ. И къ тому же судъ призналъ!

— Что судъ! Суду того не извѣстно, что мы всѣ знаемъ... Подлецъ онъ, твой Широкозадовъ, вотъ что! Твоихъ же мужиковъ разоряетъ, а ты за него... И вообще я тебѣ вотъ что скажу: мужики, хотя какіе они ни на есть, а народъ теплый. И я, братъ, люблю ихъ! Ей-Богу! Я, братъ, около нихъ ужъ давненько живу, обиды не видалъ!

— А стога?—насмѣшливо вставилъ о. Матвѣй.

— Что стога!—Наплевать стога! Эка важность, быки пободали... Семейное дѣло! Вѣдь и я мужика пободаю иной разъ! Если непріятность, пойдѣ къ мужику-то, да поговори ладкомъ, по душѣ, онъ тебѣ штаны отдастъ! А что толку, ежели я съ жалобой, да еще по начальству! Да онъ того никогда не простить и не забудетъ! Эка! Ты къ нему же съ жалобой-то, къ мужику, торкнись... у него сердце бо-о-льшое, въ три обхвата, всѣмъ мѣста хватить! Одѣтъ-то, братъ, онъ и неказисто на видъ, а разбери дѣло хорошенько: и сермяжка у него серебряная, и лапотки золотые. Онъ всѣхъ кормить! По моему, лучше мужика и человѣка нѣтъ! Простъ, душа на ладонкѣ... Легко съ нимъ! Водкой да лаской съ нимъ все сдѣлаешь!

О. Иванъ помолчалъ.

— И несчастный онъ! Градъ ли, гроза ли, мы — въ комнатку, а его по шеѣ бьютъ! Да, собственно, и кто его по шеѣ не бьютъ? И земскій, и становой, и урядникъ, и стражникъ. А тутъ... хропъ! Еще и отъ своего же попа жалоба!

— Ему же урокъ-урокъ,—сказалъ о. Матвѣй:—коемуждо по дѣломъ воздается! А ты вотъ, знаешь ли, точно въ одно слово съ Павлинькой. Ужъ она точила точила меня изъ-за Назарова...

О. Иванъ ничего не отвѣтилъ.

Они замолчали.

Солнце близко опустилось къ горизонту, отъ испареній стало большое и багровое. Словно чье-то кровавое око озирало степь. Вотъ только половина солнечнаго диска осталась надъ горизонтомъ... вотъ четверть. Вотъ только золотая искра сверкнула на томъ мѣстѣ, гдѣ уходило солнце, но и она потухла. Тогда багровые лучи высоко взметнулись на полнеба.

Позднимъ вечеромъ они пріѣхали въ городъ.

IV.

Губернскій городъ Староміръскъ расположенъ у широкой болотистой рѣки, раздѣляющей его на двѣ части: „центр“ и обширное „Зарѣчье“.

Зарѣчье тонетъ въ грязи.

Со всѣхъ сторонъ точно сдавленное дровяными складами, лѣсопилками, фабриками, кирпичными и известковыми заводами, оно носитъ на себѣ печать привычной бѣдности и вѣковой кабалы. На его улицахъ, непроходимыхъ осенью, пыльныхъ въ зной, съ звонкимъ крикомъ играютъ оборванные дѣти,—будущіе рабочіе на заводахъ и фабрикахъ. Улица—ихъ школа, потому что только счастливы изъ нихъ попадаютъ въ городское зарѣченское училище имени губернатора Бе-

зака, того Безака, который когда-то выразился: „дѣти бѣдняковъ должны учиться труду и только труду!“ До сихъ поръ въ Зарѣчьи живетъ легенда о бѣдной вдовѣ, которая привела въ неуклюжее зданіе школы, передѣланной изъ кожевеннаго завода, — свою дочку и получивъ отвѣтъ:—„пріема нѣтъ, потому что нѣтъ мѣстъ“, — принесла на другой день въ школу... свою скамейку! Выростая, эти забытыя дѣти ходятъ по улицамъ съ гармониками, поютъ разухабистыя и циничныя пѣсни, заводятъ драки съ истощенными женами и отголоски разгула ихъ долетаютъ до „центра“, который съ нагорья смотреть на нихъ угрюмо и подозрительно, пока стооячая ночь не уложитъ ихъ подъ заборами, въ грязныхъ канавахъ или въ вонючихъ конурахъ, называемыхъ жилищами. По ночамъ тѣ же дѣти этого гнѣзда рабовъ крадутся къ центру воры, голодные и съ горящими глазами, бредутъ безшумной походкой протитутки.

„Центръ“—благоустроенъ.

Его улицы широки и красивы, прекрасно вымощены, по ночамъ освѣщаются блѣднымъ свѣтомъ электричества. „Центръ“ господствуетъ надъ окрестностью. На высшей точкѣ его, у края откоса надъ рѣкой, ширится площадь, среди которой возвышается двухсотлѣтній „золотой“ соборъ, окруженный лучшими зданіями города: губернаторскимъ дворцомъ, казенной палатой, мрачнымъ казначействомъ, семинаріей, тюрьмой и гауптвахтой. Вдоль откоса тянется „скверъ“ или „бульваръ“, гдѣ по вечерамъ играетъ военный оркестръ на утѣху избранной публики, чинно дефилирующей по главной аллеѣ, и гдѣ есть аллея „тайныхъ вздоховъ“, по которой считается неприличнымъ гулять. Съ прекраснаго губернаторскаго балкона, поддерживаемаго бѣлыми колоннами, открывается чудный видъ на „Зарѣчье“ и

окрестности. Балконъ этотъ — историческій. Съ лѣвой стороны его сохранилась пробоина отъ ядра пугачевской пушки. Въ холерный годъ въ немъ перебиты были стекла. Съ него графъ Перовскій наблюдалъ за казнью провинившихся солдатъ. Съ него раздавались инородческія земли въ эпоху миллионныхъ хищеній. Когда-то этотъ балконъ во время страшнаго пожара Зарѣчья далъ поводъ мѣстному остряку и бонвивану, казначею Вертипороху, сравнить губернатора съ Нерономъ, любующимся пожаромъ Рима. Съ тѣхъ поръ прозвище это сохранилось за губернаторами, и нынѣшній хозяинъ губерніи, узнавъ о томъ, былъ даже нѣсколько польщенъ и замѣтилъ какъ-то съ грубоватымъ хохотомъ:

— Надѣюсь, однако, есть же какая-нибудь разница между мною и Нерономъ!

Предсѣдатель окружного суда Купорововъ ловко на это замѣтилъ:

— Разница существенная, ваше превосходительство: Неронъ сжегъ свой городъ, а вы свой благоустроили.

И онъ мягкимъ жестомъ показалъ на Зарѣчье.

Зарѣчье съ балкона казалось клѣткой, сторожимой со всѣхъ концовъ элеваторами, громоздкими фабриками, высокія трубы которыхъ дымили день и ночь, — кирпичными заводами, черными какъ гробы бѣдняковъ. Оно казалось клоакой, вдавленной въ землю, гдѣ копошилось что-то живое и несчастное, потому что голоса оттуда долетали какъ крики о помощи, а пѣсни напоминали стоны. Въ сущности Купорововъ былъ правъ: — „благоустройство“ несомнѣнно существовало, то проклятое вѣковое „благоустройство“, которое поддерживается штыками и полицейскими палками, не принося ни радости, ни счастья даже тѣмъ, для кого оно поддерживается. Зарѣчье — бѣдно и въ кабалѣ у богатства. „Центръ“ богатъ и

владычествуетъ, но оба они одинаково несчастны. Въ мрачной тѣни, бросаемой борьбой труда и капитала, предразсудка съ заключеннымъ въ подполья разумомъ, задыхаются современные города, распространяя свое отравленное дыханіе далеко на зеленныя окрестности. Это—громадныя реторты, въ которыхъ трудъ и невзгода рабовъ перерабатываются въ призрачное благополучіе господъ; гдѣ сотни полуразрушенныхъ хижинъ создаютъ дворцы, въ которыхъ задыхаются ихъ хозяева отъ фатальнаго непониманія жизни. Это—обширныя клѣтки „страны отцовъ“, въ которыхъ съ плачемъ и воплемъ бьются дѣти прежде, чѣмъ самимъ превратиться въ призрачно-благополучныхъ отцовъ,—принимающихъ кошмарный сонъ за жизнь. Въ этомъ снѣ купцу мерещатся широкобokie амбары, сдавившіе горизонты; соборному протоіерею—божественныя молебствія по случаю именинъ, открытія новыхъ лавокъ или побѣды надъ врагами, давно превратившимися въ друзей; чиновнику—бумажное море, которое онъ тщетно старается переплыть; городовому—рай, который поручили ему размежевать на участки... Тутъ все,—въ этой жизни-снѣ,—распредѣлено по категоріямъ. Каждому данъ свой прилавокъ, за которымъ онъ долженъ стоять и почитать себя счастливымъ, потому что отцы и дѣды и отцы дѣдовъ его стояли за такими же прилавками и почитали себя счастливыми, хотя и звѣзды, и небо, и свѣтъ солнца видѣли въ игрѣ призрачныхъ и отраженныхъ тѣней. На всѣ запросы духа существуютъ давно готовые отвѣты, превратившіеся въ священные пословицы; изъ священныхъ пословицъ вѣками составились писанные и неписанные своды правилъ, опредѣляющихъ каждый шагъ и каждый вздохъ. Давно прошло то время, когда были пустыни, куда удалялись пророки, чтобы искать у звѣздъ новыхъ отвѣтовъ.

на запросы мутящейся души, вѣчно жаждущей, вѣчно недовольной. Пустыни заселены, разбиты на станы и участки, по нимъ мчатся въ экстренныхъ поѣздахъ „устроители жизни и охранители права“. Теперь пророкъ—бѣглець! Его страстная рѣчь встрѣчается приглашеніемъ въ участокъ, отобраніемъ паспорта, провоженіемъ на родину по этапу, а въ худшемъ случаѣ—въ тюрьму и на висѣлицу! И давно побившіе камнями своихъ пророковъ современные города—это школы фальшивыхъ монетчиковъ, существующихъ подъ охраною закона. Настоящая, подлинная золотая монета вырабатывается тамъ только въ подпольяхъ и преслѣдуется. Фальшивая же, подернутая плѣсенью вѣковъ,—находится въ обращеніи въ школахъ, въ судахъ, въ храмахъ, ею покупается и поддерживается то „благополучіе“, подъ которымъ гнутся, спиваются, сходятъ съ ума, вырождаются даже „владыки“ жизни и которое даже счастливейшіе называютъ „проклятымъ“! Было бы ужасно и страшно жить, если бы новыя золотыя вѣянья не давали себя знать въ этой болотной, нищей духомъ глуши. Наступила новая эпоха, эпоха повального бѣгства дѣтей изъ клѣтокъ, устроенныхъ имъ отцами. Этотъ „духъ бѣгства“ бродитъ по „зарѣчьямъ“ и „центрамъ“, по площадямъ и глухимъ улицамъ, не даетъ спать юнымъ, гордымъ сердцамъ, протягиваетъ имъ свою ширококостную, мозолистую, свою крѣпкую демократическую руку. Дѣтямъ не даетъ покоя иной рай, еще не размежеванный на участки, и уже глухая борьба отцовъ съ дѣтьми ведется всюду не такъ бесплодно, какъ прежде. Бѣдныя дѣвушки, плохо одѣтыя, бѣгающія на курсы по столицамъ, студенты въ вѣчныхъ курткахъ, часто высылаемые, возвращающіеся вновь, вся эта молодежь, подающая тысячи прошеній во всякія школы, гдѣ есть хоть десятокъ свободныхъ мѣстъ,

ютящаяся въ сырыхъ углахъ, живущая впроголодь, среди отчаянныхъ жизненныхъ невзгодъ мечтающая о „соціальныхъ переворотахъ“, о торжествѣ права и справедливости,—все это дѣти мѣщанъ, дѣти купцовъ, часто порвавшихъ съ родными, дѣти города Старомірска! Быть можетъ, тамъ, на ихъ новыхъ избранныхъ путяхъ, ихъ ждутъ новыя „клѣтки“... Но „духъ бѣгства“, какъ оздоравливающее начало, передается по наслѣдству, и ихъ дѣти и дѣти дѣтей ихъ уничтожатъ послѣднія перегородки, рѣшетки и заставы... Старый храмъ жизни далъ трещины, и въ нихъ смотрятъ милыя лица: безъ сожалѣнія разрушатъ они этотъ храмъ, весь, безъ остатка. Въ запертыя двери стучать молодая, здоровыя руки. Онѣ стучать, крѣпко стучать... Вы отопрете имъ, тюремщики! Или прочь, съ трескомъ и громомъ, падутъ запоры ваши и васъ смететъ буря! Буря освобожденнаго духа! Безсильны вы угасить его, чувствуя свою близкую гибель... Онъ—неугасимъ! Падутъ подъ напоромъ его послѣдніе порыхтѣлые замки, лягутъ въ прахъ мистическія печати, свободный человѣкъ встанетъ во весь ростъ свой, сброситъ узы и будетъ вдыхать полною грудью воздухъ свободной, міровой безконечности.

Городъ еще жилъ трепетною жизнью, изъ сквера доносилась музыка, а гдѣ-то въ Зарѣчьи еще гудѣли послѣдніе гудки, когда тройка гнѣздовскаго батюшки пронеслась черезъ площадь, заставляя оглядываться рѣдкихъ прохожихъ, и, свернувъ въ узкую улицу, образуемую гауптвахтой и казначействомъ, остановилась у воротъ мѣщанки Скворцовой, гдѣ обыкновенно оставались духовные.

— Никакъ отцы?—раздался хриплый голосъ.

Отъ воротъ отдѣлилась высокая, лохматая тѣнь, съ головой, напоминающей жбанъ, поверхъ котораго пригнулась скуфейка.

— Отцы! Отцы! Пророци и апостоли!—съ пьянымъ весельемъ бормотала тѣнь:—ахъ, какъ это хорошо, какъ пріятно! Волсви, иже со звѣздою... И посла Господь на утѣшеніе дьякону компанію лакому!

— Никакъ козловскій дьяконъ,—шепнулъ о. Иванъ о. Матвѣю:—надоѣстъ теперь!

Дьяконъ карабкался въ тарантасъ.

— Отцы! Отцы! Да никакъ знакомые! Кони Ивановы и бубенцы его! Гнѣздовскій батюшка?

— Онъ самый!

— Боже! Боже! О, радости пучино! А это кто? Отче Матвѣе, евангелисте благонравне! Ликуй, душа моя, веселися, плоть моя! Во имя Божіе... Благословите, отцы духовные, страждущаго діакона!

— Отъ запоя страждешь?—улыбнулся о. Иванъ.

Огромная голова дьякона уныло качнулась.

— Что запой!—перешелъ онъ въ мрачный тонъ:—былъ запой, какъ въ дьякона посвящали... Былъ запой, какъ жена померла! А теперь нѣтъ запоя... Пещь огненная: сколько не плечи въ нее водки, высыхаетъ! Ибо въ дѣтяхъ моихъ наказуетъ мя Господь...

Заслышавъ бубенцы, вышла встрѣтить пріѣзжихъ сама Скворчиха, „сдобная и сахарная“, какъ ее величало духовенство. Ворота гостепріимно распахнулись: появились работники и получили въ свое распоряженіе лошадей, которыхъ долго прохаживали по темной казначейской улицѣ. Гостямъ была предоставлена лучшая комната,—хозяйская зала съ обширными кипарисовыми сундуками подъ ковромъ,—свѣтлыми обоями и геранью на окнахъ. Почти слѣдомъ за ними необъятная работница внесла необъятный самоваръ и тотчасъ же явился черный хозяйскій котъ, заинтригованный движеніемъ.

Дьяконъ вошелъ вслѣдъ за батюшками.

При свѣтѣ лампы онъ оказался сухимъ, длиннымъ, мрачнымъ на видъ человѣкомъ, съ копною кудрей на головѣ, съ острымъ носомъ и будто испуганными глазами. Онъ впадалъ то въ мрачный, то въ веселый тонъ, — но веселый тонъ его производилъ жуткое впечатлѣніе, будто смѣялся удушенникъ. Весь онъ былъ полонъ безпокойства: то вставалъ, то садился, то пряталъ руки въ карманы, будто ища въ глубинѣ ихъ что-то позабытое, то неуклюже жестикулировалъ ими, такъ что тѣнь его ломалась и изгибалась.

— А что съ твоими дѣтьми, дьяконъ? — спросилъ о. Иванъ, умывшись и чистя пыльный подрясникъ.

— Младшаго-то, Андрюшку... изъ семинаріи гонять.

— За что?

— Извѣстно, за что гоняють... За храбрость!

О. Иванъ засмѣялся.

— Да ты чудишь, дьяконъ!

Дьяконъ взмахнулъ руками, растопыривъ пальцы и съежился, будто собираясь летѣть.

— Да я моего Андрюшку въ обиду не дамъ, не дамъ! — закричалъ онъ страстнымъ и измученнымъ голосомъ: — что они хотятъ сдѣлать изъ него! Такого же пьяницу-пропойцу, какъ отецъ вышелъ? Я къ владыкѣ пойду! Да я моего Андрюшку на тысячу Петровъ и Павловъ не смѣняю! Да я моего Андрюшку... Да Господи! Андрюшка мой!

Онъ сѣлъ на стулъ и опять вскочилъ съ него.

— Мать-покойница... умирала... Веди, говорить, его... Веди его, дьяконъ... Андрюшку-то... Выводи его! пусть, говорить, онъ... Не какъ мы... А у него сердце-то... Господи! Ну, что жъ... Ну, — видѣлъ онъ! Ну, — знаетъ онъ! Всѣхъ знаетъ, кто изъ бібліотеки эти книжки

натаскалъ. „Всѣхъ, — мнѣ-то говорить, — знаю, кто бралъ, кто читалъ,—потому добромъ, говорить, у насъ не даютъ и брать намъ негдѣ, а читать надо! Такъ выдавать развѣ товарищей-то?

— Ахъ, это по тому дѣлу!—сказалъ о. Матвѣй, заинтересовавшійся какъ слѣдователь:—о покражѣ книгъ изъ фундаментальной библіотеки? Громкое дѣло!

— Да вѣдь что украли-то? — кричалъ дьяконъ:— книги! Для чего украли-то? Читать! Намъ не давали, нашимъ дѣтямъ не даютъ!—Такъ зачѣмъ же и книги! Зачѣмъ ихъ печатаютъ? Зачѣмъ продаютъ? Зачѣмъ на полки ставятъ?

При каждомъ вопросѣ дьяконъ забрасывалъ кверху руки, точно собирався прыгнуть на трапещю и глаза его горѣли, какъ угли.

— Ложь! Ложь! Ложь! — выкрикивалъ онъ, какъ огромный воронъ, — худой и подстрѣленный:—всюду ложь! Всюду обманъ! И нѣсть мнѣ спасенія! Гни меня! Дави меня! Да за что дѣтей-то... малютокъ-то моихъ! Ихъ-то въ каменный мѣшокъ за что? А? Вѣдь они въ меня, въ меня! Въ академію хотѣлъ, Андрюшка-то. Въ художественную! Какъ, молъ, кончу... А теперь какъ же! Опять, значить, въ мѣшокъ... въ кабалу... въ духовное званіе! Куда изъ третьяго класса пойдешь! Я нищъ, я убогъ, я бѣденъ и нагъ... не могу дать средствъ... Рубашку бы отдалъ, да и та пропита! Отецъ! Отецъ! Я тебѣ рассказывалъ, какъ въ Питеръ ѣздилъ? Студентъ далъ двадцать пять рублей. У отца знакомые изъ купцовъ были,—посадили меня въ бычій вагонъ за второго погонщика! Съ быками ѣхалъ, полторы тысячи верстъ, зимой... Они на убой, а я учиться... въ художники хотѣлъ! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!..

Онъ схватился за животъ и перегибался отъ хохота. Но, казалось, не смѣется онъ, а мучается страш-

ною внутреннею болью. И жутко было слышать его смѣхъ, такъ онъ не шелъ въ лицу его, къ стиснутымъ зубамъ и горящимъ глазамъ.

О. Иванъ распахнулъ окно, куда тотчасъ ворвались звуки музыки:

— Хочешь чаю съ ромомъ, дьяконъ?—сказалъ онъ.

Дьяконъ вмѣсто отвѣта запѣлъ надтреснутымъ голосомъ:

Вѣдь и служить не мо-жетъ о-онъ,

Когда не выпьетъ р-ро-ома-неи!!

Пользуясь тѣмъ, что дьяконъ занялся ромомъ и принялся подробно рассказывать о. Матвѣю о покражѣ изъ библіотеки и о томъ, какъ „эти іезуиты“ хотятъ заставить сына его выдать товарищей,—о. Иванъ втихомолку вышелъ, привлекаемый звуками музыки и городского движенія. Онъ любилъ, бывая въ городѣ, бродить ночью по улицамъ, отдаваясь какимъ-то неяснымъ—не то стремленіямъ, не то воспоминаніямъ,—какому-то беспорядочному потоку мыслей и представлений. Такъ далеко, точно на иной планетѣ, заботы о хозяйствѣ, ссоры съ женой, дразги съ прихожанами. Точно и онъ не тотъ, а другой, иной какой-то, чужой тому о. Ивану, который бѣжалъ по полю, держа за хвостъ испуганнаго быка. И, вспомнивъ этотъ случай, о. Иванъ тихо и продолжительно засмѣялся.

Ночь была влажная.

Съ рѣки поднимался легкій туманъ. Сквозь туманъ тускло блестѣли огоньки Зарѣчья. Въ скверѣ слышалось непрерывное шуршанье, говоръ и смѣхъ гуляющихъ; въ оркестрѣ волторнъ выводилъ: „тор-ре-а-доръ“...

Въ небѣ горѣли звѣзды.

О. Иванъ, заложивъ руки за спину, вышелъ на площадь и, бросая черную и странную тѣнь въ отсвѣтъ электрической лампы,—то обгонявшую его, то отсту-

павшую,—прошелъ къ миниатюрному обелиску, воздвигнутому „благодарными жителями въ память освобожденія отъ воинскаго поста“. И остановился, задумавшись. Все ему казалось сказочнымъ при свѣтѣ электрическихъ лампъ: и зданія, и скользящія фигуры людей, и гремящій въ саду оркестръ. Гдѣ-то по троттуару гулко звучали шаги. Гдѣ-то за деревьями звучалъ женскій смѣхъ, что-то вродѣ поцѣлуя скользяло въ воздухѣ и ему послышался запахъ сирени.

Онъ глубоко втянулъ въ себя воздухъ.

Блѣдная фигура проститутки робко скользнула къ нему и испуганно отошла.

Онъ опять тихо засмѣялся.

Веселые и нѣжные образы замелькали въ мозгу его, неясные и манящіе на какую-то свѣтлоокую высоту.

Но случайно взгляды его упали на семинарію, и онъ вадрогнулъ, точно кто строгій заглянулъ ему въ самую душу наблюдающимъ окомъ.

Ему вспомнились слова дьякона:

— Эти іезуиты...

И онъ пристально всмотрѣлся въ семинарію, проходя взоромъ по ея уже темнымъ окнамъ, точно слѣпые глаза строго смотрѣвшимъ на него, вспоминая ея черные корридоры, низкіе и душные классы... Точно тѣнь огромная падала на него отъ семинаріи. На него и на его жизнь. И сама она стояла въ тѣни, бросаемой соборомъ, и въ тѣни этой она казалась громаднымъ ящикомъ, въ которомъ смутно гудѣло населеніе звѣрковъ, милыхъ и невинныхъ, съ покорностію невѣдѣнія склонявшихъ головы подъ вѣковымъ педагогическимъ молотомъ, высѣкавшимъ въ умахъ и сердцахъ ихъ... священные надписи могильныхъ плитъ, подъ которыми, отравленная углеродомъ, будетъ судорожно задыхаться грудь ихъ, всегда... всегда... и искалѣченные очи не

будутъ видѣть иной жизни, кромѣ жизни червей, сверлящихъ могилы. Вотъ здѣсь воспитывались о. Иванъ и о. Матвѣй и тотъ дьяконъ, который такъ походилъ на ворона.

О. Иванъ смотрѣлъ пристально на темныя стѣны, и ему представлялись фигуры воспитателей такими, какъ онъ ихъ помнилъ, далекими и чужими, — но, какъ соавѣдѣя въ гороскопѣ астролога, сыгравшими рѣшительную роль въ его жизни. Вотъ ректоръ... рыжеватый, проворный монахъ, съ свѣтлыми, впивающимися глазами, вѣчно бѣгающій съ заплетенной, какъ мышинный хвостъ, косичкой по длиннымъ и темнымъ корридорамъ, всюду внезапно появляющійся, чтобы водворить порядокъ и исчезнуть. Его мечтой было водворять порядокъ во всѣхъ сферахъ жизни, — въ умахъ, въ сердцахъ, въ поведеніи. Поймавъ кого-нибудь въ моментъ „преступнаго дѣянія“, напр. съ папирсой, онъ велъ, какъ на буксирѣ, виновнаго въ свою квартиру. И корридоры шептали:—„попалъ въ плѣненіе вавилонское“. Плѣненіе продолжалось иногда болѣе часу. Начиналось оно знаменитымъ:

— Ну-съ?

И плѣнникъ сразу начиналъ потѣть и корчиться.

Это ничего, что онъ курилъ. Всѣмъ извѣстно, что воспитанники курятъ и пьютъ. Но онъ долженъ это дѣлать такъ, чтобы не видали люди, потому что „на насъ“ и безъ того много нареканій.

— Мы — апостолы! Мы должны носить ризы чисты и бѣлы, дабы люди уважали насъ и шли на нашъ голосъ, какъ овцы на голосъ добраго пастыря. Наши же слабости, наши черныя пятна должны мы скрывать, ужъ если не можемъ отъ нихъ освободиться. Въ жизни долженъ быть строгій порядокъ!

Потомъ онъ начиналъ говорить о вредѣ куренія, хотя и самъ курилъ, что было всѣмъ извѣстно, — говорилъ долго и увлекательно, съ полнымъ знаніемъ дѣла, заинтересовывалъ плѣнника. И когда тотъ уже начиналъ чувствовать расположеніе къ лектору и утрачивалъ свою настороженность, внезапно начиналъ обвинять его во всѣхъ проступкахъ, какіе только случались въ семинаріи, говоря, что кто способенъ на малый проступокъ, способенъ и на большой, путалъ, сбивалъ, требуя сказать, кто сломалъ рѣшетку въ нижнемъ корридорѣ, чтобы уходить по ночамъ, — кто подобралъ ключъ къ фундаментальной библіотекѣ, — кто изобразилъ ректора на классной доскѣ въ видѣ монашествующаго осла. И горе тому, кто, оглушенный, запутанный, хоть отдаленно проговаривался: онъ становился среди товарищей на положеніе вѣчнаго фискала, бродя одиноко, какъ отверженный. И, слабодушный, мстя, онъ становился дѣйствительнымъ фискаломъ, любимцемъ и необходимымъ орудіемъ ректора.

Въ классѣ ректоръ былъ увлекательный рассказчикъ.

У него была своя теорія о землѣ и звѣздахъ.

— „Въ день страшнаго суда земля распадется на составные элементы. И такъ-какъ элементы земли въ то же время суть элементы тѣла, вся земля уйдетъ на воскресшія тѣла. И тѣла эти, воспріявъ свои безсмертныя души, разселятся по звѣздамъ сообразно славѣ ихъ“.

Такъ онъ толковалъ текстъ: „ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ“.

— Куда дѣнутся грѣшники? — спрашивали его.

— Будутъ бродить, какъ Каины, по мертвымъ планетамъ.

Его „фантазіи“ нельзя отказать въ величественности, — но нельзя не признать, что жертвы его воспи-

тательной системы могли попасть только на мертвыя планеты.

Преподаватель догматическаго богословія Высоковъ былъ въ другомъ родѣ. Онъ представлялъ собою мрачное, мистическое продолженіе ректора.

Черный, хмурый, требовательный, съ жестокой улыбкой ставившій единицы; человѣкъ всегда съ особымъ мнѣніемъ, не прощавшій въ теченіи года вины, совершенной въ началѣ года; — единственный высказывавшійся за исключеніе провинившихся, хотя бы весь педагогическій совѣтъ былъ за прощеніе, — Высоковъ поднимался въ самую глубь небесъ, выше ректорскихъ звѣздъ. — и видѣлъ тамъ лишь Бога мрачнаго, — Карателя, посылающаго съ незримаго престола только глады, моры, потопы, землетрясенія и всякія несчастія. Все горе, всѣ случайности жизни онъ объяснялъ наказаніемъ или попущеніемъ своего Неумолимаго Бога, всѣ радости ея — только искушеніемъ.

— Терпѣніе, — говорилъ онъ угрюмымъ и сдержаннымъ басомъ: — первая христіанская добродѣтель.

Его любовь къ Богу была любовью истерзаннаго раба, цѣлующаго плеть владыки, — о любви къ ближнимъ онъ говорилъ какъ о ненависти къ ихъ ошибкамъ, оскорбляющимъ Бога. Его небо было страшно, и мрачное краснорѣчіе его часто закрѣпляло въ робкихъ душахъ и узкихъ умахъ этотъ страхъ навсегда.

Съ этимъ страхомъ шли въ жизнь и распространяли его.

О. Иванъ невольно отвернулся отъ семинаріи, точно въ ея стѣнахъ, ея окнахъ и карнизахъ онъ различилъ черты лица Высокова.

И онъ съ отраднымъ вздохомъ вспомнилъ духовника, преподававшаго „гомилетику, сирѣчь науку о духовномъ краснорѣчїи“. О, этотъ былъ весь отъ земли.

Съ козлиной бородкой, слегка сутулый, добрый, съ безпѣтнымъ лицомъ и ласковымъ взглядомъ, духовникъ любилъ уменьшительныя имена существительныя: „козликъ“, „ватрушечка“, „шерстка“. Онъ недавно только, овдовѣвъ, перевелся изъ деревни и весь еще былъ полонъ воспоминаніями. Сильно потрепанный, опустившійся, съ сизымъ пористымъ носомъ,—онъ больше преподавалъ практическіе совѣты, нежели науку, о которой былъ невысокаго мнѣнія.

— Ты мужичка ублажи,—говорилъ онъ,—а онъ тебѣ сейчасъ... телушечку! Золотой онъ, мужичокъ-то... Умѣй только съ нимъ!

Онъ долго, ласково, монотонно говорилъ о „телушечкахъ“, „пѣтушкахъ“, „яичкахъ“, словно бредилъ и видѣлъ на яву золотые сны. И всѣмъ мерещились какія-то золотыя поля, по которымъ бродятъ мужички и разносятъ золотыхъ телушечекъ. Поборы рисовались въ поэтическомъ ореолѣ, всѣмъ хотѣлось поскорѣе туда... на эти золотыя поля!

И съ этимъ сномъ, съ этимъ бредомъ шли въ жизнь.

И на всѣ явленія ея смотрѣли сквозь сумбуръ могоильныхъ надписей и во всѣхъ страшныхъ драмахъ ея не могли разобраться. Натуры нѣжныя таяли и гибли въ мукахъ раздвоенности, между тѣмъ, что знали и что видѣли, натуры сухія черствѣли и ожесточались, натуры гордыя—отчаявались и кончали наглымъ презрѣніемъ къ себѣ, къ людямъ, ко всему святому.

О. Иванъ вздохнулъ и отвернулся.

На гауптвахтѣ медленно и торжественно пробило одиннадцать часовъ.

— О. дьяконъ! — грубовато обратился къ о. Ивану рослый человѣкъ въ фартукѣ, безъ шапки, со спутанными волосами: — не видалъ ли удаловской хозяйки? Сбѣжала, слышь... Скажи, сдѣлай милости!

— Я не знаю удаловской хозяйки!

— Ахъ, ты, братецъ.... Да ее весь городъ знаетъ! Чтобъ ее... Какъ вырвется изъ-подъ запору,—въ трахтеръ... Бьетъ ее хозяинъ-то. Онъ подрядчикъ, хояинъ-то... Удаловъ! Може слыхалъ? Богатый, — старинный подрядчикъ!—У него заводы! А хозяйка-то, вишь ты... не въ себѣ малость... Я, слышь, плотникъ у него... Пымай, говорить. Любовникъ, слышь, былъ у ей въ стары-те годы. Помялъ его Удаловъ... значить, до смерти... Съ того у ней и пошло... Ахъ, ты, чтобъ... Пойтить поискать еще въ „Плевнѣ“...

Онъ быстрымъ шагомъ ушелъ, стуча сапогами.

Тишина.

Опять поцѣлуй звучить и женскій смѣхъ носится въ воздухъ, здѣсь и тамъ, точно сверху падаютъ лепестки цвѣтовъ и задѣваютъ воздушныя струны. А въ скверѣ все ходятъ, ходятъ, и точно не могутъ никуда прийти. И ужъ оркестръ храбро зажариваетъ „Пляску мертвецовъ“, знакомую о. Ивану еще съ того времени, какъ онъ гулялъ здѣсь съ Павлинкой.

Онъ вспомнилъ Павлинку, вспомнилъ жену и, глубоко вдохнувъ и выдохнувъ воздухъ, началъ тихо прогуливаться по площади.

Что случилось въ его жизни?

Что-то непоправимое...

Словно вынули у него душу!

Ни съ чѣмъ у него нѣтъ настоящей, любовной связи: всему и всѣмъ онъ чужой и всѣ ему чужіе. И только вотъ здѣсь, въ этой тишинѣ, въ этомъ забвеніи, въ этой отдаленности отъ всѣхъ поглощающихъ мелочей,—онъ чувствуетъ и видитъ, какая постоянная, точащая, какъ ржа, тоска живетъ въ немъ. Тамъ гдѣ-то стога сѣна, поѣдающіе ихъ быки; прихожане, которымъ говорить онъ проповѣди по „троицкимъ лист-

камъ“ или „Путятину“, поѣвы, полосы, неисправные работники... Все это чужіе люди и онъ имъ чужой,—случайно къ нимъ попавшій по силѣ обстоятельствъ и волѣ начальства... Вся эта жизнь—чужая: въ ярмо ея онъ впрягся, не разсуждая, потому что, кромѣ этого ярма, передъ нимъ ничего не было...

И вотъ... жена!

Какъ онъ женился на ней? Зачѣмъ? Даже не спросилъ ее, хочетъ ли? Повезли его, смотрины сдѣлали... А онъ,—только-что кончилъ семинарію, былъ сильно выпивши. Все ему представлялось свѣтлымъ, всѣ люди — хорошими, съ радостными лицами. Обнимались, поздравляли... Вѣнчали! Онъ смотрѣлъ на бракъ, какъ на побочное обстоятельство, — главное было впереди... жизнь! Онъ даже слышалъ, что у этой высокой, немного блѣдной, немного гордой дѣвицы былъ романъ... Онъ даже видѣлъ слезы подъ ея вѣнчальнымъ вуалемъ, обильныя слезы, немного его оскорбившія, но онъ зналъ, что „всѣ невѣсты плачутъ“...

И потомъ... стали жить... И потомъ...

Не замѣчая, онъ ускорилъ шаги, точно заметался по площади.

Не понимаетъ онъ жену...

Чужіе они! Чужіе!

Павлинька... та другая! Та ближе ему! Если бы не Павлинька...

И ему казалось, что безъ Павлиньки міръ былъ бы для него пустыней! Что-то страшное безъ нея! Вотъ попадаья ревнуетъ... Да вѣдь онъ ее маленькой зналъ... малюсенькой... вотъ этакой... гимназисткой... въ коротенькомъ платьицѣ! Не онъ развѣ сваталъ ее за Матвѣя? Онъ любитъ ее? Конечно, любитъ... какъ хорошую женщину,—только! Какъ милую женщину! Развѣ это грѣхъ?! Да развѣ и можно ее не любить? Онъ ее понимаетъ...

и не вѣрить никакимъ сплетнямъ... Все вздоръ, клевета одна! Она чистая, чистая... славная! Вотъ пойдетъ онъ завтра и вернетъ ее... уговорить... Что скажетъ, то она и сдѣлаетъ!

Онъ ужъ сталъ разсуждать и руками, къ удивленію часового у гауптвахты, остановившись среди площади и вспомнивъ Павлинъкинo письмо.

— Вотъ и она, стало-быть... Несчастливая! А я думалъ... вѣдь Матвѣй хорошій человѣкъ! Да что это! Словно давить насъ въ жизни что, дышать мѣшаетъ... Тюрьма словно!

Вдругъ въ свѣтъ яркаго электричества, точно воплощеніе той жизни, о которой онъ думалъ, передъ нимъ встала женщина и, покачиваясь на нетвердыхъ ногахъ, забормотала плаксиво и жалостливо съ глуповатой улыбкой:

— Купецъ! Купецъ! Дай пьяницѣ копѣчку... Дай!

На ней былъ широчайшій капотъ, точно передѣланный изъ стараго стеганнаго одѣяла. Она въ немъ путалась,—онъ волочился по землѣ, пыли. По пьяному лицу ея бродила идиотская улыбка, она протягивала руки съ параличными пальцами.

— Я—Удалиха! Меня всѣ знаютъ! Дай, купецъ... Я отдамъ! Въ долгъ дай! Копѣчку! За мертвенькихъ выпью!

У ней слезы лились, а она улыбалась.

— За покойничковъ!

Пошатываясь и икая, точно всхлипывая, она вплотную подошла къ о. Ивану; онъ съ жуткой дрожью увидалъ ея черные, безумные глаза, круглые, какъ у совы, но темные, бездонные, какъ міръ невѣдомой скорби.

— А можетъ... и ты... купецъ... покойничекъ? И за тебя... выпью! Да, да! Только ты, смотри, не сказывай...

Она положила ему на грудь тяжелую, холодную, точно мертвую руку, опасно озираясь и шепча:

— Мужу-то... не сказывай! Всѣ померли... всѣ... и я!..
А онъ... живъ еще!

О. Иванъ досталъ монету и хотѣлъ ей дать, чтобы она ушла.

Вдругъ давешній плотникъ выскочилъ изъ переулка и, крадучись, дѣлая громадные и стучащіе скачки, бросился на нее.

— Услѣдилъ я те, пьяницу! Умаялся я съ тобой, анаемой... Онъ те, мужъ-то!

Взмахнувъ руками, Удалиха забилась въ припадкѣ, дико крича.

Плотникъ схватилъ ее и, какъ звѣрь съ добычей, поволокъ, точно мѣшокъ, набитый чѣмъ-то мягкимъ, но тяжелымъ.

На гауптвахтѣ медленно пробило двѣнадцать.

Тамъ стучали ружья, смѣняли часового.

Изъ садика летѣли звуки гремучаго нѣмецкаго марша „Mit Bomben und Granaten“...

О. Иванъ медленно пошелъ домой.

Тамъ дьяконъ, кончивъ ромъ, все еще горячо, зама- хивая руками, какъ воронъ, что-то повѣствоваль о. Мат- вѣю, у котораго было кислое и несчастное лицо.

— Ну, дьяконъ!—сказалъ о. Иванъ:—пора и честь знать, намъ спать надо!

Дьяконъ сразу стихъ и началъ прощаться. Лицо у него стало угрюмое и несчастное, и видимо ему не хотѣлось уходить куда-то за дверь, во тьму, на жертву своей тоскѣ и думамъ. О. Ивану стало жаль его.

— А что съ твоимъ старшимъ сыномъ, дьяконъ?—спросилъ онъ, чтобы смягчить свою невольную гру- бость:—давеча ты что-то такое говорилъ, что тебѣ въ дѣтяхъ не везетъ? Вѣдь старшій-то у тебя, кажется, въ Харьковѣ учится? Въ ветеринарномъ? Развѣ что и съ нимъ случилось?

Дьяконъ насупился и сталъ тяжело дышать.

— Сидить!—сказаль онъ:—по политическому...

О. Иванъ отшатнулся отъ него.

V.

На утро о. Иванъ собрался въ Зарѣчье. О. Матвѣю онъ велѣлъ дожидаться его до трехъ часовъ на квартирѣ, а потомъ идти къ Рудометову.

— Я сейчасъ къ Григорію Петровичу трахну!—говориль онъ.—Ужъ вотъ есть у меня такая увѣренность, что Павлинька у отца! Я, братъ, ее знаю! Ну, а если, паче чаянія, что-либо подобное справедливо... что люди болтають насчетъ рудометовскаго племянника, — что Богъ дастъ,—насядемъ на протоіерея! Онъ племянника на днѣ моря сыщеть и сообразно положенія дѣлъ воздѣйствуетъ!

О. Матвѣй вздохнулъ и покрутилъ своей маленькой головкой.

— Кабы Богъ-то далъ!

— А ты уповай!

Облачившись въ новую черную рясу и совершенно неидушую къ ней порыжѣлую, пропыленную шляпу, о. Иванъ торжественно направился по казначейской улицѣ въ Зарѣчье, вызвавъ своимъ видомъ удивленіе какого-то тощаго мѣщанина, который долго смотрѣлъ ему вслѣдъ, потомъ плюнулъ и злобно сказалъ:

— Коло-ко-лья!

Перейдя широкій, длинный понтонный мостъ, о. Иванъ углубился въ грязныя, узкія улицы Зарѣчья. Онѣ были пустыни. Населеніе разбрелось по заводамъ, фабрикамъ, базарнымъ прилавкамъ; ребяташки еще не повылѣзли изъ норъ своихъ, чтобы барахтаться въ лужахъ, зеленыхъ, никогда вполнѣ не

просыхавшихъ. Это безлюдье, напоминавшее пустыньность кладбища, отѣняло всю покривившуюся, лохматую, неуклюжую убогость построекъ. Только одинъ новый и бѣлый флигель, какъ король съ трона, посматривалъ гордо съ высокаго фундамента на убогихъ сосѣдей.

О. Иванъ зналъ его.

Красный фонарь у его входа былъ потушенъ и, скрипя, качался отъ вѣтра. У крыльца стояли дрожки. Два дюжихъ молодца сажали въ нихъ поношенное пальто, въ которомъ, если что и было, то такъ съѣжилось и сжалось, точно призрачное счастье при свѣтѣ дня.

— Кто это?—строго спрашивалъ усатый полицейскій.

— Гости!—отвѣчалъ одинъ изъ молодцовъ.—Удаловскій приказчикъ, Иванъ Прокофѣичъ съ мыльнаго. Третій день. Совсѣмъ слабый человѣкъ! На фатеру надо... хорошій человѣкъ-то! Вишь дочъ у него пошла... по этой части... съ Удаловымъ! Онъ съ тѣхъ поръ...

Пальто молчало.

Его сажали, а оно валилось на сторону, точно всѣ кости его размякли отъ счастья жизни или, кто-то наступивши, раздавилъ его.

Узкій, безобразный переулокъ, возбуждавшій тоску даже въ бродячей собакѣ, которая сидѣла у длиннаго, забрызганнаго грязью забора и выла, поднимъ къверху голодную морду,—вывелъ о. Ивана къ широкому полю, изрытому по всѣмъ направленіямъ. Кучи и груды глины напоминали поспѣшно набросанныя могильныя насыпи. На границахъ этого глинорытнаго поля чернѣли длинныя, покрытыя копотью строенія, напоминавшія корридоры. О. Иванъ хорошо ихъ зналъ: это были удаловскіе кирпичные сараи. Возлѣ нихъ краснѣли кладенцы только-что обожженнаго кирпича. Среди сараевъ,

какъ кровля храма, возвышалась громадная черная крыша надъ гигантскою печью, въ которой обжигались кирпичи. Сквозь щели ея еще валилъ густой дымъ, точно дыханье чудовища, красная пасть котораго бросала изъ-подъ крыши багровые отсвѣты на поле. А между тѣмъ и поле, и постройки были безлюдны: нигдѣ не виднѣлось ни единой живой души.

За угломъ переулка, окнами на кирпичные сараи, стоялъ веселый домикъ, бѣлый, съ яркой зеленой крышей, съ палисадникомъ, въ которомъ зеленѣли акаціи. Всѣ пять оконъ его были распахнуты; въ нихъ виднѣлись цвѣты и слегка трепещущія отъ вѣтра кисейныя занавѣски. На парадной двери сіяла ярко-вычищенная мѣдная дощечка съ надписью; „коллежскій ассесоръ Григорій Петровичъ Перехватовъ“.

Изъ оконъ плыли звуки гитары и тихій напѣвъ.

О. Иванъ узналъ голосъ Павлиньки.

Молоденькая служанка сначала спросила;

— Кто тамъ?

А потомъ отворила ему, улыбаясь какъ-то загадочно, и онъ, пройдя за нею темныя сѣни съ гладкимъ крашенымъ поломъ, вступилъ въ крошечную переднюю, гдѣ снялъ рясу, тяжело отдуваясь и отирая лобъ большимъ краснымъ платкомъ.

Вошелъ въ залу.

Точно съ грязной, вонючей палубы потрепаннаго бурею корабля спустился онъ въ капитанскую каюту. Тутъ былъ міръ уюта, тотъ тихій уголокъ мѣщанскаго довольства, какой можно отыскать у старыхъ заштатныхъ чиновниковъ, десятки лѣтъ свивавшихъ гнѣздо, — гдѣ мечтали они мирно умереть послѣ жизни, которую старались прожить настолько „честно“, чтобы и на томъ свѣтѣ получить такое же довольство. Все тутъ пригонялось десятки лѣтъ, все сотни разъ переставля-

лось и примѣялось, прежде чѣмъ встать такъ какъ стояло, всякая вещь имѣла свою исторію и свои воспоминанія, такъ что трудно было сказать: хозяинъ ли имѣлъ всѣ эти вещи, или вещи имѣли хозяина; онъ ли держалъ ихъ въ плѣну, или онѣ его. Точно красивая мечта, реализовавшаяся и застывшая въ неподвижныхъ формахъ. стояли тутъ старинные, немного неуклюжіе стулья у оконъ, сквозь бѣлыя кисейныя занавѣски которыхъ свѣтъ мягко ложился на листья олеандровъ, китайскихъ розъ, фикусовъ и туй, годами выросавшихъ въ тепличной обстановкѣ комнаты; на крытыхъ скатертями столикахъ въ простѣнкахъ стояли лампы подъ краснымъ абажуромъ; лежали альбомы, въ которыхъ еще сохранялись выпѣвшія фотографіи какихъ-то особъ въ фижмахъ и кринолинахъ. Въ углахъ стояли этажерки съ бездѣлушками или старинными журналами. На стѣнахъ и простѣнкахъ въ изобиліи висѣли снимки цѣлаго племени чиновниковъ, группами и въ одиночку: коллежскіе секретари съ меланхолическими лицами перемежались здѣсь съ секретарями губернскими. Всѣ вмѣстѣ окружали какой-нибудь строгій, благообразный бюрократическій ликъ, въ свою очередь съ оттѣнкомъ почтительности улыбавшійся какому-нибудь еще болѣе строгому и благообразному лику. Точно цѣлое полчище чиновниковъ снискало адѣсь себѣ пріютъ среди окружающаго моря бѣдности и стонущаго труда.

У изразцовой печи на черномъ клеенчатомъ диванѣ сидѣла Павлинька, перебирая струны гитары.

Ее обливалъ мягкій свѣтъ солнца, играя на бѣлизнѣ печи. Она сидѣла, положивъ ногу на ногу, точно пѣвица на ресторанной эстрадѣ. Голова ея была нѣсколько ухарски откинута назадъ, углами губъ она держала папиросу, едва закуренную и давно потухшую. Лицо

у Павлиньки было миловидное, необыкновенно бѣлое, по-дѣтски пухлое; въ сѣрыхъ глазахъ вспыхивали и гасли задорныя искры; мелкія, мягкія кудри оттѣняли бѣлизну красиваго и умнаго лба; точно карминомъ накрашенныя губы бороздила насмѣшливая улыбка, но въ углахъ ихъ залегло что-то горделивое и въ то же время горькое, точно таилась тамъ строгая мысль, которую она гнала отъ себя, съ беззаботно вызывающимъ видомъ откидывая голову.

Увидавъ о. Ивана, она полууронила гитару.

Глаза ея потемнѣли.

Но тотчасъ яркая, нѣжная краска облила лицо ей, и точно искры смѣха брызнули изъ глазъ. Отбросивъ гитару, кинувъ куда-то папиросу, она вскочила, живая, какъ огонь.

— Какъ я рада!—говорила она.

Она взяла его за обѣ руки.

— Я думала... папа! А это вонъ кто! Иванъ Васильчъ! Вотъ ужъ не ожидала! Никакъ не ожидала! Какъ кстати! Боже мой, какъ кстати! Голубчикъ мой, знаешь что: сегодня непременно, непременно пойдемъ на музыку,—какъ бывало... Хорошо? Мнѣ такъ о многомъ надо поговорить съ тобою!

Замѣтивъ, что о. Иванъ съ необыкновеннымъ удивленіемъ смотритъ куда-то въ уголъ, она прослѣдила его взглядъ, увидала окурокъ папиросы и еще веселѣе и задорнѣе расхохоталась.

— Ты куришь?!—сказалъ о. Иванъ.

Она со смѣхомъ прогѣла ему:

— Э-ман-си-па-ція!

И принялась кружить его по комнатѣ.

— Какъ я рада! Какъ я рада!

— Да что съ тобою?—нахмурившись и съ недоумѣніемъ посмотрѣвъ на нее о. Иванъ:—какая-то ты... не

своя ровно! Солидная особа, матушкой называешься... а точно дѣвочка!

Она оставила его, бросилась на диванъ, откинувъ голову на спинку, пунсовая, тяжело, со смѣхомъ дыша и смотря за окно на солнце.

— Посмотри! Солнце въ окно смотреть! Точно первый разъ вижу его! Солнце! Милое солнце! Какое яркое! Какимъ зноемъ, какую радостью вѣть отъ него!

Задумчивое выраженіе медленно легло на ея лицо, и краска съ него сбѣжала.

— Иванъ Василичъ, я вѣдь... отъ Матвѣя - то уѣхала.

— Знаю,—сказалъ о. Иванъ.

Она рѣзко выпрямилась.

— Знаешь? Откуда знаешь? Что знаешь?

И вдругъ горько и презрительно засмѣялась.

— А-а! Посланникъ! Понима-а-ю!

— Я все знаю! И письмо твое читалъ. И... съ кѣмъ ты уѣхала знаю!

Она хмурилась и внимательно смотрѣла исподлобья.

— А если бы и такъ? Что же?

Онъ не смотрѣлъ на нее.

Сѣлъ рядомъ съ нею.

— Слушай, Павлинька! Вотъ тамъ разное такое, понимаешь... словомъ, рта не закроешь никому! И Матвѣя... И въ нашемъ селѣ болтаютъ... А я вотъ все-таки... Ты мнѣ... скажи по чистой совѣсти... по душѣ!

— Что?

Онъ затруднялся, какъ выразиться.

— Да вотъ, будто... если ты ѣхала съ... съ этимъ... какъ его... такъ вотъ онъ... словомъ, есть между вами что-нибудь?

Она молчала, а онъ ждалъ, отвернувшись

Что-то упорное, дерзкое прошло по ея лицу. Минуту она словно колебалась, что отвѣтить, и вдругъ сказала рѣзко и отчетливо:

— Нѣтъ!

Онъ разомъ повернулся къ ней, сіяя.

— Ну, вотъ! Ну, вотъ! Я такъ и зналъ!.. — заговорилъ онъ горячо:—я вѣдь знаю, ты... порохъ пороховичъ! Ну, что-нибудь тамъ не по тебѣ, сейчасъ ты... Сумасбродка ты! А вѣдь, голова и сердце у тебя хорошія... ей-Богу! Да что! Да развѣ бы повѣрилъ я когда всѣмъ этимъ розсказнямъ! Да я бы, можетъ быть, про себя всякой пакости повѣрилъ, а про тебя... никогда!

У нея вадрогнули губы.

— Никогда? Не повѣрилъ бы?

Онъ даже вспыхнулъ весь.

— Нѣтъ! И знаешь что! Я такъ и Матвѣю сказалъ: пустое! И письмо... и уѣхала! Сгоряча она! Скучно ей. Да вѣдь что же... Всѣмъ намъ... скучно! Ужъ такъ живется! Не думай, говорю, вернется она! И вотъ... шелъ я сюда, и зналъ, что ты тутъ. Чувствовалъ, что ты тутъ! Знаешь, у меня чутье есть... Чему ты смѣешься? Такъ вотъ... иду, и чувствую, что ты тутъ! И думаю: вотъ скажу ей... Вернись, Павлинька! Вернись къ Матвѣю! Утиши свое горячее сердце!

Онъ мягко смѣялся.

— Скажу ей такъ... И вернется!

Онъ ласково взялъ ее за руку.

— Правда? Вернешься?

— Въ склепъ?—рѣзко сказала она выраженіемъ письма.

Онъ возбужденно всталъ съ дивана.

— Чего ты ищешь? Чего тебѣ надо?—вскричалъ онъ:—какой ты жизни хочешь? Такой жизни, какой не бываетъ? Того, чего нѣтъ? Да посмотри вокругъ! Всѣ

всѣ, всѣ такъ живутъ! Ты еще счастливѣе другихъ. Матвѣй человѣкъ умный... достойный! Онъ уже теперь въ слѣдователи избранъ! У него хо-о-рошая голова! Онъ, братъ, пробьетъ себѣ дорогу,—да-а! И приходъ у васъ хорошій! И домъ—полная чаша! Захотѣтъ тебѣ стоять, будетъ у васъ согласье, любовь, миръ,—веселіе! Тебѣ на жизнь радоваться надо! А ты вотъ пишешь въ письмѣ... Зачѣмъ такія слова? Зря! Зря!

Разсуждая руками, онъ ходилъ по комнатѣ.

— Погляди... всѣ мы живемъ! Не всегда сладко, конечно, не всегда ужъ такъ вотъ, загонъ къ загону, чудесно! То же и мысли, и горести... и неудачи! И тоска... Все бываетъ! А живемъ! Она вся, жизнь-то, такая! Развѣ нами установлено? Мы... что? Мы, какъ волю впряженные... тянемъ! И всѣ вокругъ тянутъ сію колесницу, ей же имя жизни! И терпимъ... что подѣлаешь. Не нами положено! Сверху это, отъ Бога! Ежели и тяжело... терпи! Удѣлъ человѣка на землѣ—терпѣніе. Не такъ ли? А ты вотъ... рвешься куда-то! Куда? Чего тебѣ надо? Чего ты ищешь? Оттого и тоска у тебя... Невѣдомо чего хочешь! Кровь у тебя горячая... мечтательница ты, вотъ что!

Пока онъ говорилъ, она слушала его съ какимъ-то покорнымъ видомъ безсилія, уронивъ руки на колѣни. И мало-по-малу то горькое, что таилось въ складкахъ губъ ея, разлилось по лицу, точно отблескъ сѣраго, угрюмаго дня.

— Мечтательница!—тихо усмѣхнулась она: — такъ чего же ты хочешь отъ меня? Ну, вотъ... вернусь я... буду шерсть собирать, ссориться съ работницами, буду куръ щупать, буду яйца считать, къ попадьямъ на тройкахъ ѣздить, сплетничать съ ними... величаться передъ ними модной шляпкой, шелковой юбкой. Буду на фор-

тепьяно по цѣлымъ днямъ Штрауса играть... ну... А потомъ что?

Онъ молча смотрѣлъ на нее, удивляясь такой картинѣ жизни.

— Пересчитаю всѣ яйца, пересчитаю всѣхъ куръ... переиграю всѣ вальсы... А потомъ что? Неужели такъ всю жизнь?! Годъ за годомъ?! Вотъ старѣть буду... морщины по лицу пойдутъ, глаза будутъ тухнуть... Очки куплю, и все буду куръ щупать, яйца считать... играть вальсы... на тройкахъ ѣздить...

Онъ молчалъ, самъ подавленный такою перспективой, не находя словъ, и не умѣя ихъ найти.

— Дѣти будутъ!—сказалъ онъ.

Она вскочила съ дивана съ испуганнымъ лицомъ и страстно вскричала:

— Нѣтъ, нѣтъ! Не дай Богъ!! Не надо!!

И такъ ясенъ, такъ понятенъ былъ ему этотъ ужасъ ея, что онъ молчалъ.

Еще взволнованная своимъ порывомъ, захваченная потокомъ мыслей, забившихся въ головѣ ея отъ этого таинственного и страшнаго слова „дѣти“, она прошлась по комнатѣ, съ руками за спиной, съ растеряннымъ лицомъ.

— Не надо, не надо!—повторяла она:—избави Богъ! Я и то боюсь, страшно боюсь этого! Зачѣмъ мнѣ дѣти? Что я имъ дамъ? Когда въ каждомъ словѣ своемъ буду видѣть обманъ? Нѣтъ, нѣтъ... И ужъ меня они безнадежно навѣки вѣчные свяжутъ...

Она нервно сжалась.

Всѣ черты лица ея, недавно такъ возбужденно-задорнаго, приняла строгія очертанія, какія кладетъ только мысль, упорно гонимая, но настойчивая.

Она подняла съ полу свой окурокъ.

— Я, какъ окурокъ этотъ!—сказала она, жалко улыбаясь.—Выкурилъ меня кто-то... и бросилъ! Въ сорную яму! Да если я человѣкъ, а не окурокъ? Если я понимаю, что въ сорной ямѣ лежу? Вотъ начини этотъ окурокъ порохомъ, зажги его... вспыхнетъ, полетитъ невѣдомо куда... такъ и я!

О. Иванъ поднялъ голову.

— Что ты хочешь сказать этимъ?

Она опять опустилаcь на диванъ, смотря за окно съ тоскою на лицѣ.

— Я понимаю, что я... въ сорной ямѣ! И дѣваться некуда мнѣ... Вотъ я переполнилась отчаяніемъ, схватилась, написала письмо... ушла! И солнце сверкало, и день былъ ясенъ! А вотъ пришелъ ты и говоришь: нѣтъ солнца, нѣтъ дня! И я не знаю, что отвѣтить тебѣ! Приѣхала въ городъ... точно изъ одной ямы легла въ другую. Ну что я здѣсь? Зачѣмъ я? Нужна я кому? Ну, вотъ я выйду на улицу... а тамъ что? Куда я, такая маленькая, такая ничтожная, пойду? Что сдѣлаю?! И потомъ вся эта обстановка. Она въ дѣтствѣ мнѣ милой казалась! А теперь гнететъ меня! Точно прутья какіе... смотришь изъ-за нихъ на свѣтъ Божій... и ни шагу! Ушла я отъ этого... и никуда не пришла!

Она, вдругъ крѣпко сжавъ руки, вскричала, обернувшись къ нему:

— Да развѣ я сама-то, сама не знаю, что мнѣ некуда дѣваться!

О. Иванъ не смотрѣлъ на нее.

— Такъ, стало-быть... вернешься?—медленно спросилъ онъ.

Онъ ужъ съ унылымъ видомъ ждалъ отвѣта, точно тайно страхась его.

За окномъ слышались голоса.

— Папа идетъ!—сказала Павлинька:—кто бы это съ нимъ? Какая-то женщина.

О. Иванъ выглянулъ въ окно.

И опять поразила его пустынность глинорытного поля. Гигантскими гробами чернѣли длинные, пустые сараи; точно могилы для нихъ темнѣли ямы. За ними вытягивались кверху фабричныя трубы, какъ грозящіе пальцы. Много разъ видѣлъ о. Иванъ эту картину, но полною жизни, когда трубы извергали дымъ и копоть, а подъ крышами сараевъ и по полю копошились черные люди, среди гари, осѣдавшей на нихъ изъ огромной печи, гдѣ обжигались кирпичи, въ то время, какъ отъ завода доносились звуки, напоминавшіе вздрагиванія цѣпи. Ему почудилась бродящею по этому безлюдью удаловская хозяйка.

— Отчего здѣсь такая пустынность? — спросилъ онъ.

— Стачка у рабочихъ,—отвѣчала Павлинька, уходя навстрѣчу отцу.

Въ комнату вошелъ Перехватовъ, съ нимъ молодая дѣвушка.

Средняго роста, сутулый отъ долгаго сидѣнья на казенныхъ стульяхъ, Перехватовъ имѣлъ степенный и солидный видъ пожилого чиновника въ отставкѣ. Лицо его походило на изсохшій пергаментъ стариннаго „отношенія“, глаза смотрѣли какъ полустертыя буквы.

— Какую я гостью-то хорошую привелъ, Павочка!— Знакомьтесь-ка! Купеческая дочка! Широкозадова, Александра Порфирьевна! Аристократка чистой крови...

Онъ сказалъ это съ легкимъ подобострастіемъ и тотчасъ обернулся къ о. Ивану.

Александра Порфирьевна здоровалась съ Павлинькой...

— Не вѣрьте! Я—демократка, — говорила она съ улыбкой.

Въ темномъ коричневомъ платьѣ, плотно облегавшемъ ея высокую, стройную фигуру съ немного гордо посаженной головой, въ соломенной шляпкѣ безъ украшеній, она просто здоровалась, просто говорила, прямо смотря въ глаза своими большими, спокойными, темными широкозадовскими глазами, мутнѣвшими, когда она задумывалась. При разговорѣ въ нихъ блескѣлъ умъ и спокойная увѣренность.

— Это у меня изъ гимназическаго платья передѣлано!—сказала она на безмолвный вопросъ Павлиньки, заинтересовавшейся матеріей.

— Вы въ здѣшней гимназіи учились?

-- Да. А вы?

Павлинька зарумянилась.

— Я только четыре класса кончила...

— Что же это вы?

— Непріятности вышли... Изъ-за дѣвочки одной, еврейки... Дезорцевой. Ухитрилась я самой директрисѣ нагрубить..

— Постойте! — встрепелась Александра Порфирьевна.—Я съ Дезорцевой подруга! Она на годъ раньше кончила. Такъ это она о васъ вспоминала столько разъ! „Притѣснять ребенка изъ-за того только, что онъ не нашего племени... подло!“ — Какъ это было хорошо сказано!

Павлинька растроганно и благодарно посмотрѣла на собесѣдницу.

— Неужели это я сказала? Господи! Какъ это давно было.

И, проникаясь довѣріемъ, она спросила:

— Что же вы теперь думаете дѣлать? Неужели замужъ... такая молоденькая?

— Во-первыхъ, я не молоденькая! — сказала Александра Порфирьевна:— васъ обманываетъ моя наружность. Мнѣ уже двадцать два года, а я еще ничего не знаю.

— Что же вы хотите знать?

— Ахъ, мало ли нужно знать! Хочу знать жизнь, изучить ее, подготовиться къ ней, чтобы исправлять и творить ее сознательно! Хочу быть полезнымъ членомъ общества, того новаго общества, которое нарождается въ міръ. А для этого нужно знать много, учиться надо! По осени поѣду въ Петербургъ, въ институтъ. Если не удастся туда попасть, за границу уѣду.

Павлинька пристально смотрѣла на нее.

— И васъ отецъ пускаетъ?

Александра Порфирьевна помолчала.

— Нѣтъ. Не пускаетъ.

— Такъ какъ же вы?

— Все равно уѣду!—сказала она и быстро спросила:—а вы... чѣмъ занимаетесь?

— Чѣмъ я занимаюсь? — смущенно засмѣялась Павлинька:—да я... просто замужемъ... за священникомъ.

Александра Порфирьевна слегка нахмурилась и мелькомъ взглянула на о. Ивана.

— Я не люблю,—сказала она,—священниковъ. Они служатъ злу!

Павлинька вскинула и посмотрѣла на нее удивленными глазами, что-то хотѣла спросить, но въ это время Перехватовъ сказалъ ей:

— Павочка!—а ты угостишь насъ чайкомъ?

Сейчасъ.

Она вышла въ столовую... Перехватовъ продолжалъ говорить, обращаясь теперь и къ Александрѣ Порфирьевнѣ.

— Старичку скучно одному. Старичекъ и говорить себѣ: поступлю-ка въ заводскую контору, къ Удалову... цифирь дѣло знакомое! Слава Господу Богу,—тридцать пять годиковъ въ казенной палатѣ за цифирью сидѣть, даже скучно безъ нея! Ходишь ли, говоришь ли, а все цифирь передъ тобою... И даже, стариновское дѣло, не спится иной разъ ночью,—такъ что бы вы думали, сударь мой? Такъ она, цифирь-то передъ глазами и мельтешить!

— Привычка—святое дѣло!—почему-то въ октаву сказалъ о. Иванъ, смущаясь подъ гнѣвательнымъ и, какъ ему казалось, враждебнымъ взоромъ Александры Порфирьевны.

— Да-съ, привычка-съ!—горячился Перехватовъ:—когда такъ вотъ, въ теплѣ да въ уютѣ, тридцать пять годиковъ просидишь... А тутъ третій мѣсяцъ служу,—и уже второе противозаконіе переживаю! Не привыкъ-съ я къ нынѣшнему народу, сударь мой... Да и привыкать не желаю... старъ-съ! Во-первыхъ, самъ Удаловъ, между нами сказать, баринъ мой, мужланъ-съ! Тутъ стачка-съ, сударь мой, тутъ нужна хозяйственная власть-съ, а онъ вторую недѣлю на запойной линіи состоитъ. Главноуправитель... изъ нѣмцевъ. Колбаса-съ! Колбаса-съ! Я ему говорю:—тутъ говорю, Генрихъ Карловичъ, твердое хозяйское слово нужно... ласка-съ и убѣжденіе нужно, потому люди вправѣ себѣ прибавки требовать, и слѣдуетъ ихъ въ нецѣлесообразности сего убѣдить, отнюдь же не гайгакать! А онъ ужъ съ утра бочку пива выглохталъ...

Перехватовъ замоталъ руками и головой.

— Откажусь, безпокойно-съ! Вотъ того и гляди сюда

привалать! Въ казенной палатѣ—рай-съ! Тамъ цифирь... спокойно! А тутъ люди-съ... и пребезпокойные люди-съ! А я старъ-съ... старъ-съ, сударь мой! Въ наше время, когда я домикъ этотъ себѣ воздвигалъ, тутъ этихъ трубъ еще не было... Прimitивная пустыньность распро-странялась... и было спокойно-съ, баринъ мой!

— Спать было хорошо? — улыбнулась Александра Порфирьевна.

— Спать было великолѣпно! — горячо подхватилъ Перехватовъ, хотя и удивившись немного странности вопроса.

Но о. Иванъ понялъ ее иначе и засмѣялся.

— А вы, барышня,—подсѣлъ онъ на диванъ, — не Порфирія ли Власыча дочка?

Она слегка отодвинулась.

— Да, я его дочь,—поспѣшно сказала она:—а я къ вамъ, Григорій Петровичъ, какъ разъ по поводу этихъ безпокойныхъ трубъ пришла. Собрали мы въ городѣ библіотечку для рабочихъ...

— Вы съ папашей?

— Нѣтъ, безъ папаши... Помѣщенія у насъ побли-зости совершенно нѣтъ. На заводѣ нельзя, у рабочихъ неудобно. Вы бы могли выдавать книги, какъ изъ собственной библіотеки, потому что находитесь въ по-стоянномъ общеніи съ рабочими.

— Осмѣлюсь спросить... А какъ вашъ папаша на это смотритъ?

Александра Порфирьевна сдѣлала комическую гримасу, взглянувъ на о. Ивана.

— Почему въ этомъ домѣ меня все о папашѣ спра-шиваютъ? Папаша, Григорій Петровичъ, самъ по себѣ, я сама по себѣ. Я не маленькая! Могу поступать са-мостоятельно. Мнѣ уже двадцать два года... Съ осени курсисткой буду!

— И волосы острижете? — добродушно улыбнулся о. Иванъ.

Александра Порфирьевна строго взглянула на него.

— Какія у васъ пошлыя мысли!

Онъ вспыхнулъ, смущенно опустивъ голову.

— Вонъ что-съ, вонъ что-съ! — говорилъ въ безпокойствѣ Перехватовъ. — Я, конечно... Но почему, осмѣлюсь спросить, вы ко мнѣ обратились?

— Я много слышала о васъ отъ присяжнаго повѣреннаго Левандовскаго.

— Ахъ, Павелъ Степанычъ... Ахъ, сударь мой... Какъ же, какъ же! Мы дружки съ нимъ! Такъ какъ же мнѣ съ вами быть? Вы меня врасплохъ захватили... Я, конечно, радъ... Но вѣдь нынче времена такія безпокойныя, а библіотека дѣло не шуточное... опасное!

— Вы боитесь? Во-первыхъ, изъ собственной библіотеки вамъ никто не можетъ запретить выдавать книги, а во-вторыхъ, вы же не дорожите службой...

— Матинька моя! Я старъ-съ... старъ-съ для вашихъ затѣй... Помилуйте! Да и что вамъ вздумалось хлопотать о такихъ вещахъ...

— Папа! Чай готовъ! — сказала изъ столовой Павлицыня.

— Ахъ, вотъ хорошо! — обрадовался Перехватовъ: — пожалуйста, господа.

— До свиданья! — встала Александра Порфирьевна.

— Нѣтъ ужъ, это у насъ такъ не полагается... чайку откушайте! Прошу-съ, прошу-съ... не побрезгуйте старикомъ! Помилуйте! Дочка Порфирія Власовича... Я радъ, я весьма радъ видѣть васъ въ домѣ своемъ...

И, пропуская ее въ столовую, онъ говорилъ отцу Ивану, но такъ, что это слышала и Александра Порфирьевна:

— Широкозадовская кровь! Они всё такіе, Широкозадовы, баринъ мой... кремни-съ!

Въ уютной столовой, полной цвѣтовъ, а по стѣнамъ портретовъ и олеографій въ цвѣтныхъ и золоченыхъ рамкахъ,—когда всё усѣлись за столъ, и Павлинька разлила чай, она близко подсѣла къ Александрѣ Порфирьевна и сказала ей, улыбаясь:

— Вы мнѣ очень нравитесь!

Та серьезно посмотрѣла ей въ глаза.

— Вы мнѣ тоже!

— Расскажите ка мнѣ о Дезорцевой, гдѣ она, что съ нею? Она вѣдь тогда была маленькая, въ приготовительномъ классѣ, чуть помню ее: кудряшка такая, глаза—миндалинны... Вся тоненькая... Я ее ужасно любила! А выговоръ былъ у ней... потѣшный! Бывало подойдетъ ко мнѣ: „не хотите-ли пи-г-ошка?“ А я хохочу и цѣлую ее... смѣшная! До директрисы дошло о нашей дружбѣ, призвала меня: „вы дочь хорошихъ родителей, христіанка... вамъ быть въ дружбѣ съ еврейкой предосудительно“.

— Какая подлость!—вскричала Александра Порфирьевна, заалѣвъ.—Какое право имѣютъ эти ханжи и тупицы презирать національность, которая дала міру лучшихъ людей! Всё эти Спинозы, Лассали, Марксы, всё, кто двинулъ впередъ общественность, науку, искусство, кто страстно боролся за идеалы... евреи. Они дали міру потрясающія сердца идеи, они влили и продолжаютъ вливать въ міровой оборотъ волны энергіи! И кто больше нихъ вынесъ несправедливостей изъ-за какой-то легенды, историческаго фантома, созданнаго мрачнымъ прошлымъ! Нѣтъ, нужно обладать умомъ, темнымъ какъ ночь, сердцемъ тверже камня, чтобы относиться къ евреямъ такъ, какъ эти самодовольныя тупицы! А вѣдь они несутъ свою нена-

висть на улицу, дѣлають жизнь евреевъ невыносимою, травяють ихъ, создаютъ антиеврейскую политику съ погромами и убійствами! Сколько еще нужно работать, чтобы искоренить въ человѣкѣ звѣря, тупого, самодовольнаго!

— А это можно?—сказала Павлинька, жадно слушавшая ее:—уничтожить въ человѣкѣ звѣря?

— Вся исторія ведетъ къ тому, — уже спокойно и твердо сказала Александра Порфирьевна:—все человѣческое культивируется, со всѣми звѣрскими пережитками старины, вплоть до общественныхъ и государственныхъ,—идеть упорный бой!

— Гдѣ?—наивно подняла Павлинька брови.

— Вездѣ!—разсмѣялась Александра Порфирьевна:—оглянитесь вокругъ внимательно. Развѣ вы не слышите, какъ вокругъ васъ творится исторія?

Она поймала недоумѣвающій взглядъ о. Ивана и сердито поведя бровями, отвела глаза.

— У стараго міра — сказала она, — много защитниковъ. Но побѣдятъ тѣ; кто отрѣшился отъ него!

— Нѣтъ, я вамъ вотъ что скажу; сударь мой, кому только богатства въ руки достаются! Кому, баринъ мой?—ораторствовалъ Перехватовъ:—Удаловъ старикъ сопьется, это несомнѣнно... Да уже и спился! Несчастная супруга его... уже ей ничего въ сей юдоли не требуется: мертвой себя почитаетъ еще въ живѣ-сь... А дѣтки? Это коллекція-сь, баринъ мой! Зоологическая коллекція-сь... Старшую дочь изволите знать? Аглаю? Брюнетка, воронова крыла, умопомрачительной пышности! Всѣ офицеры ее близко знаютъ. Кто на тройкахъ скачетъ? Аглаюшка-сь! Кто съ мужемъ судится? Аглаюшка! А разъ, сударь, случай былъ—въ участкѣ ночевала... утромъ только разобрали, что за птицу заперли! Да-сь... А сынокъ старшій? Слышали случай? Въ ре-

сторанѣ съ компаніей... спрашиваетъ сколько стоитъ фортепьяно? Полторы тысячи! Получай! И что бы вы думали, сударь мой? Открылъ крышку при всей компаніи, сѣлъ на него и...

Перехватовъ нагнулся къ о. Ивану и сказалъ ему что-то на ухо, смѣясь.

— Какое... недоумѣніе!—покачалъ о. Иванъ головою.

— Кругосвѣтное-съ, баринъ мой! И, кромѣ того, человѣкъ... въ язвѣ съ дѣтскихъ лѣтъ... очевидно, отъ родителя! Только вотъ младшій сынокъ у нихъ... какъ будто и не въ родѣ! Милый, говорятъ, человѣкъ... и съ наукою... въ университетѣ кончаетъ. А тоже, сударь мой... ненадежный... больной-съ!

Тутъ Перехватовъ съ любезностью обратился къ Александрѣ Порфирьевнѣ:

— О чемъ изволите секретничать съ моею дочкой?

— Рассказываю, какъ насъ въ политической неблагонадежности разъ обвинили!—улыбаясь сказала Александра Порфирьевна.

— Вонъ что-съ!—насторожился Перехватовъ.

— Я тогда въ пятомъ классѣ была. Мы собирались, нѣсколько подружекъ, на зарѣченскомъ мосту вечерами и пѣли. На насъ и донесли директрисѣ, что мы революціонныя пѣсни поемъ. И знаете, что мы пѣли?

Она комически пропѣла, покачивая въ тактъ головою:

— Тор-р-еа-доръ... смѣ-лѣе въ бой!!

Она опять обратилась къ Павлинкѣ.

— Ахъ, счастливое было время! Какъ жаль, что вы не учились вмѣстѣ! Мы тогда вздумали дѣвочекъ обучать. Я съ Дезорцевой... Подобралась компанія самыхъ отчаянныхъ дѣвицъ! Распредѣлили городъ между собой, сдѣлали сборъ по богатымъ... Ну, кто же гимназисткѣ откажетъ? Не правда ли? Много денегъ собрали.

Забрались въ самыя трущобы, къ рабочимъ, къ прачкамъ, къ сапожникамъ... Конечно, прежде всего всю эту бѣдную дѣтвору умыли, одѣли, причесали. Шьемъ цѣлыми ночами, моемъ, кроимъ, гладимъ! Потомъ и учить принялись. Все Зарѣчье въ школу превратилось! Ребятишки, какъ херувимчики, ждутъ насъ на улицахъ... А мы это съ важными лицами, скорымъ шажкомъ...

— Ну, и, конечно, объ этомъ начальство узнало?—спросилъ Перехватовъ. .

У Александры Порфирьевны стало строгое лицо.

— Конечно!

Самоваръ тихо шумѣлъ.

Въ окно смотрѣла пустынность глинорытного поля.

Гдѣ-то слышались голоса и топотъ многочисленныхъ ногъ.

— Ну, я такъ и зналъ!—схватился за голову Перехватовъ.

Онъ вскочилъ со стула, подбѣжалъ къ окну, выглянулъ въ него.

— Они! Они!!

За окномъ съ шумнымъ говоромъ шла толпа рабочихъ.

Вслѣдъ за тѣмъ прозвучалъ звонокъ, рѣзко и звонко.

Перехватовъ, а за нимъ и всѣ поспѣшно направились на крыльцо.

— Мнѣ понравилось, что вы давеча про евреевъ говорили!—сказалъ въ сѣняхъ о. Иванъ Александръ Порфирьевичъ.—Только вы про Христа забыли... Тоже еврей!

Она внимательно, но уже мягко посмотрѣла на него.

— А что отъ Христа осталось?—сказала она.—
Только священники!

VI.

Рабочихъ было человѣкъ сорокъ.

Тутъ были глинорой, пропыленные красной пылью до рыжаго цвѣта лица, волосъ и одежды. Чернѣли слесаря, точно выработанные изъ желѣза. Желтая грязь комками засохла на кирпичникахъ. Между нихъ терялись сѣрые, какъ куски щебня, каменоломы. Болѣе чисто были одѣты только фабричные. Но и на нихъ отложилось копотью и румянцемъ сосѣдство огнедышащихъ печей. Впередъ выдвинулось двое.

Одинъ высокій, немного согнувшійся, топорный, еще молодой, но съ очень серьезнымъ бритымъ лицомъ, на которомъ небольшіе усы только оттъняли рѣзкость губъ и выдавагоса подбородка. У него были острые глаза; длинными, крѣпкими руками при разговорѣ онъ точно поднималъ что тяжелое. Рабочіе его звали „Ляксаньчъ“, сокращенное отъ „Алексѣй Иваньчъ“. Его товарищъ походилъ на комокъ глины, вставшій изъ нѣдръ глинорытнаго поля и глянувшій на міръ изъ-подъ сумрачныхъ бровей любопытнымъ и проницательнымъ взглядомъ. Но видно было, что въ борьбѣ съ жизнью этотъ комокъ глины окрѣпъ, закалился въ пламени печей и сталъ желѣзнымъ. Голова его, поросшая жесткимъ рыжимъ волосомъ, слегка ушла въ широкія плечи, точно онъ постоянно, но гордо выжидалъ откуда-то удара, и потому лицо у него, сорокалѣтнее, слегка припухшее, съ жесткой рыжей бородкой, было выжидательное и злое.

— Мы къ тебѣ, Григорій Петровичъ,—заговорилъ онъ, точно загудѣлъ въ пустую бочку:—ты одинъ тутъ

разумный человѣкъ у нихъ... какъ будто еще не спохабился! Съ тобой хоть говорить можно по-человѣчески, безъ лаю. Товарищи и говорятъ: пойдѣмъ къ старику Перехватову.

— Что же вамъ, барины мои, надо отъ меня?

— Сдѣлай милость, будь посредникомъ!—запумѣли голоса:—намеднишь тебѣ удалось какъ-то уломать Мухобеля! Кто тебя знаетъ, какъ тебѣ это удалось.

— Какого Мухобеля?

— Генриха-то!—засмѣялись рабочіе:—это мы его промежъ себя такъ величаемъ. Ляксанычъ придумалъ.

— Мухобель и есть!—улыбнулся Ляксанычъ:—пивная душа! Продался Удалову за пивную бочку. Тысячи получаетъ! Да вѣдь и намъ не съ голоду помирать, Григорій Петровичъ! У каждого семья... Вотъ у Потапова,—шестеро.

— Шестеро, это точно!—загудѣлъ Потаповъ:—надо ихъ воспитать... учить ихъ надо! А они при заводѣ и школы не завели! Смотрятъ какъ на звѣрей...

Потаповъ сердито крутилъ головой.

— Нѣ-ѣтъ, зачѣмъ же... мы давно не звѣри! Это, что мы черную работу справляемъ, ничего: на черной работѣ міръ держится! Золото свѣтло блеститъ въ богатыхъ хоромахъ, да безъ насъ не блестѣло бы оно, а въ землѣ лежало...

— Вѣрная мысль!—улыбнулся о. Иванъ Александръ Порфирьевичъ.

— Такъ пусть отъ того золота на нашихъ рукахъ хоть крупинки остаются, чтобы могли мы по-человѣчески жить да дѣтей своихъ воспитывать, чтобы людьми они вышли и правды своей добились.

— Какой правды нужно вамъ?—безпокойно потиралъ руки Перехватовъ.

— Земной, человѣческой правды!—вскричалъ Ляксанычъ:—развѣ справедливо, что у однихъ есть все, а у другихъ ничего? Намъ говорятъ—правда на небѣ! Нѣтъ, она на землѣ, только... спрятана!

— Ну ты, баринъ мой, не очень,—пугался Перехватовъ:—за такія рѣчи... не похвалять!

— А за что насъ хвалятъ-то? Говорить о своемъ дѣлѣ нельзя, читать нельзя... скоро думать нельзя будетъ!

Онъ хмуро посматрѣлъ на трубы завода, улыбавшіяся солнцу, и добавилъ:

— Прошло время! Если человѣкъ научился отдѣлять добро отъ зла, какъ можетъ онъ идти на компромиссы...

— Тяжело! Вообще тяжело! Ненормально,—заговорилъ опять Потаповъ:—и несправедливо... кругомъ все! Безъ прибавки намъ невозможно,—ты и самъ видишь, Григорій Петровичъ. Время тяжелое; и работы и рабочихъ часовъ прибавило. На новыя казармы казенный подрядъ Удалову сдать. Тоже и для желѣзнаго моста черезъ Поѣму весь матеріалъ на нашемъ заводѣ вырабатывается. Два часа накинули работы,—а плата старая... Развѣ это справедливо? Къ тому же, на работу понаѣхало много всякаго народу,—и рабочихъ, и подрядчиковъ, и инженеровъ... Все стало дороже,—квартиры и продуктъ съѣстной... А плата старая. Развѣ это мыслимо?

Потаповъ замолчалъ.

— Судари мои!—заговорилъ Перехватовъ:—когда я служилъ въ казенной палатѣ... Нѣтъ, вотъ что я вамъ скажу. Старъ я, старъ... откажусь я! Безпокойно мнѣ! Говорилъ я съ вашимъ нѣмцемъ, убѣждалъ его. А онъ гайгакаетъ:—„Стачка! Нельзя потакать стачкѣ“.

Ну, я тамъ не знаю, стачка или что... Когда я служилъ въ казенной палатѣ...

— Ну, что же нѣмецъ-то, что же?—зашумѣли въ толпѣ.

— Представилъ я ему резоны! Конечно,—развѣ можно жить на то, что вы получаете! А у завода работа на сотни тысячъ идетъ! Я въ казенной палатѣ привыкъ къ цифири... и то у меня въ глазахъ рябитъ, какъ начну итоги подсчитывать... Ну,—а только не просите меня больше... Даже закричалъ на меня нѣмецъ-то, и скажу вамъ по секрету:—распорядился набрать съ толчка рабочихъ на кирпичную работу поденно.

— Такъ?—угрюмо сказалъ Потаповъ.

А Ляксанычъ вдругъ загорѣлся гнѣвомъ.

— Когда такъ... всѣхъ поднимемъ!!—сдѣлалъ онъ руками жестъ, будто вырывалъ изъ земли что тяжелое.

— У нихъ нѣтъ на это права!—кричали рабочіе:—мы годами работаемъ, мы съ семьями осѣли тутъ! Развѣ они думаютъ насъ на улицу выкинуть?

— Поглядимъ еще!—сказалъ Потаповъ, весь взъерошившись и оцетинившись:—Они насъ хотятъ до крутого довести? Пускай попробуютъ! На силу силой придется отвѣчать, — а кто сильнѣе, то еще невѣдомо!

Ляксанычъ руками точно гимнастировалъ.

— Всѣхъ поднимемъ!—кричалъ онъ:—И шилороевскихъ, и нейманскихъ... Въ обиду не дадимся!

Онъ обернулся

— Товарищи! Айда къ заводу!

— Айда!!

Они обернулись въ ту сторону, гдѣ виднѣлись заводскія трубы. Солнце освѣщало ихъ рѣшительныя лица. О. Иванъ задумчиво наблюдалъ ихъ и какая-то неот-

вратимая сознательная сила чувствовалась ему въ нихъ.

— Будемъ требовать самого Мухобеля!—волновался Ляксаньчъ.—Пусть выйдетъ! А если въ споръ пойдетъ, н-ну... поспоримъ!

— Прощайте, Григорій Петровичъ!—кричали рабочіе.

— Судари мои, не наглумите только! — убѣждалъ Перехватовъ.

Они пошли, и что-то особенное, не стадное было въ ихъ походкѣ.

Нѣкоторые изъ рабочихъ оглянулись и, улыбаясь, кивали Александрѣ Порфирьевнѣ.

— Прощайте, Александра Порфирьевна!

— Прощайте, товарищи!—отвѣчала она.

О. Иванъ и Перехватовъ съ удивленіемъ посмотрѣли на Широкозадову.

— Однако, вы съ ними за панибрата!—сказалъ Перехватовъ.

— А какъ же мнѣ съ ними нужно? Это все знакомые...

Уходя, кто-то засвисталъ, кто-то запѣлъ пѣсню, ее подхватили.

Глинорытное поле на мигъ ожило.

Солнце съ яснаго неба обливало золотистымъ свѣтомъ черныя крыши сараевъ; трубы завода точно улыбались стороной, обращенной къ солнцу. Бродячая собака съ голодной мордой вышла на середину поля и завывала, прислушиваясь къ пѣснѣ, умиравшей за заводами.

— Боюсь,—говорилъ Перехватовъ,—что добромъ это не кончится. Генрихъ не пойдетъ на уступки. И они тамъ совѣтъ какой-то собрали, говорятъ, хотя бы губернатору доложить...

Послѣ завтрака Александра Порфирьевна распрощалась: о. Иванъ и Павлинька собрались идти къ Рудометову.

Пошли вмѣстѣ пустынными улицами Зарѣчья.

— Мнѣ ваша жена ужасно нравится! — сказала о. Ивану Александра Порфирьевна.

— Вы ее откуда знаете?—удивился о. Иванъ.

— Какъ откуда?—въ свою очередь удивилась Александра Порфирьевна, смотря то на Павлинъку, то на о. Ивана.

Павлинъка расхохоталась, о. Иванъ, не понимая отъ чего, страшно сконфузился. Александра Порфирьевна поняла свою ошибку.

— Я вѣдь думала, Павла Григорьевна жена ваша,—засмѣялась она.

— Почему вы это думали?

— Да она мнѣ сказала, что ея мужъ священникъ. Къ тому же, вы все время глазъ съ нея не спускали.

Павла Григорьевна коснулась его локтя и со страннымъ смѣхомъ заглянула въ лицо ему:

— Правда?—сказала она лукаво.

— Скажите!—протянулъ о. Иванъ, закашлявшись:— а я этого и... не замѣтилъ! Однако вы, Александра Порфирьевна... ядовитая!

— Да ужъ я такая! Знаете, я вообще священниковъ не долюбиваю! По моему порядочный человѣкъ въ священники не пойдетъ...

— Ого! Строго! Но пристрастно...

— Присутствующіе исключаются.

— Это дѣла не измѣняетъ!

— Я васъ, кажется, опять задѣла. Не обижайтесь, голубчикъ.

— Ничего, ничего, голубушка... жарьте! У меня спина крутая, все вынесетъ, хоть я и непорядочный человѣкъ...

Александра Порфирьевна засмѣялась.

— Чему же вы смѣетесь?

— Тому, что вы обидѣлись. Это я люблю. Только хорошіе люди способны обижаться!

— Недурная логика!

— Съ тѣмъ, кто мнѣ не нравится, я всегда крутая. А вы мнѣ давеча не понравились...

— А теперь?

Она лукаво смѣялась.

— Теперь вы какъ-будто ничего себѣ... Я къ вамъ чувствую симпатію... какъ къ человѣку.

— И на томъ спасибо!

За мостомъ, въ полугорѣ, показался домъ старика Широкозадова. Передъ нимъ былъ небольшой палисадъ съ старинными неуклюжими деревьями, царапавшими окна и дававшими массу тѣни. Изъ зелени глядѣлъ длинный низкій фасадъ дома, вросшій въ землю, окрашенный въ синюю краску, мѣстами слинявшую, съ огромными темными окнами, лишенными занавѣсокъ, отчего домъ казался необитаемымъ. У воротъ Александра Порфирьевна сказала:

— Знаете? Зайдемте къ дѣдушкѣ! Дѣдушка будетъ страшно радъ! У него почти никто не бываетъ, а раньше онъ широко жилъ...

О. Иванъ взглянулъ на Павлиньку.

— Съ удовольствіемъ, не надолго можно.

Они вошли на запущенный дворъ, поросшій травой, съ обширными каретниками и конюшнями, на видъ пустыми. И внутри домъ казался нежилымъ. Отъ обширной залы вѣяло холодомъ. Старая мебель въ чехлахъ, казалось, зябла. Зеркала какъ-то пугливо глядѣли изъ простѣнковъ. Большой паукъ быстро взбирался къ потолку по тонкой паутинѣ. И въ гостиной стояла тяжелая, старинная, сумрачная мебель, висѣла люстра, которую давно не зажигали. Въ окна тихо царапали вѣтви деревьевъ, отгнѣвая тишину и пустынную. Доска

скрипнула подъ осторожными шагами посѣтителѣй. Жуткое чувство охватило Павлу Григорьевну, и она невольно взяла подъ руку о. Ивана...

— Что ты?—прошепталъ онъ.

— Какъ странно! Точно умеръ кто тутъ...

Александра Порфирьевна отворила тяжелую, хмуро скрипнувшую дверь. Они очутились въ комнатѣ, которая показалась имъ жилой только послѣ пустынности пройденныхъ комнатъ. Это была спальная старика Широкозадова. Тутъ былъ стихійный безпорядокъ. Точно изъ всѣхъ комнатъ снесли сюда все ненужное, свалили въ кучи, развѣсили какъ придется по стѣнамъ. Вплотную стояли кресла, стулья, пугавшіе своей ветхостью; ломберный столъ съ картами и мѣлками, столикъ-шашечница мѣшали пройти; огромный письменный столъ былъ близко придвинутъ къ кровати, очень низкой и широкой, напоминавшей софу и, повидимому, никогда не убиравшейся. По стѣнамъ висѣли выцвѣтшія фотографіи, масляные портреты благообразныхъ старцевъ купеческаго типа. Какой-то архіерей строго глядѣлъ, какъ живой, изъ-за халатовъ, рубахъ, сюртуковъ, развѣшенныхъ по стѣнамъ. На кровати сидѣлъ въ потертомъ мягкомъ бухарскомъ халатѣ съдой, сморщенный старикъ и весь дрожалъ какъ отъ холода, хотя здѣсь въ пыльные окна, полузанавѣшенные, глядѣло яркое солнце. Шея у него была худая, точно вытянутая; сморщенное лицо съ съдой бородкой казалось острымъ, быть можетъ потому, что съ него смотрѣли острые, холодные, умные ядовито-насмѣшливые глаза, съ тѣмъ мутнымъ осадкомъ въ глубинѣ ихъ, которымъ отличались всѣ Широкозадовы. Онъ былъ чѣмъ-то возбужденъ и дрожащими руками безпорядочно поправлялъ на груди халатъ.

— Во-время гости, что голодному кости! — заговорилъ онъ.

Голосъ у него былъ высокій, съ властными нотами.

— А не во-время гость...—началь о. Иванъ.

— Сытому десертъ!—засмѣялся старикъ, сверля о. Ивана и Павлинку проницательнымъ, точно прыгающимъ взглядомъ:—не знаю, святой отецъ, ни васъ, ни вашей матушки... Но навѣрно люди хорошіе! Хе-хе! Сашокъ ко мнѣ только хо-о-рошихъ людей приводитъ. Садитесь, милости просимъ... Спасибо, что посѣтили старика! Старикъ Широкозадовъ нонче не въ чести... ослабъ, отоцалъ старикъ Широкозадовъ! Шемелой его! Нынче все крупные люди пошли... Помѣ-ѣ-щики... Землевла-дѣль-цы... фабри-ка-нты...

Онъ закашлялся отъ непонятнаго о. Ивану негодованія.

Тутъ изъ темнаго угла поднялась, точно черная тѣнь, неуклюжая широкая фигура Порфирія Широкозадова. Онъ мутнымъ взглядомъ смотрѣлъ на гостей, и лицо его ничего не выражало. Здороваясь, онъ протянулъ каждому свою толстую, пухлую руку съ короткими пальцами, странно холодную, и проговорилъ, обращаясь къ отцу:

— Прохладитесь, тятенька, съ гостями-то... Поговоримъ послѣ.

Тяжелымъ шагомъ своимъ, отъ котораго прыгала мебель и даже пошевелился архіерей на стѣнѣ, Широкозадовъ вышелъ изъ спальни. И по отдаленнымъ комнатамъ слышались его грузные шаги, точно тамъ ходилъ средневѣковой рыцарь въ полномъ вооруженіи.

Старикъ проводилъ его взглядомъ ненависти.

Видимо, каждое слово сына выводило его изъ себя.

— И чего онъ стучить, чего онъ стучить!—трясся старикъ:—гробъ мнѣ сколачиваетъ?!

— Такая походка, дѣдушка. Вы не волнуйтесь! — сказала Александра Порфирьевна, садясь съ нимъ рядомъ и тихо беря его за руку.

Она поцѣловала ему руку.

Старикъ сразу успокоился, и глаза его загорѣлись веселымъ огнемъ.

— Сашокъ! Сашокъ! — говорилъ онъ: — все изъ-за тебя дѣдушка воюетъ.

— Спасибо, дѣдушка, вы за меня горой! Я на васъ надѣюсь,—говорила она ласково:—небось, дѣдушка не выдастъ, я ужъ знаю!

Старикъ залился почти дѣтскимъ смѣхомъ.

— Вотъ у меня внучка какая? — выкинулъ онъ къ о. Ивану дрожащія, худыя руки, отчего распахнулся бухарскій халатъ, обнажая хрипло дышащую грудь:—Золотая моя внучка! Вся въ меня! Дочка моя! Широкозадовская кровь... мужичья! Крутая да ласковая! Вѣдь мы, Широкозадовы, изъ лапотниковъ... Умомъ въ люди вышли... а не нахрапомъ! Вотъ посмотрите-ка... на портретъ-то!

Старикъ указывалъ на большой масляный портретъ, изображавшій суроваго крестьянина съ рѣзкимъ, умнымъ лицомъ и характернымъ темнымъ взглядомъ.

— Землепашецъ-съ... родитель мой! Вотъ какъ! Я отъ родни не отказываюсь, не стыжусь низости происхожденія моего! Ибо какой человѣкъ отъ Господа Бога рожденъ сиволапымъ? И дворяне, и купцы, и крестьяне... изъ единой глины-съ! Умъ... вотъ главное! Умомъ человѣкъ отъ человѣка отличіе имѣетъ... а еще душою! И у котораго человѣка душа широкая, чистая и умъ острый—тотъ воистину князь и дворянинъ, хотя бы и былъ онъ по рожденію сиволапымъ...

Старикъ опять волновался, вытягивая худую шею.

— А вотъ хотя Порфирій и сынъ мой... не люблю!

— А меня любите, дѣдушка?—спросила Александра Порфирьевна, чтобы отвлечь старика.

Старикъ взялъ ее ладонями за уши, притянулъ къ себѣ и почти благоговѣнно поцѣловалъ.

— Ты моя единственная!—говорилъ онъ растроганно: — всѣ старика бросили... не любятъ старика! Ты одна... поняла меня! Поняла дѣдушку! Дѣдушка грѣшнѣйшій человѣкъ... тать и преступникъ на землѣ сей... Но одно только дѣдушка знаетъ... Кровь и душу отдастъ за тебя!

У нея показались слезы на глазахъ.

— Милый дѣдушка! Почему ты сегодня такъ волнуешься?

Старикъ не отвѣтилъ и насторожился.

— Опять стучить! Опять стучить!

Изъ отдаленныхъ комнатъ наплывали шаги Широкозадова. Весь пустынный домъ, казалось, отзывался на нихъ, пугливо вздрагивая нежилымъ, холоднымъ нутромъ своимъ.

Дверь открылась, вошелъ Широкозадовъ.

— Тятенька, я раздумалъ!—заговорилъ онъ какимъ-то безразличнымъ голосомъ, не смотря ни на кого: — мнѣ завтра ѣхать въ Богдановку, на ярмарку. Договоримъ сейчасъ до конца... Благо, здѣсь и Александра и вотъ батюшка... Батюшка тоже можетъ слово благо-разумія сказать.

Онъ тяжело, сопя, опустился въ кресло, слегка разставивъ ноги и уронивъ на колѣни свои толстыя руки.

— Александра! — сказалъ онъ: — ты свою затѣю не бросила?

— Какую затѣю?—взглянула она удивленно.

— Въ Питеръ учиться ѣхать...

Лицо у нея стало строгое, упорные глаза помутнѣли, какъ у отца.

— Я не измѣняю своихъ рѣшеній! — сказала она сухо.

— А если я... прикажу?!

— Я совершеннolѣтняя, и могу поступать самостоятельно! У меня есть цѣль въ жизни, и ничто не заставитъ меня свернуть съ моего пути!

Широкозадовъ забилъ по колѣнямъ короткими пальцами.

— А если я... прикажу?!—упорно и грубо повторилъ онъ: — мнѣ... наплевать на твоё совершеннolѣтiе! Я отецъ! Я тебя воспиталь... я отвѣчаю за тебя! Я знаю, что для тебя худо, и что хорошо! Смотри, дочь!.. Отецъ все видитъ! И такъ уже ты на худомъ пути...

— Что же это за худой путь мой?

— Знаю я... знаю! Каждый твой шагъ знаю! Зарѣчица! Думаешь, люди не замѣчаютъ, съ какою ты шушерой водишься! Мнѣ уже люди, власть имѣющіе, говорить... Конфузишь отца! Довольно!

Онъ притопнулъ ногой, отчего она вспыхнула.

— Довольно!!—повторилъ онъ:—кончила гимназію... будетъ! Побаловалась! Для хорошей невѣсты этого довольно!

— Для невѣсты?—вскричала она:—что это значить?

— Удаловъ за сына сватаетъ! За старшаго сына. Удаловъ... коммерціи совѣтникъ! Фабрикантъ... Удаловъ... миллионеръ! Понимаешь?

Онъ сдѣлалъ руками жестъ, будто держалъ ими шаръ.

— Это въ руки счастье идетъ... огромное счастье! Довольно, дочь... довольно глупостей! Этого счастья упускать нельзя! Первая партія въ губерніи! Мы... какъ на гору взойдемъ! Широкозадовыхъ рукой не достанешь! Ты еще глупа, не умѣешь рассуждать! Царицей будешь! Все ползать будетъ у твоихъ ногъ, потому-что въ деньгахъ сила... Огромная сила! Власть! И чѣмъ больше ихъ, — тѣмъ больше власти! Огромной власти! У меня поль-уѣзда въ рукахъ... Все тебѣ оставляю! Зо-

лотымъ кругомъ сдавишь все, царить будешь! За умъ только возмись! Удаловъ—первый промышленникъ! У него губернаторъ въ рукахъ... въ гостяхъ бываетъ... Министра принималъ!

Онъ охватывалъ руками какія-то воображаемыя пространства.

— Блескъ! Царицей будешь! Въ брилліантахъ вся! Ты! Широкозадова! Удаловъ! Милліонеръ!! У него пріиски на Уралѣ, розсыпи: свои камни драгоцѣнные! Купайся въ нихъ!!

Александра Порфирьевна всплеснула руками и страстно вскричала въ гнѣвъ:

— Да вы это что же? Торговать мной задумали?

И она невольнымъ жестомъ оперлась на плечо дѣдушки.

Тотъ зло и ядовито смѣялся.

— Ничего, Сашокъ, ничего!—говорилъ онъ:—онъ идетъ прямо, какъ Широкозадовъ! Только онъ заплутался! Не впередъ идетъ, а назадъ... Навстрѣчу намъ! А потому, сынокъ, ужъ не обезсудь, мы съ тобой побоемся!

Онъ протягивалъ къ нему дрожащія руки.

— Я съ вами, тятенька, бороться не желаю!—опять глянуль на него Широкозадовъ тяжелымъ взглядомъ:—не къ лицу это намъ! Я васъ убѣдить хочу! Стары вы-съ... и какъ бы изъ ума выжили, не понимаете интереса своего! А не вы ли сами меня когда-то вотъ точно такъ же женили! Худо ли вышло?

— Каюсь предъ Господомъ!—сказалъ старикъ, опуская голову, правда, сынокъ!.. Заслужилъ упрекъ этотъ! Другой я тогда былъ... Не понималъ! Умъ почиталъ, а сердцемъ пренебрегалъ... Вотъ и убилъ я въ тебѣ сердце... Виновать я! Ты мною созданъ, коршунъ... только не дамъ я тебѣ Сашка! Не дамъ, коршунъ! Отъ

нея у меня... умъ просвѣтлѣлъ! Сашокъ пойдетъ своею дорогой... у золотого сердца, у соколиного ума дорогъ плохихъ быть не можетъ...

— Вы съ ума сошли, тятенька!—всталъ Широкозадовъ.

Но старикъ уже кричалъ властнымъ широкозадовскимъ крикомъ:

— Я такъ хочу!!

Широкозадовъ вспыхнулъ.

— Такъ я же откажусь отъ нея! Лишу ее наслѣдства! Пусть, пусть идетъ... своей дорогой! Я знаю эти дороги! Это все Синайскій! Сынъ благочиннаго богдановскаго! Студенческія затѣи! Я знаю... Шуры-муры!

— Какъ вамъ не стыдно говорить такъ! — густо вспыхнула Александра Порфирьевна.—Если я... если я люблю его! Я не хочу скрывать! Я не скрываю! Я же вамъ объявляю: онъ женихъ мой!

— Вотъ, вотъ... вотъ!—указывалъ на нее отцу пальцемъ Порфирій Власычъ;—воспитали: пусть, пусть еще доучиваться ѣдетъ! Пусть! Только я повторяю: пусть не ждетъ ни копѣйки денегъ отъ меня на свои дурацкія затѣи!

— Деньги, деньги!—заговорила вдругъ быстро и порывисто Александра Порфирьевна:—деньги! Ваши деньги! Мнѣ не надо вашихъ денегъ... оставьте ихъ себѣ! Не надо мнѣ! Буду въ трущобѣ жить, сама прокормлю себя своимъ трудомъ! Не надо мнѣ вашихъ денегъ!

Широкозадовъ густо побагровѣлъ.

— Да что мои деньги... воровскія, что ли?

Тутъ всталъ на свои дрожащія ноги старикъ и, запахивая халатъ, заговорилъ зло и хрипло:

— Денегъ не дашь? Не надо! У старика Широкозадова найдется еще копѣчка про черный день... Най-

дется, сынокъ! А твоихъ не надо! Воровскіе, спрашиваешь? Я честной коммерціей зарабатывалъ деньги, а твои деньги—соки бѣдняковъ...

— Не надо, дѣдушка, не надо!—остановила его Александра Порфирьевна:—не надо такъ говорить!

Широкозадовъ смотрѣлъ удивленными и точно сонными глазами. Какъ будто и отца, и дочь онъ видѣлъ первый разъ и не узнавалъ ихъ, и ихъ рѣчи казались ему чуждыми и странными. Точно весь извѣстный ему міръ перевернулся передъ нимъ; всѣ фигуры и очертанія въ немъ были не тѣ, какими онъ привыкъ ихъ видѣть. Онъ помолчалъ, смотря мутнымъ взглядомъ на плачущую дочь и на отца, что-то шарившаго по стѣнѣ дрожащими и невѣрными руками. Круто повернувшись, онъ вышелъ и хлопнулъ дверь. Опять его шаги пугали старый домъ своей тяжестью.

— Стучи! Стучи!—хрипѣлъ старикъ, напаривая на стѣнѣ сюртукъ и уходя за ширмы.—Сашокъ!—говорилъ онъ оттуда:—раскрой окно, крикни Гаврилѣ лошадь запечь.

— Куда вы хотите, дѣдушка?

— Молчи! Молчи! Поѣдемъ вмѣстѣ... къ Рудометову. Молчи, Сашокъ.

Онъ вышелъ изъ-за ширмъ, до комизма странный, жалкій въ своихъ узкихъ черныхъ брюкахъ и длиннополомъ сюртукѣ. Онъ напоминалъ изсохшую отъ безкормицы дрофу. Сѣдая, маленькая голова его тряслась на худой и тонкой шеѣ.

Когда, по отъѣздѣ Широкозадовыхъ, о. Иванъ съ Павлинкой проходили мимо фасада дома, имъ на минуту мелькнуло сквозь пыльные окна лицо Широкозадова. Онъ проводилъ ихъ тупымъ и мутнымъ взглядомъ.

VII.

Кто не зналъ въ Старомірскѣ протоіерея Рудометова?

Массивный, съ грудью колесомъ, по которой, прикрывая ордена, распласталась густая, красивая, черная борода, съ рѣзкими чертами лица, съ выпуклыми черными глазами, онъ обладалъ при всемъ томъ медвѣжьимъ басомъ и рѣшительными манерами. Басъ его былъ поистинѣ великолѣпенъ!

Прихожане святодуховской церкви, приходя въ церковь въ недѣлю о. Рудометова, никогда не справлялись, кто служитъ: еще издали, съ паперти, слышны были изъ нѣдръ храма его, какъ бы изъ звѣриной клѣтки, воздыханія.

Рудометовъ былъ строгъ и настойчивъ. Считая себя за общественнаго дѣятеля, онъ никогда не придавалъ цѣны чужому мнѣнію. Его проповѣди звучали всегда угрозой гибели. Адъ онъ умѣлъ рисовать такими красками и такъ подробно, точно лично обошелъ всѣ его закоулки и видѣлъ Сатану лицомъ къ лицу. Говорили, что онъ напоминаетъ Саванароллу. Онъ первый поднялъ вопросъ на духовномъ съѣздѣ о необходимости отбирать дѣтей у сектантовъ.

-- Отцы и бр-ратіе!—гремѣлъ онъ на весь съѣздъ:— если мы заключаемъ вора въ темницу, разбойника посылаемъ въ каторгу, прокаженнаго.— въ больницу, то какъ же подобало бы поступить съ сектантомъ, который есть воръ, ибо отъемлетъ у ребенка благодать крещенія,— разбойникъ, ибо убиваетъ его душу, прокаженный, ибо заражаетъ смрадомъ грѣха младенца! Но мы милосерды, какъ милосердъ Христосъ: оставляемъ на свободѣ преступника, ожидая его раскаянія, и лишь

спасаемъ жертву его, ищищая изъ бездны грѣха родительскаго и пр-родительскаго...

Борода его трепетала на груди, и глаза горѣли.

— Мы не полицейскіе!—замѣтилъ кто-то изъ молодыхъ батюшекъ.

Но Рудометовъ не сдался.

— Мы—полицейскіе Бога вышняго!—сказалъ онъ:—ибо стражи храма его и охранители стада его!

При всемъ томъ Рудометовъ состоялъ крупнымъ пайщикомъ акціонернаго предпріятія по сбыту за границу джибаги и дубленыхъ кожъ „Пироговичъ и Ко“, почему мѣстные интеллигенты его звали:

— Буржуа въ рясѣ!

Когда о. Иванъ съ Павлинкой вошли въ свѣтлую залу, прекрасно обставленную, съ пальмовидными растеніями у оконъ,—портретами архіереевъ въ золоченыхъ рамахъ и зеркалами въ простѣнкахъ, тутъ господствовало оживленіе. Была именинница старшая дочь протоіерея, которая играла въ этотъ моментъ на піанино „Маршъ буровъ“. Звуки піанино входили въ связь съ басовитымъ говоромъ духовныхъ и тѣми откашливаніями въ октаву, на которыя былъ способенъ только протодіаконъ Сѣверозападовъ, мужчина саженнаго роста, съ круглыми глазами и красной жилой на лбу отъ постоянного напряженія. Его чаще всего можно было видѣть у стола съ выпивкой, гдѣ соревновалъ ему соборный дьяконъ Антиливановъ, черный и тучный, старавшійся даже въ манерахъ подражать протодіакону. Для этого онъ откашливался въ октаву, прислушиваясь, не звякнетъ ли стекло, рюмку выбиралъ самую большую и, обводя присутствующихъ строгимъ взглядомъ, опрокидывалъ рюмку такъ, будто проглатывалъ. Съ нимъ чокались два иподіакона, его почитатели, очень похожіе другъ на друга, оба кудрявые, оба—те-

норы, одинъ Павловскій, другой Петропавловскій. Они подмигивали другъ другу и напѣвали вполголоса передъ выпивкой:

Вотъ и рѣчка, вотъ и мостъ,—
Черезъ рѣчку перевозъ...
Кто бы рюмочку поднесъ,
Мы бы вы-ы-пили!

— Х-ха-а!—сочувственно смѣялся протодьяконъ.

И гдѣ-то ему отзвывалось стекло.

Псаломщикъ Рудометовъ разглаживалъ горстью усы и говорилъ протоіакоу:

— А ну-ка и я такъ попробую!... Х-х-ха-а!

Но у него не выходило.

Но залѣ прохаживалось нѣсколько духовныхъ.

О. Матвѣй сидѣлъ вблизи піанино, дѣлая видъ, что прислушивается со вниманіемъ къ музыкѣ. Но лицо у него было озабоченное. Увидавъ о. Ивана съ Павлинкой, онъ расцвѣлъ и пошелъ къ нимъ навстрѣчу.

— Ну, вотъ, получай свою попадью!—сказалъ ему о. Иванъ.

И тотчасъ отошелъ въ сторону, наблюдая издали за супругами, вставшими къ окну, отмѣчая, что отецъ Матвѣй слишкомъ сильно жестикулируетъ, а лицо Павлинки слишкомъ холодно. И что-то неприятное шло у него по сердцу, когда онъ видѣлъ ихъ вмѣстѣ. Онъ принималъ это чувство за негодованіе на о. Матвѣя. „Не ему бы...“ шепталъ онъ, не понимая точно смысла этого выраженія.

Вблизи него разговаривали Чугунниковъ и Пироговичъ.

Чугунниковъ былъ апоплектического тѣлосложенія. Цѣпь рыжей бороды смотрѣло красное лицо съ отдувающимися щеками.

— Ф-ф-у-у!—шумно вздыхалъ Чугунниковъ, напоминая человѣка, только что воротившагося изъ бани.— По новѣшнимъ временамъ газету издавать... чижало-съ! Ты коммерсантъ, ты гласный думы, ты членъ благотворительнаго общества, ты въ банкѣ членъ совѣта... Про кого не напиши, всякъ тебѣ пріятель, и всякъ обижается...

Пироговичъ мягко смѣялся.

Онъ весь былъ мягкій, гибкій, изящный и вѣжливый, съ склонностью къ полнотѣ, еще не портившей наружность, съ холенымъ бритымъ лицомъ, золотистыми усами и смѣющимися глазами, въ которыхъ блестѣли умъ и хитрость.

— А вы бы поставили дѣло такъ, Акиндинъ Захарычъ!—сказалъ онъ:—обсуждали всякое явленіе вообще, не касаясь частныхъ. „Вообще“ все можно обсуждать! Это ни къ чему не обязываетъ и никого не задѣваетъ...

— Стараюсь! Да вѣдь... сотрудники!

И Чугунниковъ тяжело вздохнулъ.

— Ф-ф-у-у...

Къ о. Ивану подошла Александра Порфирьевна.

— А знаете, зачѣмъ дѣдушка сюда пріѣхалъ?—сказала она, сіяя:—онъ хочетъ взять свои деньги изъ предпріятія и отдать мнѣ!

Она, кажется, готова была бить въ ладоши и прыгать.

— А денегъ-то мно-о-го!

— При чемъ же тутъ Рудометовъ?—удивился отецъ Иванъ.

— Вотъ тебѣ разъ? Да у него же и небесная, и земная торговля въ рукахъ! Вѣдь около прежнихъ-то безсребренниковъ давно уже хорошее серебряное дѣло завелось... Сидятъ теперь въ кабинетѣ,—кивнула она головой къ двери:—счета разсматриваютъ...

— Клавдий —

— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-
— Клавдий ин-

тамъ, гдѣ вашъ заблуждающійся разумъ видитъ только ницшеанскіе пески?

— Я не сторонникъ православной точки зрѣнія.

— Почему же православной? позвольте? Это вообще религіозная точка зрѣнія, понятная и обязательная для каждаго человѣка, вѣрящаго, что онъ не червь минутный, а вѣчный гражданинъ неба! И тогда земля есть только суровая школа для будущихъ гражданъ неба! Вотъ вамъ отсюда понятны всѣ слезы и мученія, законны испытанія и бѣды!

— И торговля джибагой?—сказалъ семинаристъ Рудометовъ, не улыбаясь.

Всѣ засмѣялись.

— Нужно же поддерживать существованіе!—снисходительно улыбнулся о. Клавдій.

— Для испытаній?—такъ же хладнокровно сказалъ семинаристъ:—тогда не лучше ли раздать имѣніе и идти побираться, существованіе-то и этимъ можно поддерживать, а бѣдъ и мученій прибавилось бы... И Христу пріятно!

— Кривотолки вы, господа, — слегка оскорбился о. Клавдій:—и софисты! Вообще нынѣшняя молодежь—софисты! Ищутъ новыхъ путей, ищутъ новыхъ истинъ, тогда какъ есть одна только Истина, премірная и вѣчная, и одинъ къ ней путь... Эта Истина непостижима для ума гордаго! Ее величайшіе философскіе умы старались понять, опредѣлить,—и не могли! А она сама открываетъ себя смиренному сердцу! Повторяю, это не есть спеціально православная точка зрѣнія: это точка зрѣнія религіозно-философская вообще! Что касается православія, то поскольку оно есть человѣческое учрежденіе, оно закамѣнѣло, и я самъ ищу въ немъ новыхъ путей, новыхъ согласованій съ Божественной Волей...

— Лжеумствуешь, новоявленный еретиче!—смѣялся ключарь:—въ пути лукавы уклоняешься...

— Почему же? Многіе вопросы церковной практики, вопросы брака какъ свѣтскихъ людей, такъ и духовныхъ, вопросъ о свободѣ религіозной совѣсти, наконецъ, вообще вопросъ объ отношеніи церкви къ государству... Все это назрѣвшіе вопросы... и такихъ много! Они требуютъ пересмотра и разрѣшенія въ духѣ справедливости, въ духѣ новыхъ требованій жизни!

— Въ этомъ я совершенно согласенъ съ папашей!—сказалъ студентъ, уперевшись въ спинку стула и расклевываясь:—устраивать жизнь нужно, это несомнѣнно. Въ ней много недочетовъ. Но нельзя забывать изъ-за случайныхъ нуждъ земного вѣчныхъ, коренныхъ вопросовъ существованія. Нельзя рыться въ земной пыли и тѣмъ удовлетворяться. Нужно обращать свой взоръ къ небу, къ звѣздамъ... Только тамъ горятъ, сверкая, путеводныя искры, въ томъ мірѣ мистическихъ тайнъ.

— Намъ съ вами не по пути!—сказалъ семинаристъ:—до свиданья!

Всѣ захохотали, а Александра Порфирьевна забила въ ладоши:

— Bravo, bravo, bravo!

Удаловъ стряхнулъ пепелъ въ стоявшую на столѣ золоченую пепельницу.

Онъ былъ серьезенъ и немного мраченъ.

— Граждане неба!—сказалъ онъ, кривя губы:—да если есть такое небо, то насъ первыхъ туда не пустятъ! Потому что мы лжецы! Мы рассказываемъ сказки больному ребенку, чтобы отогнать отъ него привидѣніе, которое и есть мы сами!

— Что за парадоксъ!—вскричалъ студентъ.

— Не парадоксъ,—истина! У насъ есть прекрасное

отечество,—земля! Что мы изъ нея сдѣлали? Ахъ, простите, о. протоіерей! Не мы сдѣлали, говорите вы. Знаю! Но вы же сами называете землю школой, хотя отождествляете школу съ тюрьмой! И ужъ мы-то, мы прошли достаточно эту школу, чтобы понимать причины и слезъ, и мученій... Теперь корни у дерева жизни обнажены трудами лучшихъ людей. И корни эти гнилы! И гниль эта изучена подъ микроскопомъ. Гниль нездоровой наслѣдственности...

Онъ болѣзненно кривиль губы.

— Проклятой наслѣдственности, приводящей къ гибели дѣтей! Гниль общественныхъ учреждений, гдѣ процвѣтаетъ рабство во всѣхъ формахъ, гдѣ рабовладѣльцы утѣшаютъ рабовъ сказками о „небесныхъ пескахъ“, сами задыхаясь въ зловонномъ воздухѣ рабства... Нѣтъ! Нужно забыть о пескахъ! Нужно оздоровить землю, нужно вспахать ее и засѣять зернами справедливости, истины, знанія, чтобы создать на ней царство красоты, которому позавидовало бы само Божество ваше!

Въ это время въ двери поспѣшно вышелъ протоіерей Рудометовъ, громко разговаривая со старикомъ Широкозадовымъ.

Всѣ поднялись и двинулись навстрѣчу протоіерею.

У того лицо было озабочено.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа!—говорилъ онъ:—благодарю, благодарю!—отвѣчалъ онъ на поздравленія съ именинницей:—ужъ вы меня извините! Я сейчасъ только на минутку урвался со сѣзда и сейчасъ опять туда! Тороплюсь! Тороплюсь! Пожалуйте, господа, въ столовую... закусить, чѣмъ Богъ послалъ... А меня извините, ѣду!

Большинство двинулось къ столовой, откуда выхо-

дила нарядно одѣтая попадья, подѣ статью протоіерею, дебая и солидная.

Протоіерей подзвалъ жестомъ Чугунникова и Пироговича.

— Чудакъ-то! — указаль онъ на Широкозадова:— деньги требуетъ... а! Ха-ха! Ну, чего же... Отдамъ! Время выбрать, нечего сказать!

— Сейчасъ кризисъ, Власъ Игнатьевичъ! — мягко сказалъ Пироговичъ.

Широкозадовъ шутиливо отмахивался.

— Не пугай ты меня этими словами! Старъ я для нихъ! А вотъ нужны деньги, и подай! Больше я ничего не знаю! Будетъ! Старъ я для торговой операціи...

— Ф-фу-у! — отдулся Чугунниковъ: — но вѣдь не въ банкъ же вы ихъ положите! Тамъ развѣ такой процентъ...

— Спрячу въ чулокъ да сяду на него! — смѣялся Широкозадовъ: — а помирать буду, съ медомъ съѣмъ... А то возьму, — да гимназію построю.

Чугунниковъ удивленно посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Ф. фу-у!

Широкозадовъ позвалъ Александру Порфирьевну и распрощался.

Въ это время псаломщикъ Рудометовъ крадучись подошелъ къ Павлѣ Григорьевнѣ. О. Иванъ строгимъ взглядомъ наблюдалъ за ними, не замѣчая, что краска облила ему лицо. Павла Григорьевна сказала что-то рѣзкое Рудометову и отвернулась. Тутъ она поймала взглядъ о. Ивана, покраснѣла, улыбнулась и подошла къ нему.

— Что мы тутъ будемъ дѣлать? Скучно... То же самое что и вездѣ... Тоска!

— Что тебѣ сказалъ Рудометовъ? — спросилъ о. Иванъ хмуро.

— Что такое?

Она лукаво посмотрѣла на него.

— Какой ты... ревнивый! Я не знала!

Онъ вспыхнулъ и взглянулъ на нее строго.

— Не говори глупостей! Какъ не стыдно.

Вечеромъ, возвратясь отъ Рудометова, они пошли въ садъ вдвоемъ, потому что о. Матвѣй отказался.

Еще солнце было надъ горизонтомъ, а ужъ въ садикѣ передъ рестораномъ дефилировала публика; съ балкона ресторана неслись звуки марша. Внутри вокзала хлопали пробки, слышался хохотъ и звонъ стакановъ. Гдѣ-то глухо стучали бильярдные шары. Воздухомъ доносило запахъ пива и кухни. Всѣ смотрѣли, посмѣиваясь и перешептываясь, на высокую фигуру священника. О. Иванъ чувствовалъ себя неловко.

— Пойдемъ-ка лучше... гдѣ поглуше!

Въ глухой аллеѣ Павлинька взяла его подъ руку.

Они вышли къ откосу и сѣли на зеленую скамейку.

Внизу серебрилась рѣка, къ нимъ доносился свѣжій запахъ воды. По рѣкѣ сновали лодки. На одной изъ нихъ играла гармоника. За рѣкой темнѣло Зарѣчье. Солнце садилось позади Зарѣчья, а потому всѣ постройки его, заводы и трубы фабрикъ казались черными сквозь красноватую дымку заката. На фабрикахъ уже зажглись огни, — тамъ еще происходила работа.

— Помирились? — спросилъ о. Иванъ Павлиньку.

Она слегка коснулась его плечомъ.

— Какой ты чудакъ! — произнесла она съ грустью: — вѣдь мы и не ругались.

— Такъ стало-быть... ты поѣдешь?

Она помолчала.

— Не отравляй ты мнѣ вечера! Посмотри... какъ хорошо тутъ! Забыться хочется! Посмотри! Какія нѣжныя краски! Ахъ, зачѣмъ я не художница! Я бы рисовала... Смыслъ въ жизни былъ бы!

— А какой смыслъ жизни въ рисованьи?

— Не знаю... А какой смыслъ въ теперешней жизни?

Басовитый заводскій гудокъ поплылъ въ воздухъ. Гдѣ-то кончали работу. Ему отозвались здѣсь и тамъ скрипучіе или тонкоголосые гудки, словно фабрики перекликались.

— Живешь день за день...—сказалъ о. Иванъ, задумчиво наблюдая, какъ солнце опускается въ багровый туманъ:—для чего живешь...

Она ласково нагнулась и заглянула ему въ лицо.

— И ты?..

Съ балкона долетѣли звуки трубы: — тру-ту-ту тру-ту...

Солнце коснулось горизонта и день побагровѣлъ, точно сонное лицо. Черныя трубы отпечатались на дискѣ солнца и точно выросли. По балкону будто отплясывали боги изъ „Орфея въ аду“:—„мы пойдемъ—пойдемъ мы“... О. Иванъ съ Павлинкой опять вмѣшались въ толпу. Когда они проходили мимо дверей вокзала, съ бѣлыхъ его ступенекъ кого-то выводили подъ руки.

— Смотри!—сказала Павлинка:—самъ Удаловъ!

Это былъ низкорослый, широкоплечій, тучный старикъ съ бычачимъ, пьянымъ лицомъ. Его осторожно поддерживали подъ руку съ одной стороны официантъ, съ другой—самъ хозяинъ вокзальнаго ресторана м-г Шикъ. Удаловъ ломался, кобенился и хрипѣлъ:

— Я царь... я Богъ!..

— Фаэтонъ! Малшикъ! Живѣй!—шепталъ другому официанту м-г Шикъ.

Официантъ стрѣлою летѣлъ къ выходу и тамъ кричалъ:

— Удаловскій кучеръ! Лошадей!

Публика разступалась передъ этимъ торжественнымъ шествіемъ.

Удаловъ хрипѣлъ, почти на рукахъ увлекаемый къ выходу и шурша по песку отяжелѣлыми ногами:

— Я че-е-рвь...

Боги кончили свой бѣгъ.

Музыка смолкла.

Въ тотъ же моментъ изъ-за рѣки донеслись звуки хорового пѣнія. Что-то торжественное, величавое поплыло въ воздухъ, точно невѣдомый гимнъ возникъ откуда-то изъ таинственной глубины и поднимался выше и выше, все охватывая собой. Удалова забыли. Всѣ изъ садика бросились къ откосу. Даже м-г Шикъ и официанты бѣжали вслѣдъ за публикой. Видно было, какъ за оградой сада извозчики встали на козлы, освѣщенные зарей, и смотрѣли въ ту же сторону, куда, жестикулируя, указывали бѣгущіе люди.

Заря охватила полнеба точно заревомъ.

На ея багровомъ фонѣ чернѣли рѣзко силуэты трубъ гигантскихъ фабрикъ и заводовъ Зарѣчья. Улицы Зарѣчья были полны. Точно черные гномы, угрожая землѣ, вышли изъ невѣдомыхъ трещинъ и шумною, плотною толпой медленнымъ потокомъ заполняли улицы съ колеблющимися въ воздухъ знаменами. И точно изъ одной гигантской груди лились смѣлые звуки торжествующаго гимна.

— Пойдемъ туда, пойдемъ!—шептала Павлинька возбужденно:—что это? Ахъ, какъ это интересно! Что это?

Она тянула его за рукавъ, пробиваясь черезъ толпу.

— Пойдемъ! Я тутъ знаю близкую дорогу.

Они поспѣшно начали спускаться по тропинкѣ, которая вывела ихъ на нижнюю улицу откоса, гдѣ въ одинъ порядокъ лицомъ къ рѣкѣ выстроились дома извѣстныхъ фабрикантовъ. Теперь въ этихъ домахъ мелькали огни, то открывались, то закрывались окна; въ нихъ смотрѣли встревоженные лица. Здѣсь и тамъ выходили изъ парадныхъ дверей хозяева этихъ жилищъ, сходились группами.

— Смотри,—шептала Павлинька, увлекая о. Ивана:— вотъ Шилороевы,—вотъ Нагель... Вотъ Кандауровы!

О. Иванъ удивленно осматривался.

Освѣщенные багровымъ румянцемъ зари, эти тучные и важные люди подошли къ откосу, громко переговариваясь, безпокойно жестикулировали. Когда Павлинька съ о. Иваномъ поспѣшно шли мимо, какой-то высокій, сѣдой старикъ говорилъ:

— Сейчасъ же надо дать знать губернатору!

— Ужъ Мейеръ поскакалъ.

— Это удаловскіе подняли всѣ заводы!..

Пѣніе разросталось, точно къ сотнямъ первоначальныхъ голосовъ присоединялись тысячи. И будто вздрагивали дома въ трепетѣ.

— Скорѣй, скорѣй!—шептала Павлинька.

Ихъ обгоняли, спотыкаясь, какіе-то люди въ курткахъ.

Бѣжали полицейскіе. Проскакалъ полицеймейстеръ. Гдѣ-то раздалась военная команда.

У моста ихъ догнала Александра Порфирьевна.

Обычное спокойствіе оставило ее. Лицо ея пылало, глаза сіяли.

— Слышите! слышите!—говорила она,—скорѣй, скорѣй...

За мостомъ они попали въ медленно и стройно идущую толпу.

Здѣсь шли люди въ рабочей одеждѣ, иные не сняли даже фартуковъ. То блѣдныя, то загорѣлыя, но спокойно-торжественныя лица. Въ вихрь поднимающихся звуковъ попали путники.

— Вотъ шилороевскіе идутъ... а это удаловскіе!— возбужденно показывала Александра Порфирьевна:-- вотъ эти черные... смотрите! Это отъ Нагеля...

Многіе ей радостно кивали, снимали шапки, махали ими...

— Съ нами?

— Съ вами!!

Гдѣ-то около нея загорѣлось „ура“...

И его подхватили и дальше. Оно перешло въ какіе-то грозящіе крики, изъ которыхъ можно было разобратъ только одно слово:

— Долой!.. Долой!!!

И эти крики бѣжали къ тому берегу, гдѣ по откосу виднѣлись испуганно-жестикующіе изящно одѣтые люди, освѣщенные, какъ заревомъ, багровымъ свѣтомъ зари, огнемъ отражавшейся въ стеклахъ.

Мѣстами мелькали уже знакомыя о. Ивану лица. Какъ земляной комъ шелъ въ черномъ фартукѣ Потаповъ.

Твердо вышагивалъ рядомъ съ нимъ Ляксанычъ, неся знамя, и лицо его горѣло отъ сосредоточеннаго возбужденія.

О. Иванъ прочиталъ надпись на знамени и испуганно вздрогнулъ. Онъ, какъ сонный, осмотрѣлся кругомъ удивленными глазами, впервые уясняя себѣ грозный смыслъ происходившаго: точно впервые увидалъ пропасть, въ которую катился знакомый ему міръ! Ему показалось, что въ головѣ у него закружился вихрь, крутя тучи какихъ-то засохшихъ мыслей, а въ груди поднялось широкое чувство, никогда не испытанное. Онъ отдавался этому властному потоку стройно

идушихъ людей, смотрѣлъ на серьезныя, сосредоточенныя лица, наблюдалъ, какъ суетилась растерявшаяся полиція и какъ вводитъ солдатъ, заграждавшихъ одинъ изъ переулковъ, взялъ къ ружью по командѣ, но такъ и застылъ безъ движенія. Онъ думалъ, что новая сила какая-то выросла въ жизни, пока жилъ онъ въ своемъ глухомъ углу, сила грозящая, еще непонятная ему... Но вспоминая факты жизни, онъ подумалъ, что это „новое что-то“ растеть вездѣ...

Стемнѣло.

Толпа расходилась, таяла съ пѣснями, замиравшими вдали.

— Хотите я васъ съ хорошими людьми познакомлю?— возбужденно говорила Александра Порфирьевна: — Хотите?

Они молча вошли за нею на какой-то дворъ.

— Васенька дома?

Сѣдой старикъ еврей внимательно осмотрѣлъ ихъ, улыбнулся Александрѣ Порфирьевнѣ и молча указалъ на высокій, черный сарай, откуда раздавались голоса. Они проникли туда. Сарай былъ обширный, безъ потолка, съ черными, толстыми балками. Здѣсь, при свѣтѣ лампы, стоявшей на столѣ, помѣщались на верстакахъ, на скамьяхъ, среди стружекъ и бѣлыхъ, только что обструганныхъ досокъ, все больше молодые люди съ возбужденными лицами. На него всѣ посмотрѣли строго и подозрительно, но Александра Порфирьевна закивала головою:

— Свои! свои!

Ораторъ, молодой еврей, съ нервнымъ до болѣзненности лицомъ, съ нервной жестикуляціей, заговорилъ страстно, возбужденно, отъ волненія усиливая акцентъ.

— Я говорю... событія растутъ!!! Я говорю... теперь моментъ, когда мы должны предъявить требованія

формулировать ихъ рѣзко, ясно, опредѣленно, безъ рабскаго страха. Я презираю трусливую умѣренность, боящуюся назвать плеть плетью даже тогда, когда она опускается на спину!

Онъ гнѣвно протягивалъ руки.

— Я пре-зи-ра-ю!!!

Къ Александрѣ Порфирьевнѣ подошелъ молоденькій юноша съ бѣлой бородкой. Отъ него пахло клеємъ и на одеждѣ еще дрожали стружки.

— Васенька!—обратилась къ нему Александра Порфирьевна,—познакомьтесь всѣ...

Она познакомила его съ о. Иваномъ.

Васенька ласково и внимательно посмотрѣлъ на о. Ивана подслѣповатыми, добрыми глазами и заговорилъ что-то о нѣмецкомъ рейхстагѣ, о Бебелѣ, о послѣдней крупной побѣдѣ социаль-демократіи...

О. Иванъ странно смотрѣлъ и слушалъ.

Онъ искалъ глазами Александру Порфирьевну. Но она уже была у стола; свѣтъ лампы падалъ на ея взволнованное и радостное лицо. Ей хлопали и что-то кричали со всѣхъ сторонъ, а она кивала головою.

— Господа!—говорила она:—я такъ счастлива сегодня, такъ довольна! Нѣтъ выше счастья, какъ видѣть растущую побѣду, побѣду разумной, организованной силы надъ испуганнымъ чудищемъ угнетенія... еще одну побѣду новаго міра надъ старымъ! Но я все-таки хочу сказать нѣсколько словъ по поводу заявленія Моисея Абрамыча...

И она начала говорить что-то непонятное для о. Ивана.

Онъ взглянулъ на Павлинку.

Та широко - открытыми, лихорадочно - блестящими глазами осматривалась вокругъ.

...
Поздно въ эту ночь о. Иванъ провожалъ отъ Пере-

хватова Александру Порфирьевну. Павлинька осталась ночевать у отца.

О. Иванъ шель задумчиво, смутно настроенный.

— О чемъ вы задумались? — тихо спросила Александра Порфирьевна.

— Да такъ... Какъ-то все странно... Что-то новое во-кругъ! Что-то незнакомое! Какъ-то всё... словно думаютъ и живутъ по-иному... Всё чего-то хотятъ! И вотъ мнѣ даже страшно, что я... не хочу ничего!

Онъ задумчиво посмотрѣлъ на нее изъ-подъ шляпы темными глазами.

— И говоря откровенно, мнѣ какъ-то совѣстно этого. Точно я въ первый разъ думать началъ! Какихъ-то мертвыхъ людей видѣлъ я до сихъ поръ... Или самъ, что ли, мертвый былъ?! И увидалъ живыхъ... пламенныхъ, какъ Маккавеи!

Онъ помолчалъ.

— Точно не жилъ я!

Ночь нѣжными объятьями обнимала Зарѣче.

Шаги ихъ далеко звучали по безлюдью.

Мимо нихъ скользнула проститутка и чему-то тихо засмѣялась.

— Зачѣмъ вы пошли въ священники? — негромко спросила Александра Порфирьевна.

— Зачѣмъ?

Онъ помолчалъ.

— Куда же было идти?..

Онъ чувствовалъ смутную тяжесть на душѣ.

— Иванъ Васильчъ! — сказала Александра Порфирьевна, первый разъ назвавъ его такъ.

И она тихо коснулась его руки.

— Вы меня простите! Я вѣдь... такая несдержная... Я васъ оскорбила давеча.

— Чѣмъ? — удивленно посмотрѣлъ онъ на неё.

-- Своимъ выраженіемъ... о священникахъ! Я такъ привыкла считать священниковъ... врагами народа.

— Нѣтъ!—вдругъ горячо сказалъ о. Иванъ, почувствовавъ какой-то острый уколъ въ сердце: — нѣтъ, я не врагъ народа! Если я пошелъ въ священники... то кто знаетъ... какъ это вышло! Странно какъ-то... Вотъ, мнѣ кажется, я долго шелъ подземельемъ... и вотъ свѣтъ какой-то! А я еще не могу понять, что это за свѣтъ... Но я употреблю все усиліе мысли... и пойму!

Но ее все мучила какая-то тайная мысль.

Когда уже близко завиднѣлся широкозадовскій домъ, она сказала:

— А все-таки я васъ оскорбила! Я тѣмъ болѣе не имѣла на это права, что мой собственный отецъ...

Губы ея крѣпко сжались, какъ отъ острой боли.

— Принадлежить къ классу угнетателей... Но что жъ... его извинить надо! Онъ въ этомъ, быть можетъ, уже не такъ виноватъ... Онъ человѣкъ стараго міра. Этотъ міръ надъ нами уже безсиленъ, но на нашихъ отцовъ онъ легъ бременемъ и придавилъ ихъ къ земной грязи. Да я и благодарна отцу: онъ далъ мнѣ жизнь и далъ образованіе! Два безцѣнныхъ дара! Зато я исправлю зло, которое онъ дѣлаетъ...

— Какъ?—взглянулъ онъ удивленно.

— Вы слышали, что давеча говорилъ Удаловъ? Онъ славный мальчишъ... не правда ли? Все въ жизни подгнило, подгнили самые корни лжи. Эту ложь, плодящую слезы, еще крѣпко охраняютъ люди стараго міра. Чтобы придать ей блестящій видъ, существуютъ рабочіе, созидающіе богатства, которыми не пользуются. Чтобы придать ей силу, существуютъ солдаты со штыками и пушками, чтобы окупить ее, — существуютъ биржа и банки. Чтобы оправдать ее,—существуютъ судьи

и священники... вы простите меня опять! Чтобы разрушить эту ложь... пришли мы!

— Мы? — повторилъ онъ, удивляясь этой дѣвчкѣ, такъ авторитетно поучающей его непонятными ему рѣчами:—кто это... мы!

— Мы!—горячо сказала она:—всѣ, кто ненавидитъ царящую ложь, кто жаждетъ бороться съ нею грудъ съ грудью... Мы, отбросившіе предразсудки нашихъ отцовъ, перегородки, раздѣляющіе людей на богатыхъ и бѣдныхъ, аристократовъ и рабовъ! Мы, поклоняющіеся солнцу будущаго... Мы... демократы!

У калитки дома они простились.

— Александра Порфирьевна, — удержалъ онъ ее слегка за руку:—что давеча пѣли?

Она тихо засмѣялась.

— Пѣсни будущаго!

VIII.

День клонился къ вечеру, а жаръ не спадалъ. Раскаленный воздухъ былъ душенъ. Небеса казались сѣрыми, пыльными, степная зелень поблекла. Даль курилась, словно желтый туманъ выходилъ на концахъ поля изъ невидимыхъ земныхъ расщелинъ. Среди желтыхъ, сѣрыхъ, бурыхъ, пыльных тоновъ на западѣ зловѣщей черной тѣнью поднималась изъ-за горизонта туча, какъ крутая спина. Солнце шло къ ней, а она подвигалась къ солнцу... И солнце, точно отъ страха, блѣднѣло, погружаясь въ испаренія.

Подрасникъ на о. Иванѣ, взмокъ, изъ сѣраго превратился въ черный и слегка курился, какъ курились взмыленные бока лошадей. О. Иванъ обернулся къ тарантасу и просительно заглянулъ подъ громадный, покрытый пылью зонтъ, гдѣ пріютились супруги.

— Павлинька! Ужъ ты мнѣ позволь, старику, под-
рясникъ-то снять... уморился!

— Что это, Иванъ Василичъ, какія церемоніи!--за-
смѣялась Павла Григорьевна:—свои люди-то!

— То-то, Вѣдь съ вашей сестрой безъ церемоній
нельзя! Все по свѣтскости... а я не умѣю!— говорилъ
о. Иванъ, снимая подрясникъ и оставаясь въ простор-
ной свѣтлой ситцевой рубахѣ, подпоясанной истертымъ
ремешкомъ.

Онъ снялъ и шляпу, и отдуваясь, какъ кить, обма-
хивалъ себя ею.

— Жа-ара-а! Ну, и гроза будетъ, братики мои! Толь-
ко бы до парома во-время добраться да переправиться
черезъ Поѣму.

— А поскорѣе бы ѣхалъ!—отозвался изъ подъ зонта
о. Матвѣй.

— Запрягись-ка самъ! Развѣ можно лошадей гнать
въ такую духоту. Видишь, въ мылѣ всѣ...

Онъ любовно смотрѣлъ на лошадей.

— Ду-у-шевные!!

Солнце изъ блѣднаго становилось краснымъ.

Воздухъ пропитался багровымъ отсвѣтомъ, багро-
вымъ стало небо, а степь, съ разбросанными тамъ и
сямъ одинокими стогами, будто напилалась кровью.
Лишь туча оставалась черной. Она медленно, но не-
умолимо росла; отъ ея черного туловища протянулись
черныя руки на полнеба, будто кто враждебный и
самоувѣренный вызывалъ міръ на единоборство. И во-
кругъ природа проникалась тревогой. Тревожно сно-
вали ласточки, кулики съ печальнымъ свистомъ про-
носились куда-то. Галки торопливо летѣли на ночлегъ,
оглашая воздухъ рѣзкими криками. Стога, кусты, бар-
сучьи насыпи, казалось, со вниманіемъ смотрѣли освѣ-
щенной стороною своею на западъ, тревожно выжидая;

отъ неосвѣщенныхъ же сторонъ ихъ бѣжали длинныя тѣни.

— Будетъ потѣха! — говорилъ о. Иванъ, наблюдая, какъ быстро выростала туча:—нынѣшнее лѣто грозъ-то не было... Эта наверстаетъ! Да скоро, что ли, Поема-то?—спросилъ онъ работника.

Абдулка привсталъ на козлахъ, черезъ дугу наблюдая убѣгавшую дорогу.

— Бирста!—коротко сказалъ онъ.

— Верста-а?.. Ну, такъ поторапливай. Въ грозу паромъ не поидеть, не заночевать бы на бережку подъ березками. А до Богдановки, тамъ, кажется, верстъ семь еще останется? Ну, не пріѣхать намъ къ о. благочинному сухими! Вспа-а-рить бока!

Пригорокъ и кусты быстро выростали.

— Жара-то... Печка!—отдувался о. Иванъ.—Ого! Теперь бы въ воду!

— Большой вода идетъ!—ослабился Абдулка, кивнувъ на тучу.

— Да-а-а! Погремить и посверкаетъ... А какъ это по-твоему,—обернулся онъ къ Абдулкѣ:—отчего громъ гремить?

Абдулка пожевалъ губами.

— Аллахъ гуляйтъ.

— А, можетъ быть, Магометъ? — засмѣялся о. Иванъ.

Абдулка подумалъ.

— Мужетъ быть... Имъ работать—дѣла нѣтъ! Мала-мала полежалъ, мала-мала погулялъ.

— Хорошая жисть!

— Сява лучше надо! Наша мулла сарманайскій тамъ бывалъ.

— Гдѣ?

Абдулка ткнулъ пальцемъ къ небу.

— Тамъ! Два день спалъ,—хоронить хотѣлъ,—а онъ встаетъ. Бу-ульно хвалилъ!

— Чего же онъ тамъ дѣлалъ?

— Барашка кушалъ, кумызъ кушалъ... дивочка игралъ. Бу-ульно хвалилъ! Потомъ жена ему глаза царапалъ...

— За что?

— За дивочка... Потомъ мулла сказывалъ: барашка былъ, кумызъ былъ, а дивочка не былъ...

О. Иванъ смѣялся.

— Нѣтъ, Абдулка, слушай-ка! Тебѣ непременно креститься надо! Богъ-то у насъ одинъ, только вѣра разная, а наша вѣра ку-уда лучше вашей! Вонъ у васъ въ раю-то, какъ на землѣ, барановъ жрутъ да кумысы лакаютъ! Развѣ это рай? Какой это рай! У богатаго человѣка и на землѣ рай выходитъ: и бараны, и кумысы есть, и женъ гаремъ цѣлый... А у насъ, братъ, въ раю-то... благод-а-ать!

Абдулка моталъ головой.

— Богъ одинъ, вира разна. Всякій вира хорошъ, который человѣкъ хорошъ. Богъ на морда видитъ, который человѣкъ хорошъ. Который человѣкъ — плохой человѣкъ, татаринъ, русскій... пся ровна... баръ-бирь... шайтанъ лапамъ гуляйтъ!

И онъ закричалъ на лошадей гортаннымъ крикомъ, который онѣ такъ хорошо понимали. Онѣ поджались, вытянулись. Пригорокъ все выросталъ. Съ рѣки потянуло прохладой. Лошади захрапѣли, втягивая ноздрями свѣжій воздухъ.

Внезапно угрюма-тѣнь упала на дорогу.

Солнце погрузилось въ тучу.

Ласточки исчезли, кулики смолкли, только вдали гдѣ-то безпокойно кричала запоздавшая галка. Стога и пригорки будто присѣли и прижались къ землѣ.

Туча, поглотивъ солнце, на мигъ пропиталась багровымъ свѣтомъ, но снова потемнѣла и стала черной, только кое-гдѣ на ней клубились сѣрые пятна, будто отъ застывшихъ пушечныхъ выстрѣловъ. Казалось, голова чудовища разрасталась надъ полями, и космы волосъ ея, мѣстами сѣдыхъ, мѣстами черныхъ, разбросались по небу.

Подъ зонтомъ разговаривали.

— Я сказалъ и повторяю, — недовольно ворчалъ о. Матвѣй: — лучше быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ послѣднимъ въ городѣ. Тутъ я хозяинъ... лицо! Передо мною мужики шапки ломаютъ! Тутъ я чувствую власть свою! Тутъ я и священникъ, и администраторъ, и до нѣкоторой степени судія! Единоновременно! Да и вообще...

— И вообще? — съ отѣнкомъ презрѣнія въ голосѣ повторила Павла Григорьевна.

— И вообще я въ городъ ни въ какомъ случаѣ не пойду!

— Да развѣ я зову тебя туда?

— Какъ? — удивленно сказалъ о. Матвѣй: — такъ чего же тебѣ тогда нужно? Чего тебѣ мало? Что у тебя за жадная душа!

Павла Григорьевна молчала.

— Я тебя спрашиваю, наконецъ! — раздраженно закричалъ о. Матвѣй: — что молчишь? Надо намъ договориться до конца!

Не отвѣчая ему, Павла Григорьевна выглянула изъ-подъ зонта.

— Гроза идетъ! — вскричала она: — какая прелесть!

Она поспѣшно закрыла зонтъ, говоря возбужденно:

— Сейчасъ громъ будетъ! Громъ... молнія! Буря! Какъ я люблю! Мнѣ все хотѣлось на морѣ въ грозу побывать... Въ штормъ! Иванъ Василичъ, посмотри. Туча... черная, черная!!

— Словно крепостная стена надвигается... А вон! бойницы!! Сейчас пальба будет! Бомбы, снаряды полетят! А снизу... у горизонта... что-то сверху дымится! Словно конница скачет!

— Ничего... не сахарная!

Она, не спуская глазъ съ тучи, отвела его руки.

Кони мчали.

Въ воздухѣ разливалась влажность.

— Всегда были глупости на умъ:—проворчалъ о. Матвѣй, закутываясь въ шаль, отчего сразу сталъ напоминать цыгана.

Тарантасъ сдѣлалъ три поворота по песчаной дороге, среди низкорослаго дубняка и выѣхалъ къ парому.

•Отъ парома кричали десятки голосовъ:

— Ско-р-ѣй!! Гроза и-де-етъ!!

У парома батюшкиныхъ лошадей вмигъ отпрягли, а тарантасъ вкатили на паромъ, гдѣ нѣсколько крестьянскихъ телѣгъ съ разнымъ товаромъ стояло поднявъ вверхъ оглобли, такъ что для тарантаса оставалось еще мѣсто. Батюшка самъ наблюдалъ, какъ вводили на паромъ лошадей.

— Осторожнѣй, братіе!—говорилъ онъ:—пугливые у меня кони-то... особенно коренникъ! Зубы вышибетъ.

— А мы слышимъ,—звоняетъ колоколець!—суетился около батюшки, ничега не дѣлая и мѣшая другимъ, низкорослый паромщикъ съ сизымъ носомъ и слезящимися глазами:—безпремѣнно, думаемъ, батюшка! Потому у начальства звонъ стро-огій, а у батюшекъ колокольцы поютъ, какъ пѣвчіе на молебнѣ.

Онъ метнулся къ высокому мужику.

— Куды возжу-то тянешь... чертоломъ! Бархатна духовная возжа-то! Не веревка!

— Н-ну... ты!—хмуро скосился мужикъ:—подхалюза! Паромъ отчалилъ.

Онъ бороздилъ еще свѣдое пространство рѣки, а къ западу, откуда шла туча, казалось, въ рѣку вылились чернила съ кровью. Уже туча утратила всякія формы. Это была нарастающая мгла, надвигавшійся хаосъ,—еще молчащій, но уже таящій ужасы, отъ которыхъ заранѣе вздрагивала земля.

Сидя въ тарантасѣ, Павла Григорьевна не спускала съ тучи широко раскрытыхъ блестящихъ глазъ, сложивъ руки будто въ молитвѣ какому-то невѣдомому, но влекущему ее божеству.

— Митричъ! Тяни крѣпче!—кричали мужики паромщику.

— Подсоби иди!—хрипѣлъ Митричъ.

— До грозы бы Богъ далъ! Ишь напоздать...

— Ничего, съ нами батюшки!

Мужики смѣялись.

— Что это вы за товары везете, братіе?—спросилъ о. Иванъ, шупая возъ:—на ярманку, что ли?

— Въ Богдановку, на ярманку. Ярманка завтра. Такъ... всячину веземъ... чашки да ложки, черепки да плошки.

— Хорошій торгъ бываетъ?

— Дрянъ!—отозвался отъ тарантаса о Матвѣй.

— Нѣтъ, —ничего себѣ!—говорили мужики:—въ прежни годы совсѣмъ была добра ярманка... Ну, по-нѣшны года... извѣстно, вездѣ народъ подорвался. Хлѣба нѣтъ, сѣна нѣтъ.. скотъ перевелся...

— А народъ извелся!—угрюмо вставилъ высокій мужикъ, сдвинувъ шапку на затылокъ и смотря на тучу:—отъ разныхъ притѣсненіевъ...

Бабы на возахъ при этихъ словахъ, будто по уговору, вздохнули, а мужики понурились.

— Земскій... извѣстно-что... его благородіе... строго-некъ... Тоже тѣснить... и не къ дѣлу иной разъ!

— Посамостоительнѣ надо съ нимъ!—сказалъ чей-то спокойный, немного насмѣшливый голосъ:—кто шапку ломить да спину гнетъ,—самъ на всякое притѣсненіе напрашивается.

О. Иванъ взглянулъ на говорившаго.

Это былъ кряжистый, сутулый мужикъ, съ умнымъ спокойнымъ лицомъ, веснущатымъ и бритымъ. Щетиныстые усы прикрывали у него тонкія, рѣшительно-сжатія губы, а взглядъ у него былъ какой-то хмуро-насмѣшливый.

— Ты храбрый...какъ тебя звать-то?—сказалъ о. Иванъ.

— Звать-то меня Алексѣемъ,—отвѣчалъ мужикъ,—а храбрость-то всѣмъ полезна. Горячаго коня не бьютъ,

не хлещутъ, зубастую ~~арбаку~~ не трогаютъ! Большая птица индюшка, да что въ ней толку,—а гусь запи-
пить да нѣю вытянетъ,—отъ него сторонятся...

— Это правильная рѣчь!—сказалъ высокій крестья-
нинъ:—мужикъ привыкъ къ окрику,—не огрызается...
Вотъ на него всякая сволочь верхомъ и садится... Да
ничего!—вдругъ добавилъ онъ хмуро:—отходить время!

— Умное слово хорошо и выслушать!—сказалъ
Алексѣй:—кабы всѣ мужики такъ думали..., Общей
думой!

— И будутъ!—сказалъ круто крестьянинъ.

О. Иванъ съ удивленіемъ слушалъ этотъ разговоръ.
Но вдругъ онъ схватился за шляпу и крикнулъ:

— Э-ге-ге! Ну, теперь держись, братіе!

Паромъ достигъ уже середины рѣки.

Рѣка нахмурилась.

Зловѣщая тишина какъ что-то живое, опасливо тая-
щесся, обняла потемнѣвшіе берега. Точно умерли птицы,
припали къ песку кулики, застыли въ камышахъ утки;
только съ отчаяннымъ крикомъ металась надъ рѣкою чай-
ка,—будто потерявъ дорогу. Лошади храпѣли, пугливо
вытягивали шеи въ предчувствіи первыхъ ударовъ, бы-
стро надвигавшихся изъ растущей тьмы. Черною тѣнью
опрокинулась туча въ рѣку, и паромъ, казалось, несясь
въ самую пасть чудовища, готового дохнуть ураганомъ,
брызгами, пѣной, пылью...

И оно дохнуло!

Еще издали увидалъ о. Иванъ, какъ неподвижныя
деревья низового берега взлохматились, почернѣли,
вазмахнули всѣми вѣтвями, вразъ нагнулись къ землѣ.
Словно играя въ чехарду, черезъ нихъ запрыгали клубы
дорожной и пашенной пыли, всталъ огромный вихрь и,
крутясь, обрушился въ воду.

Мигъ...

И все смѣшалось: вода, земля, берега, деревья, небо...

Кто-то огромный дышалъ чернымъ, влажнымъ, пыльнымъ дыханьемъ. Съ свистящимъ воемъ вѣтеръ рвалъ водную поверхность, расшибая ее въ брызги.—раздиралъ вверху въ клочья тучи.

Кони топали, ржали.

Полы армяковъ хлопали, точно ладоши; солома выбызила на возахъ; бабы припали къ ней, причитая:

— Царица Небесная! Страсти какія! Съ нами крестная сила!

— Митричъ! Тяни! Тяни крѣпче! Ляксѣй... помогай ему! Берись всѣ, братцы!

У кричащихъ мужиковъ вѣтеръ пытался оторвать бороды и невидимой рукой трепалъ ихъ за волосы.

Павла Григорьевна замерла въ безмолвномъ восторгѣ.

Она смотрѣла въ самую глубь бѣгущей бездны, слѣдила напряженнымъ взглядомъ за безумнымъ полетомъ вверху черныхъ, сѣрыхъ обрывковъ разорванныхъ вѣтромъ тучъ и радостно вадрогнула, когда, какъ изъ лопнувшей гранаты, надъ головою ея зигзагами побѣжали молніи, и трескучей тяжестью упалъ на воду громъ.

— Спрячься, спрячься!—испуганно бормоталъ ей о. Матвѣй,—иди подъ тарантасъ... сейчасъ ливень будетъ!

— Уйди!—сказала она нетерпѣливо.

— Тяни, Ляксѣй, тяни!—орали мужики:—Митричъ!

— Батюшка! Подсоби!—смѣясь, обернулся Алексѣй къ о. Ивану:—ты, видать, сильный...

— Ничего, ничего!—сказалъ о. Иванъ, засучивая рукава:—за хвостъ лошадь остановлю!

— Но счасу?

— А то въ стойлѣ, ~~чи~~ ли?

И онъ хотѣлъ взяться за канатъ.

Но въ это время сверху, изъ тучъ, точно тяжесть упала:—яростный порывъ вѣтра вдавилъ паромъ въ воду, обнялъ его со всѣхъ его смоляныхъ боковъ,—накренилъ и съ отчаянной силой толкнулъ впередъ. Алексѣй, хрипя, пошатнулся и грузно грохнулся на полъ, а черезъ него кубаремъ покатился Митричъ.

Канатъ, шурша, заскользилъ, безсильно падая.

Какъ долгіе годы носившій цѣпи рабъ, паромъ дрогнулъ, почуявъ свободу. Онъ закачался, остановился на мигъ въ раздумьи и быстро понесся по срединѣ рѣки, тихо вращаясь. Берега поплыли, на нихъ деревья гнулись въ отчаяніи, будто готовясь провалиться въ бездну, вокругъ паромъ черныя волны прыгали съ угрозой.

— Канатъ лопнулъ! Канатъ!!

Людей и животныхъ охватила паника.

Тучи треснули, молніи съ грохотомъ впились въ берега.

Полил ливень.

Лошади бились и визгливо ржали.

Бабы металась на возахъ, выкрикивая слова молитвъ. Возгласы отчаянія ихъ сливались съ воемъ вѣтра, шумомъ дождя, съ растеряннымъ говоромъ мужиковъ.

— Ребята!.. Пропали!

— Тамъ... ниже... горный берегъ!!

— Камни! Пороги!!

Митричъ метался у бортовъ.

— Господи! Господи! Господи! Смертьнька... Господи! Аннушка моя... Аннушка! Доченьки мои... прощайте... доченьки!..

— О, о-о!—вторили ему бабы.

И онѣ прыгали съ возовъ къ бортамъ, гдѣ сноваль Митричь и повторяли его движенья...

— Это Богъ! Это Богъ... за тебя!—визгливо кричалъ перепуганный и блѣдный о. Матвѣй женѣ: — кайся, преступница! кайся... какъ Іона...

— Тутъ китовъ не водится!—презрительно сказала попадья.

Она съ трепетнымъ восторгомъ дышала воздухомъ грозы и опасности, подставляя голову ливню и только боясь передъ всѣми обнаружить переполнявшую ее радость.

О. Иванъ стоялъ въ недоумѣніи, уперши руки въ бока и полураскрывъ ротъ. Онъ ~~сообразалъ~~ что еще верста, другая и паромъ неминуемо ~~разобьется~~ о пороги.

— Господи благослови! — ~~раздался~~ вдругъ крикъ смертельнаго ужаса.

И о. Иванъ увидѣлъ, какъ Митричь, истово перекрестившись, готовился прыгнуть въ воду. А за нимъ крестились бабы, мужики, и тоже тѣснились къ борту.

О. Иванъ поймалъ Митрича за рубаху, въ то время, какъ Алексѣй ухватилъ въ охабку толстую бабу, готовившуюся прыгнуть въ воду.

— Куда ты, разбойникъ?—кричалъ о. Иванъ,—уто- нуть хочешь?

Митричь стоялъ съ выпученными глазами, ничего не понимая и трясаясь отъ ужаса.

— Идіотъ!—въ октаву сказалъ о. Иванъ.

И, покрывая голосъ бури, онъ закричалъ:

— Людіе! Стой!!

Все смолкло на паромѣ, даже лошади, почуявъ голосъ властной воли,—затихли и скосились налитыми кровью глазами въ сторону человѣка, ставшаго хозяиномъ парома и ихъ судьбы.

— Вы што? Сбѣсились? — кричалъ онъ: — перетонуть задумали?! Живо!! Веревки сюда! Давай веревки!

Никто не сталъ спрашивать—зачѣмъ.

— Веревки! Бабы! Веревки батюшкѣ...

— Возжи давай! Скручивай! — распоряжался о. Иванъ.—Гнилыхъ не надо! Крѣпкія давай! Живо!! Абдулъ, вяжи! Всѣ сюда! Связывай! Алексѣй!

Громъ, не переставая, гремѣлъ.

Ливень отсѣдалъ туманной мглой, дрожащею и шумной, въ которой вертѣлись берега, точно паромъ стоялъ, а берега бѣжали.

О. Иванъ сбросилъ подрясникъ.

— Попадья! Отвернись!—кричалъ онъ.

Онъ сбросилъ сапоги и широкіе бѣлые панталоны.

Въ одной рубахѣ, неуклюже двигаясь, отбрасывая рукой съ лица намокшіе волосы, длинные, какъ у русалки, онъ обвязалъ себя подъ грудью веревкой и, перекрестившись, бухнулся въ воду, какъ грузный водолазъ,—отфыркнулся, тряхнулъ гривой, заоралъ:

— Отпускай веревку... не дремли! Алексѣй! Распоряжайся!

— Небось,—крикнулъ Алексѣй.

— Отпускай дюжѣй!! Когда крикну, заарканивай!

Жилистыя руки его... разъ, два... тяжело какъ лопастья, мѣрно, плавно разсѣкали волны. Онъ фыркалъ, громко и сильно вздыхалъ. Съ напряженнымъ вниманіемъ, съ надеждой и страхомъ, слѣдили мужики и бабы, какъ постепенно онъ скрывался за туманомъ ливня, въ черной пасти воющихъ стихій, за мглой бури. Казалось, деревья на стемнѣвшемъ берегу грозили ему черными вѣтвями, низко сгибаясь надъ водой, а черныя волны бились вокругъ съ насмѣшливымъ плескомъ. При вспышкахъ молній еще раза два мель-

кнула его косматая голова, будто свѣтящаяся фосфорическимъ свѣтомъ.

Потомъ она исчезла.

Только скользкая, вздрагивающая веревка говорила безмолвнымъ языкомъ своимъ, что онъ плыветъ, и всѣ напряженно смотрѣли на нее, слѣдили за ея трепетнымъ движеніемъ.

Страшная тишина наступила вдругъ въ небѣ и на паромѣ. Вѣтеръ спалъ, громъ стихъ, только дождь шумѣлъ...

Веревка безпомощно повисла.

Десятки глазъ смотрѣли на нее, раскрываясь все шире, съ ужасомъ, съ отчаяніемъ, съ мольбою, съ надеждой... Трескуцій раскатъ грома не вывелъ никого изъ неподвижности, точно тутъ столпились мертвецы, и только вновь налетѣвшій ураганъ трепалъ одежду, волосы, бороды и шали.

Внезапно веревка вздрогнула, вышла изъ воды, натянулась, — ослабла, опять натянулась, какъ струна. Алексѣй ловко накинулъ ее на столбъ. Паромъ вздрогнулъ, закачался, будто покорно вздохнулъ и, медленно повернувшись, тихо сталъ приближаться къ берегу!

... Когда всѣ съѣхали на берегъ, о. Иванъ, съ трудомъ залѣзшій въ мокрый подрясникъ, сказалъ слегка въ октаву:

— Хорошо бы теперь разогрѣться, братіе! Есть, что ли, водчонка-то, ребята?

Вмигъ отъ воевъ протянулись бабьи руки съ бутылками. Какъ по волшебству, отогнулись полы, и изъ мужичьихъ кармановъ повылѣзли сотки и двухсотки.

— Эге! Да вы народъ запасливый!

— Батюшка! Для тебя-то! Господи!

— Ро-дно-й!!

— Ладно, ладно! Закуски-то давайте! Бабы! Нѣтъ ли сушки какой?

И онъ покосился на о. Матвѣя, дрожащаго и жалкаго...

— Хочешь разогрѣться?

— Никогда я этой дряни не пивалъ! — стоналъ о. Матвѣй! — скорѣе бы до тепла куда, это лучше...

— А я выпью! — сказала попадья, тряхнувъ головой.

Она подошла къ о. Ивану, вызываяще и восторженно смотря въ лицо ему.

— Молодецъ, попадья! — одобрилъ о. Иванъ: — это полезно... кровь полируетъ! Только рюмки нѣтъ, ужъ извипи!

— А я и... изъ горлышка!

Она взяла двухсотку, подняла ее, какъ рюмку, и сказала неестественно-повышеннымъ голосомъ, поблѣднѣвъ и смотря въ лицо о. Ивана горящими глазами.

— За героевъ... и за все геройское въ жизни!

И, отхлебнувъ водки, до слезъ закашлялась.

Не спѣша, запрокинувъ голову, булькая, о. Иванъ перелилъ въ себя содержимое полбутылки, утеръ бороду, крикнулъ и сказалъ:

— Ловко! А теперь лѣшаго попугаемъ, чтобы не баловался другой разъ.

При смѣхѣ мужиковъ онъ обернулся къ бурлящей рѣкѣ и, покрывая голосъ бури, заоралъ:

— О-го-го-го-го-го-го-го-о...

IX.

Изъ оконъ благотѣлительскаго дома лились потоки свѣта, тусклыми пятнами играя въ уличной слякоти. Домъ гудѣлъ, какъ пчелиный улей. Но возбужденный и шумный разговоръ въ залѣ тотчасъ смолкъ, какъ

только показался о. Иванъ съ компаніей. Лишь въ сосѣдней комнатѣ еще гремѣлъ кто-то съ басистымъ хохотомъ:

— Она-а, доложу я вамъ... хо-ххо! Бабенка во-острая!

Быстрая женская рѣчь врѣзывалась въ этотъ смѣхъ:

— Ужъ вспомните, вспомните мои слова, что я говорила... Отъ крестовской матушки не ждите добраго, я говорила!

И точно подъ полъ провалились хохотъ и рѣчь.

Старый сѣдой благочинный съ смущенной улыбкой подходилъ къ гостямъ.

— А! Отче Иване! и отче Матвѣе! И вкупѣ съ матушкой! Радъ васъ видѣть! Радъ, радъ!

Онъ жалъ имъ руки и лобызался.

— Милости прошу къ моему шалащу. Дождикъ-то засталъ? Промочило, небось? Пожалуйте просушиться...

— Околѣ змія зеленаго?

— Да ужъ тамъ какой понравится! Всѣхъ цвѣтовъ есть...

О. Иванъ объяснилъ наскоро благочинному дорожное приключеніе и попросилъ сухой подрясникъ. Немедленно откуда-то прибылъ благочинническій подрясникъ, прихожую затворили и при общемъ смѣхѣ переодѣли о. Ивана съ церемоніями, какъ владыку, причемъ подрясникъ оказался тѣсенъ, коротокъ и трещалъ при каждомъ движеніи. Потомъ торжественно открыли дверь и повели о. Ивана подъ руки къ столу, смѣясь и крича:

— Дорогу Моисею, изъ пучины спасшемся!

А дьяконъ Сикеровъ пѣлъ:

Мо-оря Чермнаго пу-чи-и-ну...

Смущеніе быстро прошло.

По комнатамъ возобновлялся шумный говоръ.

Болѣ всего публики толпилось у стола съ выпивкой. Здѣсь солидно крикали, подмигивали другъ другу на бутылки, чокались, острили, потомъ, прожевывая закуску и отирая усы обширными платками, проходили въ столовую, къ чайному столу, чтобы вмѣшаться въ бойкій говоръ матушекъ, или окружали карточный столъ въ одномъ изъ угловъ залы, за которымъ въ облакахъ дыма виднѣлась тучная фигура духовнаго слѣдователя о. Ѡаворскаго, учителя Зигзагинскаго и двухъ батюшекъ незначительнаго вида. Ѡаворскій, съ круглымъ женскимъ лицомъ, едва поросшимъ растительностью, съ зобомъ и одышкой, былъ такъ рыхлотученъ, что остряки про него говорили, будто благодать на немъ почиваетъ, какъ водянка. Онъ часто острилъ, выдумывая необыкновенныя названія для картъ, хрипло смѣялся собственнымъ остроумъ, отчего ордена на груди его прыгали. И какъ только онъ начиналъ смѣяться, у публики, окружающей столъ, расплывались лица въ широкія улыбки, и колыхались животы отъ смѣха.

— Забубню загублю!—говорилъ о. Ѡаворскій:—а нука, что ты противъ моихъ забубенныхъ выставишь? Како возошіши?

Учитель Зигзагинскій, молодой человѣкъ съ сѣрымъ лицомъ и утинымъ носомъ, вторилъ ему:

— А мы, ваше высокоблагословеніе, пришибемъ червоточинкой... Ужъ вы черви, мои черви, черви черные мои!

Оба незначительныхъ батюшки вразъ сказали:

— Пасъ!

И одновременно посмóтрѣли на столъ съ закусками. О. Ѡаворскій топырилъ губы.

— А ежели... затузую я тебя? Что возглаголеши?

— Тогда мы подъ васъ двѣицу-съ... И догибнете-съ!

— Хе-хе-хе!—разражалась публика.

— Что онъ сказалъ? Что онъ сказалъ?—суетливо спрашивалъ молоденькій дьяконъ, съ острымъ носомъ, точно клевавшимъ воздухъ, и любопытнымъ лицомъ, заранѣе расплывавшимся отъ хохота:—что онъ такое сказалъ, братіе?

— Отъ дѣвицы, говорить... погибнетъ!

— А-ха-ха-ха!—визгливо хохоталъ дьяконъ, перегибаясь назадъ отъ удовольствія съ такимъ видомъ, точно его щекотали подъ мышками.

И онъ бѣжалъ къ чайному столу, чтобы прошептать остроту на ухо дьяконицѣ, такой же молоденькой и такой же любопытной, какъ самъ дьяконъ.

Дьяконица всплескивала руками.

— Врешь?!—захлебывалась она.

Дьяконъ наскоро крестился:

— Ей-Богу, право! Вотъ тѣ крестъ!

Онъ бѣжалъ къ столу съ закусками и видно было, какъ тамъ жестикулировалъ и перегибался отъ смѣха.

Дьяконица нагнулась къ правой сосѣдкѣ, потомъ къ лѣвой, и острота обошла весь столъ. Матушки и дьяконицы сдержанно смѣялись, утирая лица, разгорѣвшіяся отъ смѣха, чая и вина.

— Какъ это подходитъ къ отцу-то Павлу!—сказала благочинничиха, сохраняя спокойное и солидное выраженіе на красивомъ лицѣ своемъ.

— Ужъ Зигзагинскій и скажетъ! — поджимая въ усмѣшкѣ губы, сказала сухая, какъ скелеть, матушка, сильно качая головой, будто примѣрая, на которое плечо ее положить.

— А что правда, то правда... грѣха нечего таить!

— Вдовье дѣло, что подѣлаешь!

— Вдовье-то оно, вдовье... кабы поосторожнѣе.

— Говорятъ, у него на приходѣ, какъ которая дѣвица родитъ младенца мужского пола, Павломъ нарицаеть...

— Что же... Павлы Павлычи, значить... и къ произношенію пріятно!

Матушки благодушно закрывали, а дьяконица Ивановская даже завизжала отъ восторга.

Благочинничиha разливала чай изъ огромнаго самовара и только слегка улыбалась на смѣхъ собесѣдницъ.

— Вотъ бы ему... съ...—начала было она.

Но вдругъ, оглянувшись, замѣтила Павлу Григорьевну, сидѣвшую одиноко у окна, вмигъ поджала губы и закрыла лѣвый глазъ, обводя правымъ собесѣдницъ.

Тѣ фыркнули и чуть не попадали со стульевъ.

Павла Григорьевна рѣзко поднялась.

— Я думала, я въ гостяхъ!—глухо сказала она.

Всѣ любопытно притихли.

— А какъ же? — сдѣлала благочинничиha наивное лицо, хотя въ глазахъ ея играла злая насмѣшка:—на что это вы такъ обидѣлись, Господи Боже? Кажется, мы ничего такого... Конечно, обхожденіе у насъ... простое, не великatesное...

Она подчеркнула:

— Мы люди не городскіе... деревенскіе! Да, ужъ извините... мы не городскіе!

Павла Григорьевна смѣрила ее вызывающимъ взглядомъ.

На мигъ взгляды ихъ скрестились, какъ острые концы шпагъ передъ началомъ поединка.

— А развѣ батюшка о. Михаилъ не городской?—спросила съ внезапной усмѣшкой Павла Григорьевна:—вѣдь онъ, кажется, членъ консисторіи? Куманекъ - то вашъ?

Благочинничиha сдѣлала совершенно круглые глаза и раскрыла ротъ, но не выговорила ни слова.

Павла Григорьевна обратилась къ сухощавой матушкѣ, прожигая ее ядовитымъ взглядомъ.

— А вы что, матушка, такъ недовѣрчиво улыбаетесь? Вѣдь и вашъ вдовый дьяконъ, если не ошибаюсь, раньше при архіерейскомъ домѣ состоялъ?

— Охъ, что вы, мать... охъ, что вы,—въ ужасѣ замахала руками сухощавая матушка, точно отбиваясь отъ привидѣнія и готовая спрятать голову подъ столъ отъ нависшаго удара.

Благочинничиha встала.

— Что вы хотите, матушка, сказать?!

— Да ничего особеннаго! Просто одно только, что и вамъ городского-то кое-чего не занимать стать... напрасно вы себя унижаете!

Презрительное спокойствіе разлилось по лицу Павлы Григорьевны и она вышла въ залъ къ мужчинамъ, не обративъ никакого вниманія на свистящій шопотъ вслѣдъ себѣ:

— Ехи-дна!

За окномъ на улицѣ то и дѣло слышались колокольчики. Въ прихожую, шумно откашливаясь, входили новые гости, кряхтя раздѣвались тамъ, цѣловались, задавали басовитые вопросы:

— Ну, какъ ярманка?

— Да ничего себѣ ярманка!

— Миѣ вотъ нужны будутъ оглобли... къ телѣгѣ! Стояла на заднемъ дворѣ телѣга,—мужичишки... чтобъ имъ... оглобли поворовали!

— Ха-ха! Это бываетъ...

— Съ нынѣшнимъ народомъ бѣда! Хе-хе! А на дворѣ-то сыро...

— Ничего! Иди къ столу, просушимъ!

— Просушиловка есть, стало-быть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе...

— Сѣдый грядетъ, сѣдый!—запумѣло въ прихожей, а потомъ и въ комнатѣ.

Дьяконъ Ивановскій метнулся въ прихожую и возгласилъ:

— Передъ лицомъ сѣда-го возстані!

Потомъ въ комнату торжественно ввели подъ руки, Ивановскій и дьяконъ Сикеровъ, задыхающагося отъ тучковъ стараго священника, съ сѣдою гривой, какъ у льва, и бородою длинной, какъ у Іакова. Онъ шелъ, прихрамывая, точно разбитый на ноги, зорко посматривалъ вокругъ черезъ очки, шевеля густыми, еще черными бровями.

— Братіе и отцы! Новостей вамъ привезъ,—говорилъ онъ солидною старческой октавой.

Его окружили, усадили на диванъ.

— Депутату первое мѣсто!

— Какія же новости, о. депутатъ?

— Первая новость—вельми печальная! Всѣ вы, конечно, знали козловскаго дьякона?

— Какъ же! какъ же!—хоромъ подтвердили духовные: — что съ нимъ? Не запой ли опять? Или въ монастырь?

О. депутатъ помолчалъ для эффекта и сказалъ:

— Помѣшался!

— Я его вчера на постояломъ видѣла!—метнулась къ столу Павла Григорьевна:—можетъ ли быть...

— А въ какое время дня вы его изволили видѣть?

— Часовъ въ пять такъ...

— Ну, а въ десять онъ пришелъ къ семинаріи и сталъ бросать въ окна камни, которыхъ набралъ гдѣ-то полны карманы. Конечно, схватили... А онъ кричитъ:—Пустите... Я въ мертвый черепъ бросаю! Зачѣмъ онъ

глазами ворочаетъ! У него нѣтъ глазъ... однѣ впадины! Онъ, говорить, туда угольки вставилъ для обмана! Ложь! Ложь!

— Это его любимое словечко было,—вадохнулъ Сикеровъ.

— Мы какъ разъ со съѣзда шли, я да о. Кирикъ изъ Заозёрья. Электричество этакъ свѣтитъ... видимъ по площади за кѣмъ-то гоняются. Фигура высоченная, сухая, какъ столбъ телеграфный, голова—жбанъ, подрысникъ точно на вѣшалкѣ болтается. И отплясываетъ, посмотрѣли бы вы, яко Давидъ передъ ковчегомъ. Видимъ—дьяконъ! И видимъ, скачетъ дьяконъ, —точно звѣзды ловить, скачетъ и кричить: — „Кости стучать! Я тѣло мое сбросилъ... это кости стучать...“ Вотъ-вотъ его поймутъ, а онъ скокъ-скокъ! И ужъ въ другомъ концѣ скачетъ, глаза—угли, руками машетъ, какъ крыльями, а самъ все про кости:—„По всему міру, кричить, пройду и костями стучать буду... Вотъ бьетъ набать:—бумъ-бумъ“... Надулъ щеки, бьетъ себя по нимъ...

— Онъ всю жизнь въ стеклянный колоколъ набать билъ!—сказалъ отъ стола съ картами Фаворскій.

Всѣ сдержанно засмѣялись, кромѣ Павлы Григорьевны.

Вспыхнувъ, она слегка вздернула голову и рѣзко проговорила:

— Зато не плодилъ дѣтей по бѣлому свѣту, а которыхъ имѣлъ, воспитывалъ!

Тутъ выползло изъ кармановъ много обширныхъ платковъ, и точно по внезапной простудѣ у всѣхъ появился насморкъ.

— Что же касается другой новости, братіе, то сія характера болѣе отраднaго,—поспѣшно заговорилъ о. депутатъ, изъ-подъ густыхъ бровей своихъ внимательно покосившись на Павлу Григорьевну: — вчера при

закрѣпленіи сѣзда владыка намъ цѣлую рѣчь по этому поводу сказалъ. Есть предположеніе болѣе, чѣмъ вѣроятное, что всѣ школы, волею правительства, отойдутъ въ духовное вѣдомство.

Самые разнообразныя возгласы раздались въ отвѣтъ на это сообщеніе.

— Можетъ ли быть?

— Пустое! Откуда это?

— Вотъ превосходно!

— Ну, ужъ это, знаете, тоже... не было печали!

— Давно пора! Давно пора!

— Привѣтствуемъ мѣру сію, отъ души привѣтствуемъ!

Дьяконъ Ивановскій застылъ, не понявъ сначала въ чемъ дѣло, но потомъ заметался;

— Что такое? что такое? Стало-быть, и жалованье?

Откуда-то изъ-за толпы протиснулся о. Матвѣй.

Лицо его сияло.

— О. Сильвестръ!—говорилъ онъ:—можетъ ли это быть?!

— Предположеніе только!

— Да вѣдь вы поймите: это мечта! Это возвратъ къ великому прошлому! Прошедшее становится будущимъ! Это первый шагъ въ царство еоократіи! Я ждалъ этого... и глубоко вѣрю, что предположеніе превратится въ фактъ!

Шумъ въ комнатахъ возросъ.

Всѣхъ взволновала новость и ея значеніе.

Даже незамѣченнымъ прошелъ прїѣздъ Широкова. Только благочинный встрѣтилъ его въ прихожей да дьяконъ Ивановскій съ заискивающей улыбкой помогъ ему освободиться отъ калошъ и предупредительно распахнулъ обѣ половинки двери передъ его тучной фигурой.

— Давненько не видѣли васъ, давненько!—ласково говорилъ Александръ Порфирьевнѣ благочинный:—со-
скупчились по васъ!

— Въ самомъ дѣлѣ?—улыбнулась Александра Пор-
фирьевна.

Она съ заалѣвшими щеками протянула руку сыну
благочиннаго и крѣпко, по-товарищески, пожала ее.

Это былъ средняго роста очень худой и нервный
юноша, въ поношенной сѣрой студенческой тужуркѣ, съ
тонкими губами, часто крѣпко и иронически сжатыми,
съ нѣсколько злымъ взглядомъ умныхъ, но близору-
кихъ глазъ, полускрытыхъ очками.

Широкозадовъ съ готовностію отозвался на пред-
ложеніе о. Ивана „подкрѣпить плоть свою“.

— Какъ ваши дѣла съ Васильевкой, Порфирій
Власовичъ? — заискивающе спросилъ его унылый на
видъ черный духовный, напоминавшій переодѣтаго
цыгана:—есть слухъ, что ихъ завтра на судилище по-
везутъ, черезъ ярманку?

Онъ сокрушенно качалъ головой:

— Поучительное зрѣлище человѣческихъ страстей,
въ узы заключенныхъ...

Широкозадовъ мутно смотрѣлъ на него.

— Милліонъ,—сказалъ онъ, медленно разжевывая
слова,—когда въ землю зарытъ, бесполезенъ! Сумѣи
найти, вырыть и къ рукамъ прибрать его! А мужикъ...
что! Лежить на сѣнѣ, не жретъ самъ и на другихъ
ласть!

— Истинно!—изогнулся духовный.

Широкозадовъ продолжалъ мутно и внимательно
смотрѣть на него, отчего духовный чувствовалъ себя
велошко.

— А откуда вы слыхали,—медленно спросилъ Ши-
рокозадовъ:—что повезутъ завтра?

— Поговариваютъ.

Они чокнулись.

О. Иванъ, опрокидывая рюмку, поймалъ на себѣ взглядъ Александры Порфирьевны. И ему стало не ловко.

— Кажется, я черезчуръ усердствую!—сказалъ онъ и отошелъ отъ стола.

Онъ всталъ къ окну, такъ что ему слышенъ былъ разговоръ Александры Порфирьевны со студентомъ, пріютившихся въ пустомъ углу залы.

— Къ чему эти споры, эти раздоры,—говорила она:—особенно въ наше тяжелое время, когда всѣ должны соединиться безъ различія цвѣтовъ для общей цѣли! И не всѣ ли мы стремимся къ одному и тому же далекому берегу? Только одни хотятъ ѣхать на кораблѣ, другіе на пароходѣ... Весь споръ къ тому сводится!

— Нѣтъ, Александра Порфирьевна, мерси!—возражалъ онъ:—во-первыхъ, пароходъ идетъ по курсу, не уклоняясь, съ быстротою! А корабль поддается вѣянью вѣтровъ. Да и съ какой стати я признаю гегемонію какого-то корабельнаго экипажа, который хочетъ захватить этотъ далекій берегъ, чтобы построить на немъ образцовую кухню для изготовленія бифштексовъ! Я хочу работать не для гарантированнаго бифштекса, не для экипажа,—для идеала, для человѣчества!

— Мы всѣ работаемъ для человѣчества!—проговорила она.

— Да, и должны работать,—твердо сказалъ онъ,—слившись въ общей любви и въ общей ненависти!

Онъ помолчалъ.

— Кто знаетъ,—произнесъ онъ задумчиво, точно заглянувъ въ свое будущее:—увидимся ли мы осенью съ вами...

Ея рука какъ-то невольно нашла его руку и сжала ее, точно въ тайной клятвѣ, а глаза смотрѣли съ тѣмъ выраженіемъ, словно она провожала его въ невѣдомый и опасный путь... И о. Иванъ, тайкомъ наблюдавшій, видѣлъ въ глазахъ ея любовь, открытую, ясную, и какую-то острую боль...

Онъ подошелъ къ нимъ.

— О чемъ это спорите?

Студентъ недружелюбно обдалъ его взглядомъ, а Александра Порфирьевна мягко улыбнулась ему.

— Мы говоримъ о томъ, чего еще не было.

— О гѣсняхъ будущаго?—улыбнулся онъ ей.

Она, смѣясь, кивала ему.

— Что вы о немъ знаете, вы, такая молоденькая!—говорилъ онъ шутливо:—посмотрю я на васъ, съ виду вы такая спокойная, а въ душѣ... горячка!

— Развѣ это плохо?

Онъ улыбнулся, потомъ задумался.

— Нѣтъ, не плохо!—сказалъ онъ:—горе тому, кто ни тепель, ни холоденъ!

— Въ наше время всеобщаго колебанія и неустойчивости мысли,—визгливо ораторствовалъ кто-то въ шумъ говора:—въ нашъ несчастный вѣкъ, когда безбожіе, насаждаемое геніальными еретиками, заразивъ интеллигенцію, до мозга костей невѣрующую, грозитъ подъ вліяніемъ ея заразить и весь нашъ добрый русскій православный народъ...

О. Иванъ быстро обернулся.

— Нашъ пострѣльездѣ поспѣлъ... Ишь, распинается!

Ораторствовалъ о. Матвѣй въ толпѣ, образовавшейся у дивана.

На диванѣ, у стола съ чаемъ, недалеко отъ игравшихъ въ карты, сидѣлъ благочинный рядомъ съ депутатомъ.

Благочинный былъ плотный мужчина, смотрѣвшій старше своихъ лѣтъ, сильно посѣдѣвшій, съ немного опухшимъ лицомъ, умнымъ, но носившимъ слѣды какихъ-то тайныхъ заботъ и, быть можетъ, давнишнихъ печалей. Все время, когда слушалъ онъ собесѣдника, молчалъ или тихимъ голосомъ вставлялъ замѣчаніе, на лицѣ его играла благосклонная усмѣшка. Но иногда казалось, что эта усмѣшка была застывшей маской,— и среди многочисленной толпы, всегда наполнявшей его комнаты, онъ самъ былъ гостемъ, не имѣвшимъ, возможности уйти, блуждавшимъ мыслью гдѣ-то далеко. Бывали моменты, когда онъ забывался. И тогда усмѣшка медленно сходила съ лица его: оно дѣлалось худымъ, утомленнымъ, строгимъ, а въ глазахъ сквозилъ отгѣнокъ безумія. Но тотчасъ же онъ слегка вздергивалъ бровями, усмѣшка приходила на свое привычное мѣсто и онъ спѣшилъ сдѣлать какое-нибудь замѣчаніе, чтобы показать, что внимательно слушалъ. Порою въ церкви онъ такъ забывался, что ему приходилось напоминать время возгласа и тогда дьяконъ Сикеровъ на цыпочкахъ шелъ съ клироса въ алтарь и, слегка тронувъ его за рукавъ, шепталъ:

— Владыко... Возглашеніе!

Въ благочиніи его очень любили, особенно низшій причтъ. Онъ улаживалъ самолично всѣ несогласія какъ наблюдатель, много заботился о церковныхъ школахъ. Но говорили о его семейныхъ несогласіяхъ, благодушно упоминали о какой-то старой исторіи съ учительницей,—исторіи, дошедшей даже до владыки, послѣ чего учительница была переведена въ отдаленный конецъ уѣзда и тамъ вскорѣ умерла. А онъ съ тѣхъ поръ сталъ выпивать и любить, когда его окружала компанія. Поэтому, время его поѣздокъ по благочинію было для духовенства временемъ нескончаемыхъ празд-

нествъ и даже оргій, въ которыхъ самъ онъ принималъ участіе только въ качествѣ благосклонно-улыбающейся тѣни, особенно съ тѣхъ поръ, какъ послѣ одного громкаго крестьянскаго процесса застрѣлился его старшій сынъ, служившій въ Староміръскѣ товарищемъ прокурора.

Въ описываемый вечеръ привычная усмѣшка чаще исчезала съ лица его и всѣ замѣчали, что благочинный неспокоенъ и отчего-то сильно волнуется. Дьяконъ Сикеровъ, съ своей рыжей гривой, подслѣповатыми глазами и длинной козлиной бородой, всегда державшійся поблизости благочиннаго, какъ его секретарь и сослуживецъ, отмѣтилъ про себя, что ложечка дрожала въ рукѣ благочиннаго, когда онъ мѣшалъ ею остывшій чай, глаза же съ беспокойствомъ незамѣтно слѣдили за сыномъ: ходилъ ли тотъ по комнатѣ, разговаривалъ ли. А когда сынъ уходилъ изъ комнаты, беспокойство благочиннаго возрастало.

Разговоръ шелъ о новости дня и потому мало-помалу всѣ сгруппировались вокругъ дивана, даже о. Иванъ и унылый духовный подошли сюда, и только одинъ Широкозадовъ одиноко, какъ монументъ, еще возвышался въ полутьмѣ у стола съ закусками.

— Воистину,—вопіялъ о. Матвѣй:—современный Іерусалимъ, сирѣчь церковь Христова, до нѣкоей степени какъ бы въ развалинахъ лежитъ. Гіены и шакалы бродятъ межъ стѣнъ, покрытыхъ мхомъ тысячелѣтній, скимны, обитающіе въ тайныхъ, роютъ норы въ бойницахъ и башняхъ, стараясь подкопать основанія. И плачь Іереми слышенъ далече... Ибо настали времена, когда врата адовы пытаются одолѣть церкви!.. Борьба между агнцемъ и дракономъ!

О. Матвѣй вскочилъ на любимого конька и теперь неся на немъ безъ удержу, скакалъ, жестикулируя,

по пустынямъ безбожія, среди развалинъ вѣрн, но скакалъ самоувѣренно, безъ страха и сомнѣній, въ широко-распахнутыя врата, за которыми видѣлись ему строгія очертанія „царства еократіи“. Наступило, по его словамъ, время „изжененія плевелъ“, всесожженія сорныхъ травъ, куколя и волчца, заглушившихъ „ниву Божію“.

— Ибо что видимъ окрестъ и всесторонне?—вопросалъ онъ, взмахивая тоненькими ручками и строго морща маленькое личико:—интеллигенція эта тамъ... такъ называемая... свѣтскій классъ... Атеизмъ чистой крови вольтеровскій, а въ лучшемъ случаѣ безформенный пантеизмъ—вотъ ея религія! Толстовцы... Соціалисты, анархисты... отрицатели брака, собственности и государственности! На мѣсто Бога Боговъ, Творца и Зиждителя вселенной, они ставятъ себѣ, какъ истые язычники... кого? Сумасшедшаго философа Ницше или какого-нибудь разрушителя политическихъ устоевъ, родѣ нѣмецкаго еврея Маркса.

О. Иванъ почувствовалъ на себѣ взглядъ Павлы Григорьевны. Онъ уже не первый разъ за этотъ вечеръ встрѣчалъ ея уиорный и пристальный взглядъ, безпкойный и ищущій, съ какимъ-то новымъ для него выраженіемъ, которое и пугало и привлекало его и приводило въ недоумѣніе. И какъ только онъ встрѣчалъ этотъ взглядъ, словно что-то выросло въ его груди, туманомъ обволакивало предметы и онъ смущенно и подозрительно косился на сосѣдей.

Между тѣмъ о. Матвѣй былъ уже далеко и скакалъ на своемъ конькѣ по чужимъ владѣніямъ, при напряженномъ вниманіи слушателей.

— Вотъ во Франціи духовенство гонять. Конечно, то—черная католическая рать. А все же сказывается

и въ семь безумная дерзость интеллигентовъ и невѣровъ. Забыты историческія заслуги. Служители Бога, носители правды его, изгоняются изъ школъ, крестъ выносятся изъ судовъ!

Онъ въ фанатическомъ жестѣ вытянулъ руку.

— И будетъ храмъ ихъ пустъ! Это знаменіе времени, признакъ, что Антихристъ воздвигъ главу свою! Но то въ чужой, полуязыческой державѣ творится! А что же наши суетумцы? Тотчасъ откликаются! Возвышаютъ главы свои, воздвигаютъ гоненіе на церковную школу! Слышали, читали, какъ тверское земство отличилось? Да и оно ли одно! Но... съ Богомъ шутки плохи! И тверское земство испытало это на себѣ... И Франція испытаетъ! Ибо, какъ ни силенъ будетъ Антихристъ, но надлежитъ ему быть связану и побѣждену! Силенъ Богъ нашъ!

— Кто Богъ велій, яко Богъ нашъ!—задумчиво сказалъ о. Сильвестръ, тихо барабанивъ по столу пальцами.

Дьяконъ Сикеровъ убѣжденно докончилъ:

— Ты еси Богъ, творяй чудеса.

Но тутъ внезапно и какъ-то испуганно икнулъ о. Ѳаворскій, точно его смутило такое настойчивое упоминаніе о Божествѣ, котораго въ душѣ онъ очень боялся.

Всѣ засмѣялись.

— Должно-быть, батюшка хотѣлъ сказать „аминь“, да не вышло! — пришелъ на помощь къ Ѳаворскому Зигзагинскій...

— Не ври!—сказалъ Ѳаворскій:—это въ утробѣ моей ромъ о пирогъ спотыкнулся...

О. Иванъ взглянулъ на водянистую фигуру Ѳаворскаго, и опять встрѣтился со взглядомъ Павлы Григорьевны. Какимъ-то темнымъ взглядомъ она смотрѣла на него, отъ котораго вся кровь прилила ему къ лицу,

а сердце точно оторвалось и покатилося. Точно его одного она и въ комнатѣ видѣла. Онъ вздохнулъ и тяжело отвелъ глаза. Безпокойное предчувствіе охватило его, тяжелая, медленная мысль, какъ туманомъ, стала заволакивать сознание.

— Да чего она... ровно я... убилъ кого...

О. Матвѣй, поощряемый вниманіемъ слушателей, уже докапывался до самыхъ основаній взрывалъ фундаменты и скакалъ на головокружительныя высоты, съ фанатическимъ блескомъ глазъ вскидывая руки, точно вызывая на борьбу кого-то ненавистнаго.

— Православіе! Самодержавіе! Народность! Вотъ три краеугольныхъ камня нашей жизни! И изъ нихъ первый — православіе! Ибо кто собралъ Русь во единое стадо и создалъ самодержавіе? Оно! Кто совокупилъ разнообразныя племена во едину народность? Оно! Русь всегда была Русью православной церковности, и въ этомъ ея сила, ея слава, ея святость, ея превосходство передъ другими народами! Непобѣдима и крѣпка была она для враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ, пока монастыри были ея свѣтильниками, пока горѣли въ ней солнца вѣры такіа, какъ патріархи! Всегда заря истиннаго образованія, источника вѣры и силы, исходила изъ школъ церковныхъ. И вотъ повторяю... привѣстствую я это намѣреніе высшаго правительства передать намъ школы! Онѣ принадлежать намъ по историческому праву! Не только низшія школы... гимназіи и университеты слѣдовало бы отдать въ наши руки, подъ нашъ надзоръ...

— Позвольте! — внезапно раздался рѣзкій, ироническій голосъ: — вы отъ лица духовенства говорите или за себя?

О. Матвѣй обернулся.

Прислонясь къ печкѣ, стоялъ студентъ и, слегка раскачиваясь, терся спиною о печку и говорилъ:

— Если отъ лица духовенства, то я увѣренъ, что духовенство въ лучшей части своей само откажется отъ вашихъ словъ; если за себя, то такія рѣчи возмутительны въ устахъ священника! Вы порочите лучшихъ людей страны, вы пытаетесь отнять у нихъ то, что они добыли потомъ и кровью, что они въ тяжелой борьбѣ создавали, въ то время, какъ вы собирали калачи и кокурки съ тѣхъ бѣдныхъ рабовъ, которыхъ сами же величаете овцами...

Онъ злобно вспыхнулъ отъ собственныхъ словъ:

— Вы самозванцы, вы обманщики!! Для чего вы протягиваете ваши рабскія руки къ школамъ? Чему вы можете учить народъ? Цѣпи умственного рабства вы называете небесной Истиной, вѣчную подлую Ложь жизни—высшей Правдой!

О. Матвѣй ваѣрошился и визгливо закричалъ:

— Позво-льте!!!

— Митя! Митя! — безпокойно звалъ благочинный: — я тебя просилъ... опять ты...

Онъ привсталъ съ дивана и пролилъ стаканъ, задѣвши его рукою.

— Да не могу же я, папаша!—вскричалъ студентъ, рѣзкимъ жестомъ разведя руками:—на такія рѣчи молчать позорно!

О. Матвѣй наступалъ на него:

— Позво-льте!!

Но тутъ и въ духовенствѣ разыгрались страсти.

Точно вихрь ворвался въ толпу духовныхъ, рукава ихъ заболтались и сами они всѣ точно закружились.

— Вѣрно, вѣрно!—кричали молодые:—мы не солидарны съ такими взглядами!

— Это фанатично!

— Мы дѣлаемъ свое дѣло, а свѣтскіе люди свое! Мы сами оттолкнули отъ себя интеллигенцію нетерпимостью.

— Но какіе же, однако, мы обманщики?

— Позвольте! Позвольте!

— О. Савелій! Не горячитесь!

— Правда, о. Матвѣй!

Тутъ всталъ о. Ѡаворскій и сказалъ:

— То, что отнято, должно быть возвращено! Это истинная правда! А то, что мы обманщики, это... это... это съ вашей стороны, Димитрій Викторовичъ, нехорошо... и неблаговидно-съ! Ибо и сами вы происходите, такъ сказать, отъ... іессеевъ-съ!.. Странно мнѣ слышать ваши словеса въ семъ домѣ, искони благочестивомъ...

О. Иванъ съ интересомъ ждалъ продолженія сцены. „Завелъ Матвѣй кашу!“—думалъ онъ.

Но въ это время кто-то тихо дотронулся до его локтя. Онъ почему-то сильно вадрогнулъ и обернулся.

Павлинька звала его взглядомъ за собою.

Онъ покорно пошелъ за нею.

Прошелъ прихожую, вышелъ въ темныя сѣни, гдѣ черная собака ткнула его мордой, обнюхивая. Павлинька скользнула куда-то за дощатыя дверцы, и онъ проникъ слѣдомъ за ней.

Тутъ былъ чуланъ.

Въ немъ, повидимому, кто-то обиталъ, потому что въ углу на доскахъ примостилась грязная перина, а рядомъ на широкомъ и старомъ красномъ сундукѣ стоялъ неуклюжій деревянный фонарь, сквозь разбитыя стекла котораго, мигая, свѣтилъ сальный огарокъ. По стѣнамъ на полкахъ лежали рѣшетья съ яйцами, была навалена груды шерсть и стояли широкобokie кувшины, точно прыгавшіе въ колеблющемся свѣтѣ огарка. Пахло затхлостью и съѣстнымъ, особенно рѣзокъ былъ запахъ ветчины.

Въ оконце подъ крышею сквозь паутину смотрѣла ночь.

— Ты чего секретничать вздумала? — спросилъ о. Иванъ.

Павлинька смотрѣла на него снизу вверхъ, близко ставъ къ нему, и молчала. Дрожащій свѣтъ огарка обливалъ ее игрой свѣта и тѣней. Взглядъ ея былъ тотъ же темный и ищущій, что такъ пугалъ и привлекалъ его. И въ этомъ полусумракѣ онъ точно въ первый разъ увидалъ ее: пышную грудь, блестящіе глаза, милый и нѣжный овалъ лица.

Легкая, но острая игла коснулась его сердца щемящей отравой.

Онъ слегка отодвинулся.

— Ну?

Она порывисто, но какъ во снѣ, двинулась къ нему.

— Позволь мнѣ...

— Ну? — повторилъ онъ, чувствуя приливъ странной слабости.

— Я такъ... такъ тебя... Такъ уважаю тебя! Позволь мнѣ... отъ всей души... поцѣловать тебя!

— Чего вздумала! — хотѣлъ онъ сказать.

Но сказалъ:

— Что жъ... ну!

Слегка вскрикнувъ, она приподнялась, крѣпко охватила его шею руками и впиалась въ губы ему страстнымъ, долгимъ, точно давно жданнымъ, жаднымъ поцѣлуемъ.

— Я не могу... больше не могу! — задыхалась она у него на груди: — я тебя... любить хочу! Я... тебя... люблю тебя! Герой! Ты... герой!

И точно слиться она съ нимъ хотѣла, раствориться въ немъ, взять къ себѣ часть мощи его и стать торжествующей, побѣдоносной, сильной.

И эта живая страсть, недостававшая ему, ударила въ него, какъ электрическій токъ, дохнула на него

огненнымъ дыханьемъ, опалила, сожгла всё его мысли, предчувствія, сомнѣнья, его прошлое и настоящее: мѣръ ликующей и зовущей необъятности раскрылся передъ нимъ, точно взвилась съ шумомъ какая-то черная завѣса и свѣтъ ослѣпилъ его. Все тайное, жившее въ немъ безсознательно, все его чувство къ ней ударило ему въ голову, точно шумнымъ пламенемъ опалило его. Онъ вздохнулъ, охватилъ ее, извивающуюся, страстно-плачущую, какъ медвѣдь сжалъ въ объятыхъ, цѣловалъ ея дрожащія губы, пилъ ея слезы.

— Уйдемъ! Уйдемъ!—шептала она.

— Уйдемъ!—повторялъ онъ за нею въ полубезпамятствѣ.

Не было времени, казалось ему, когда бы онъ не любилъ ее.

— Ты сильный... сильный! — страстно повторяла она:—уйдемъ... оставь все! мы здѣсь чужіе! И ты... и я!!

— И я!—повторялъ онъ, какъ эхо.

— Мы создадимъ лучшую жизнь! Мы сумѣемъ создать! Почему должны мы задыхаться? Почему? Развѣ ты не задыхаешься подъ нею? Развѣ ты не желаешь сбросить ее?

— Кого?!—съ смутнымъ испугомъ спросилъ онъ.

— Рясу!!

Онъ вспомнилъ, и очнулся.

Поблѣднѣлъ и оттолкнулъ ее.

Все его прошлое возмутилось въ немъ.

— Пусти! Ты съ ума сошла! Позабыла, кто я и кто ты сама!

И онъ бросилъ ей слово, подсказанное ему въ этотъ мигъ всѣмъ его кастовымъ прошлымъ:

— Вавилонянка!

Какъ сонный, съ трясущимися руками, прошелъ онъ въ залу и быстро сталъ ходить по свободному

пространству, не замѣчая, что тутъ разыгрывается скандалъ.

У стола съ картами оставили игру.

Благочинный стоялъ съ протянутыми руками, бес- сильно убѣждая:

— Митя! Митя!

Сынъ не слушалъ отца.

Нѣтъ, нѣтъ, онъ не можетъ молчать, онъ долженъ, онъ обязанъ сказать имъ въ глаза всю горькую правду.

— Новый общественный строй смететъ васъ съ лица земли,—бѣшено кричалъ онъ, указывая въ упоръ главнымъ образомъ на о. Матвѣя.—Только въ исторіи останется черная страница! Вы не соль... вы грязь земли! Вы говорите о культуркампѣ въ Франціи, проводите параллель между собою и западнымъ духовенствомъ... Вы не имѣете права на эту параллель! Западное духовенство культурно, просвѣщено, образовано! Оно, въ лицѣ католическаго духовенства, создало науку, искусство, литературу, положило первое основаніе современной гражданственности, цивилизаціи! Это—величайшія заслуги! А какія заслуги у васъ?! Чѣмъ можете гордиться вы? Тѣмъ унижительнымъ положеніемъ, которое занимаете въ теченіе вѣковъ, состоя на службѣ сильнаго противъ слабого и угнетеннаго, забывъ долгъ и традиціи апостольскія, элементарную честь и совѣсть!

— Да это что же такое!—взмахивалъ ручками и почти подпрыгивалъ о. Матвѣй въ необузданномъ гнѣвѣ:—вѣдь это колебаніе самыхъ божественныхъ устоевъ жизни... Это святотатство!

— Митя! Прощу тебя!—взывалъ благочинный.

— Димитрій Викторычъ! Вы же сами духовный!—сказалъ, шевеля бровями, о. Сильвестръ.

Студентъ гнѣвно и страстно обернулся къ нему.

— А вы думаете, мнѣ не больно говорить все это? Мнѣ больно!.. Во мнѣ ваша кровь течетъ... наслѣдственная, во мнѣ говорить голосъ вашихъ же предковъ, вашихъ дальнихъ предковъ, которые выводили народы изъ земли рабства, царямъ въ глаза говорили правду, темницъ не боялись! Но гдѣ, гдѣ у васъ божественно-гордый духъ вашихъ предковъ?! Гдѣ ваша соль?!

Голосъ его сталъ груднымъ, онъ точно задыхался.

— На ваши умъ и совѣсть надѣты цѣпи! И вы ихъ цѣлуете! Вы гнете ваши безсильныя колѣни передъ тюремщиками!

— Димитрій Викторычъ! Позвольте...

— Вы—рабы!! И хотите сдѣлать другихъ рабами! Но нельзя, говорю я вамъ, уташать духъ до безконечности! Онъ проснется... Онъ уже проснулся, духъ протеста, свободный, гордый духъ побѣдоноснаго разума... И спадутъ съ него, звеня, ваши ржавыя цѣпи!! Придутъ свободные проповѣдники Правды... А вы уйдете во тьму...

— Нѣтъ! Это ужъ что же такое, о. благочинный! — почти завизжалъ о. Матвѣй при общемъ ропотѣ духовныхъ:—это рѣчи, достойныя такого еретика и врага Св. Церкви, какъ Толстой!

Студентъ порывисто кинулся къ столу и налилъ себѣ вина.

— Предлагаю этотъ тостъ... за Льва Толстого!!

Точно бомбу бросили среди духовныхъ.

Въ залѣ поднялся ропотъ, шумъ, крикъ.

О. Ѳаворскій бросилъ на столъ карты и заявилъ, что онъ уйдетъ. Гдѣ такъ поносятъ духовенство, онъ, какъ священникъ и, кромѣ того, духовный слѣдователь, не можетъ находиться! Благочинный то искалъ глазами исчезнувшаго сына, бормоча: — „Митя, Митя!

Можно ли такъ!“, то упрасиваль. о Павла остаться и не обращать вниманія.

— Молодежь! — говорилъ онъ: — намъ, старикамъ, ужъ извинять ихъ приходится!

Но о. Павелъ только взбѣдился отъ этихъ словъ. Во-первыхъ, какой же онъ старикъ!

Тутъ ужъ взволнованный шумъ перешелъ въ смѣхъ и хохотъ. Дьяконъ Ивановскій изгибался отъ хохота и бормоталъ, перебѣгая отъ одного къ другому:

— Онъ не старикъ! Хи-хи! Это вѣрно! На это есть много свидѣтелей! Особенно въ его приходѣ...

— Смолкни! — угрюмо оборвалъ его дьяконъ Сикеровъ.

— Братіе! — умолялъ благочинный, — оставимъ распри и раздоры! Прошу отцовъ къ столу!

— Идѣже пребываютъ выпивоны съ закусонами, — пробасилъ Сикеровъ.

А Ѳаворскій добавилъ при общемъ смѣхѣ:

— За толстаго Павла выпить не возбраняется?

Всѣ потянулись къ столу.

Х.

Ночь была душная и сырая.

Что-то черное, зловѣщее, казалось, нависло надъ землею. Тучи все еще брели по небу одинокими фигурами, тяжелыя и усталыя, не давая больше дожда землѣ. Отъ земли влага поднималась къ нимъ душевною мглою.

Старый домъ благочиннаго спалъ.

По его биткомъ набитымъ комнатамъ раздавались шумные вздохи, стоны, бормотанье, точно, пользуясь сномъ людей, ожилъ домъ и тосковалъ отъ своихъ воспоминаній.

О. Иванъ спалъ въ комнатѣ студента, маленькой комнатѣ, съ окномъ во дворъ. Онъ проснулся съ крикомъ, весь въ поту; поднявшись, дико озирался, не понимая, гдѣ онъ. Потянувшись къ окну, онъ облокотился на подоконникъ и выставилъ голову на воздухъ. Кошмаръ еще владѣлъ имъ. Что-то горячее, густое, казалось ему, переливалось въ его жилахъ и, какъ свинецъ, тяготило голову. Съ трудомъ возвращалось къ нему чувство дѣйствительности, и онъ вспомнилъ, что находится у благочиннаго, узнавши бѣлѣвшіе въ темнотѣ каменные сараи. Постепенно ему приходило на память, какъ вчера онъ излишне усердствовалъ у стола и потомъ бродилъ по спящей ярмарочной площади, среди неподвижныхъ телѣгъ и молчаливыхъ балагановъ, точно хотѣлъ куда-то спрятаться самъ отъ себя; измученный, усталый, вернулся уже въ спящій домъ и бросился на разостланную по полу кошму, стараясь забыться отъ мыслей и заснуть. Какъ сквозь бредъ помнилъ онъ, что студентъ лежалъ, одѣтый въ свою куртку, въ сапогахъ, будто и не имѣлъ обыкновенія раздѣваться на ночь; лежалъ неподвижно, не шевелясь, застывшій, какъ трупъ, но не спалъ, потому что безшумно вставалъ иногда, подходилъ, какъ тѣнь, къ окну и къ чему-то присматривался. И помнилось, или приснилось это о. Ивану, что раза два безшумно отворялась дверь и въ нее осторожно вставлялась голова благочиннаго и его блѣдное лицо осматривало комнату. Онъ даже шепталъ имя сына. Какая-то тоска и ужасъ звучали въ его шопотѣ. Но сынъ не отзывался. Потомъ все исчезло передъ о. Иваномъ.

Всѣ шепчущіе звуки ночи потонули въ сонной тьмѣ.

Ему снилось, что въ сумракѣ утра онъ идетъ съ крестнымъ ходомъ, при отдаленномъ звонѣ колоколовъ,

къ широкой свѣтлой рѣкѣ, названіе которой давно позабылъ онъ. Ему жутко и страшно, что онъ забылъ названіе. Онъ долженъ вспомнить его! Онъ силится вспомнить, а люди ждутъ и ропщутъ. И этотъ ропотъ растеть и бѣжить на него, грозить ему. И вдругъ изъ тихихъ водъ рѣки всплываетъ женщина... Она манитъ его къ себѣ, говорить что-то, непонятное, точно на чужомъ языкѣ. Внезапно онъ разбираетъ одно только слово:

— Уйдемъ!

Ужась и радость охватываютъ его...

Онъ силится крикнуть ей что-то большое, сильное, что сразу разрѣшитъ всѣ сомнѣнья, но языкъ его связанъ, и едва возникшая мысль расплывается, и крикъ его ужасенъ.

Отъ этого крика онъ и проснулся.

И теперь, куда бы ни повелъ онъ воспаленными глазами, передъ нимъ стояла эта бѣлая фигура сна, и онъ хорошо зналъ, кто она такая: у нея было лицо Павлиньки, ея взглядъ, зовущій и ищущій.

О. Иванъ вздохнулъ шумно, какъ вдыхаютъ ночью лошади на лугу.

— На-во-жденіе!

Онъ круто мотнулъ головой и сталъ по столу шарить шляпу, стараясь дѣлать это тише, чтобы не потревожить студента. Но споткнувшись объ одѣяло на полу, съ удивленіемъ замѣтилъ, что на кровати никого нѣтъ. Тогда внезапно вспомнилъ онъ призывный свистъ въ окно, и теперь по-своему истолковалъ его, опять испустивъ тяжелый вздохъ:

— О, Господи... Плоти окаянство... всюду, всюду!

Онъ прошелъ въ сѣни, осторожно ступая черезъ спящія фигуры и, выйдя на дворовое крыльцо, тяжело и грузно опустился на ступени.

Въ виски его билась кровь.

Сырая мгла, нѣмая и неподвижная, не приносила облегченья: онѣ вдыхалъ вмѣстѣ съ нею что-то разслабляющее, кошмарное, точно весь міръ бредилъ вмѣстѣ съ нимъ предразсвѣтнымъ бредомъ. Очертанія строеній казались ему странными, пугающими: неожи-вляемые дневнымъ движеніемъ, эти амбары, бани, каретники казались мертвыми ящиками, особой формы гробами, выросшими изъ земли и мѣшающими жить. Обширный, приземистый домъ, молчаливый, черный, изъ котораго временами выплывали стонущіе звуки, точно вздохи самоубійцы-сына, покончившаго жизнь свою въ одной изъ его комнатъ, былъ точно придавленъ и въ то же время давилъ самъ, какъ темничныя стѣны.

И передъ глазами о. Ивана все двигалась бѣлая фигура сна и все кричала свое:

— Уйдемъ!..

Разстегнувши подрясникъ, снявъ шляпу, о. Иванъ, полураскрывши ротъ, дышалъ, какъ усталый, смотря въ небо.

Звѣзды тускло блестя въ одиночку здѣсь и тамъ немигающими очами. Медленно, какъ тяжелыми вѣсками, закрывались онѣ тучами, чтобы потомъ опять открыться и неподвижно глядѣть, точно съ неба склонялось надъ землею чье-то печальное лицо.

Позади скрипнула дверь.

О. Иванъ обернулся.

На него смотрѣло блѣдное лицо благочиннаго.

— Это вы, о. Иванъ?—шепталъ благочинный:—а я сейчасъ былъ у васъ въ комнатѣ. Не видали ли Митю? Мнѣ подумалось, вы вмѣстѣ ушли...

Онъ вышелъ на крыльцо и, казалось, не ждалъ отвѣта.

О. Иванъ чувствовалъ непонятную ему огромную тревогу въ шопотѣ и словахъ благочиннаго.

И потому, помолчавъ, сказалъ:

— Молодая кровь!

Благочинный уныло проговорилъ полушопотомъ:

— Не то!

Онъ стоялъ и молчалъ, точно чутко прислушиваясь къ чему-то. Гдѣ-то вздохнула лошадь. Гдѣ-то сонно гагакнулъ гусь. Въ воздухѣ безшумно метнулась ночная птица и потонула во тьмѣ.

Благочинный опустилсѣ на крыльцо рядомъ съ о. Иваномъ.

— Вотъ хожу... не сплю!—заговорилъ онъ полушопотомъ, точно боясь разбудить таинственные закоулки молчащаго дома:—ахъ, дѣти, дѣти!

— Да о чемъ вы такъ беспокоитесь?—проговорилъ о. Иванъ:—молодой человѣкъ... извѣстно...

— Когда Михаилу застрѣлится,—отвѣчалъ благочинный болѣе на свои мысли, чѣмъ слова о. Ивана:—у меня было предчувствіе... какъ пріѣхалъ онъ, какъ взглянулъ я на его блѣдное лицо, какъ услышалъ я его первыя слова: „папаша, говоритъ, я къ вамъ отдохнуть... а можетъ быть, и совсѣмъ пріѣхалъ“... Такъ я точно черную яму увидалъ передъ собой... И какъ сталъ онъ говорить объ измѣнѣ, и о томъ, что человѣкъ подлъ и слабъ, и что онъ самъ убійца! Я ночей не спалъ... и точно все укараулить что-то хотѣлъ... И не укараулилъ!

Онъ помолчалъ.

— Вотъ и теперь... Что-то есть, что-то повисло надо мной... ужасное! Я ужъ чувствую... вижу!

— Да что?—удивленно посмотрѣлъ о. Иванъ.

— Кабы зналъ я... Михаилъ былъ сосредоточенный человѣкъ... А Митя горячъ, несдержанъ, упрямъ... Бо-

юсъ я! Такое смутное время теперь... Вотъ... куда-то ходить... Молчать... А говорить начнетъ... все больное, раздраженное! А слухи нынче обо всемъ... такіе непріятные слухи... Вотъ и Ивановскій на что-то намекалъ...

— Нашли кого слушать!—разсмѣялся насмѣшливо о. Иванъ: —стрекоза!

Благочинный поднялся.

— А можетъ онъ въ каретникъ спать ушелъ... Въ дому-то душно! Посмотрю пойду.

Безшумной походкой онъ пошелъ къ темнымъ строениямъ, точно черное, тоскующее привидѣніе, плутающее среди построекъ, похожихъ на гробы.

О. Иванъ вышелъ за ворота.

Мимо бѣлѣющей церкви, черезъ ярмарку, напоминающую гигантскій таборъ, онъ вышелъ на луговую дорогу и быстро зашагалъ по ней, точно стараясь убѣжать отъ собственныхъ мыслей. Но эти безпокойныя мысли снова захватили его въ свою крѣпкую власть, сильнѣе, чѣмъ вчера, когда блуждалъ онъ во тьмѣ, какъ оглушенный, мучили его тяжелѣе, чѣмъ кошмарный сонъ. Въ головѣ его точно вставали волны прибоя. Снова буря бушевала въ немъ, такая же, какъ вчера на рѣкѣ, когда онъ такъ смѣло бросился въ мутную кипящую бездну и радовался борьбѣ съ нею. Но отъ этой внутренней бури онъ изнемогалъ. Вихрь снесъ и смялъ призрачное спокойствіе жизни его, и душа его открыла свои туманныя очи, чтобы ужаснуться тому, что увидѣла. Его чувства были опредѣленны, но его мысли были лабиринтомъ безъ выхода. Теперь въ немъ боролись человѣкъ и священникъ на туманномъ лугу сознанія. И борьба ихъ заключалась въ томъ, что человѣкъ съ безумнымъ крикомъ страсти вставалъ во весь ростъ свой и тотчасъ падалъ, а священникъ все время

молился о немъ, путая слова молитвы, мѣшая ихъ со слезами, молился о томъ, чтобы побѣдить человѣка,— чтобы человѣкъ навѣкъ замолкъ, идя пробитой для него кѣмъ-то въ жизни тропю, подъ грозящимъ небомъ, по землѣ, ждущей его, чтобы превратить въ ничтожный прахъ то, что и при жизни было мертвымъ прахомъ. Человѣкъ задыхался, захлебывался, какъ подстрѣленный вставалъ и кричалъ:

— Да развѣ я хотѣлъ?! Это ложь! Это неправда! Когда я надѣвалъ на себя рясу, я радовался только тому, чего не понималъ, а отъ того, что понималъ, я плакалъ! Почему же я не могу сбросить ее, когда хочу, почему, я долженъ жить, какъ въ могилѣ, когда вся душа моя рвется навстрѣчу свѣту новой, вольной жизни?.. Почему эта новая жизнь грѣшна?! Хотѣлъ бы я знать! Все это ложь!

А священникъ кротко говорилъ, вадыхая:

— Иване! Иване! Вскую мятешься... На тебѣ почиваетъ благодать Духа Святаго... Развѣ ее можно отбросить, какъ тряпку? Это хула на Духа, грѣхъ непрощаемый! Неужели ты измѣнишь обѣту, данному самому Богу?.. И для чего? Какую новую жизнь найдешь ты, клятвопреступники! Развѣ совѣсть не замучитъ тебя,— не отравитъ каждую твою преступную радость? Да, да... преступную! Потому что, забывъ жену и дочь, на кого ты любовостранно зриаешь? Окаянство плоти говорить въ тебѣ... Подави... убей ее! Аще око твое смущаетъ тя, изми его...

И на сторонѣ священника была мудрость поколѣній, сила устоевъ, крѣпость текстовъ. На сторонѣ человѣка—только ужасъ жизни и любовь его. И человѣкъ не зналъ, какой новой жизни онъ хочетъ. Онъ представлялъ ее себѣ вольной, какъ степь, свѣтлой, какъ зорю, но безъ опредѣленныхъ очертаній. А священникъ

зналъ опредѣленно свой путь и увлекалъ по нему человека.

О. Иванъ обезсилѣлъ отъ этой борьбы.

Онъ шумно вздохнулъ, озираясь, какъ сонный.

— Хоть бы искупаться.

Ужъ занималась заря.

Звѣзды погасли.

Точно блѣдная улыбка шла по небу. Тучи ушли безъ остатка, небо стало совершенно чистое. Съ луговъ легкой дымкой поднимался туманъ. Оставляя темные слѣды въ мокрой густой травѣ, о. Иванъ прошелъ къ рѣкѣ и, раздѣвшись, съ шумомъ бросился въ воду, точно упало въ нее столѣтнее дерево.

Рѣчка была тихая, почти вровень съ берегами, заросшая густой зарослью камыша, среди котораго тамъ и сямъ блестяли омуты своею серебристой гладью.

О. Иванъ сидѣлъ въ холодной водѣ, ногою отыскивая, гдѣ бьютъ ледяные родники, погружался съ головою, такъ что на поверхности волосы его плавали какъ водоросли; блаженно отфыркивался, заставляя въ камышахъ испуганно возиться и крикать утокъ. Большая рыба задѣла ему ногу. Онъ хотѣлъ поймать ее и отъ быстрого движенія нырнулъ и глотнулъ воды.

И тотчасъ ему стало весело.

Одѣваясь, онъ чувствовалъ потоки силы, забродившей въ жилахъ.

Ему захотѣлось жить... жить... Идти быстро по росистымъ лугамъ, навстрѣчу зарѣ, пѣть, кричать... Набравши въ грудь воздуху, онъ заготовилъ во всѣ легкія:

♦ — О-го-о-о... Уй-й-де-е-емъ!..

И самъ испугался.

— Иване, Иване! — бормоталъ онъ, залѣзая въ бѣлые панталоны и возвышаясь на туманномъ берегу, какъ

привидѣніе:—до чего ты дожилъ, что ты дѣлаешь, о. Иванъ!

И засмѣялся, поймавъ себя на пародіи извѣстной проповѣди, а также сообразивъ, что ничего преступнаго онъ въ данный моментъ не дѣлаетъ.

А въ лугахъ далеко гдѣ-то, у горнаго ущелья, откликнулось ему эхо зовущимъ крикомъ.

— Уй-де-е-емъ!!.

Онъ быстро зашагалъ по лугу вдоль рѣчки.

Мысли его стали бодрѣе, увѣреннѣе.

Внезапно онъ остановился и прислушался.

Кто-то осторожно пробирался камышами.

Звуки были отчетливо-ясны: шуршаль камышъ, слегка бурлила вода у бортовъ, весло тихо, но звонко стучало.

— Охотникъ, что ли, или рыболовъ?—вглядывался о. Иванъ.

Онъ зналъ, что эта камышистая рѣчка недалеко въпадала въ широкую Поѣму. „Рыбакъ,—подумалъ онъ,—ѣздилъ въ ночное ставить на рѣкѣ перетяги“. Уже вблизи, склоняясь, вадрагивали камыши, и сдержанный разговоръ достигъ его слуха.

— Я съ тобою не согласенъ! — говорилъ молодой голосъ,—не понимаю этой медлительности! Не перевариваю! Когда-то, что-то... Разсудительность такая! Я понимаю натискъ, бурю!

— Буря все можетъ... айда... жарь!—отвѣчалъ другой голосъ: — а потомъ что? Вспыхнетъ пламя, погоритъ, пожжетъ... погаснетъ. Налетитъ вѣтеръ на пепелъ и развѣетъ его! Нѣтъ, я думаю такъ:—вотъ растетъ лѣсъ! Претъ изъ земли сила несмѣтная, медленно... зато вѣрно! Бо-о-льшой лѣсъ! Сучками, корнями переплетется... И дотянется онъ до облаковъ... И заглянетъ, что тамъ, за облаками!

— Жизнь шире твоей теоріи. Ты... какъ бы это сказать... догматизируешь ее! И получается что-то стоячее, омертвѣлое!

— За-ачѣмъ! Я тебѣ силищу только представляю, когда она сообща, не зря, а по обдуманности, значить, по обоюдной... Поди-ка, постукай по такому лѣсу топорикомъ, когда онъ за облака-то заглянетъ... побѣгай съ плеточкой, съ нагаечкой вокругъ... Не-ебо-ось!

Голоса были очень знакомы о. Ивану, но разговор шелъ не громко, и онъ не могъ узнать разговаривавшихъ. Въ лодкѣ опять заговорили.

— Чаль налѣво, къ берегу!

— Тутъ луга!

— Тѣмъ лучше. Укромное мѣсто... И камышъ тутъ густой. Лодку не видать, дорога сюда лознякомъ да шиповникомъ.

— Это что говорить... И луга-то вѣдь у васъ прямо за амбарами начинаются... А тутъ только до Поѣмушки - матушки добратся... Вотъ кричалъ только кто-то здѣсь...

— Далеко гдѣ-то. По зарѣ-то вѣдь разносится...

— И то правда.

— Причаливай, Алексѣй!

Лодка съ силою врѣзалась въ камыши.

О. Иванъ недоумѣвалъ надъ разговоромъ и съ интересомъ ждалъ, кто покажется изъ лодки. Къ его удивленію, изъ нея выскочилъ студентъ, а за нимъ тотъ мужикъ Алексѣй, который помогалъ о. Ивану на паромѣ. Студентъ былъ въ высокихъ сапогахъ, въ синей блузѣ, перетянутой ремнемъ, поверхъ которой на плечи наброшена была тужурка. Онъ сбиль фуражку съ полинявшимъ околышемъ на затылокъ и, подпершись руками въ бока, отдувался однѣми губами, смотря на лодку.

— Привяжи ее, Алексѣй, чтобы не видно было, и замѣтку сдѣлай. А на ружье травы набросай.

Алексѣй принялся привязывать лодку и вдруг увидѣлъ о. Ивана.

— Попъ!—выпрямился онъ. И тотчасъ поправился:— гнѣдовскій батюшка!

Студентъ быстро обернулся къ о. Ивану, посмотрѣлъ на него злымъ и темнымъ взглядомъ.

— Что это вы, отче, спозаранку странствуете?

— Купался.

И, продолжая недоумѣвать, о. Иванъ спрашивалъ:

— А вы что это?

— Да ничего...

— Ужъ не на свиданье ли ѣздили? — добродушно засмѣялся онъ.

Студентъ покраснѣлъ и опять зло посмотрѣлъ на него.

— Я этимъ не занимаюсь!—рѣзко сказалъ онъ.

О. Иванъ смущенно замолчалъ.

Поговоривъ что-то вполголоса съ Алексѣемъ, студентъ сказалъ громко:

— Ну, спасибо, Алексѣй! Можетъ, еще вздумаю прокатиться, такъ не откажись. Заплачу, не беспокойся...

— Благодарствуй...

Студентъ, снявъ фуражку по направленію къ о. Ивану, быстро зашагалъ въ туманъ и скрылся въ густой заросли дубняка. Но что-то было въ его разговорѣ съ Алексѣемъ иное, чѣмъ послѣднія слова, и о. Иванъ недоумѣвалъ, что ему вздумалось кататься ночью? Да и Алексѣй-то мужикъ нездѣшній... Или на охоту ѣздили? И чего онъ такъ обидѣлся на мои слова?

Онъ подошелъ къ Алексѣю.

— Здравствуй.

Тотъ возился съ лодкой и хмуро отвѣчалъ, не обращиваясь:

— Здравствуй.

— Что-же это ты... такъ-то! Поздороваться-то какъ слѣдуетъ не хочешь!

— А какъ еще надо?

— Подъ благословенье бы, чай, слѣдовало... эхъ, ты!

Алексѣй выпрямился, посмотрѣлъ на священника, потомъ молча и медленно подошелъ подъ благословенье.

— Куда это вы ѣздили?

— Да такъ тутъ... ѣздили... Нужно было, слышь... въ одно мѣсто...

Алексѣй смотрѣлъ недружелюбно.

— На охоту, что ли?—допытывался батюшка.

— Да, да!—быстро сказалъ Алексѣй:—на охоту!

— Дай-ко ружье-то сюда! Дай, говорю... я посмотрю.

Я вѣдь тоже когда-то охотникъ былъ... было время!

Алексѣй досталъ изъ лодки ружье.

О. Иванъ приложилъ его къ плечу, прицѣлился въ лодку, въ дерево, въ зорю.

И опять на какую-то волю потянуло его.

— Заряжено?

— Заряжено.

— Будь другомъ! Пойдемъ со мной... по болоту! Пострѣляемъ!

— Да вишь ты... Разстрѣляли все... ни пороху, ни дроби...

— Ну, что жъ... Зарядъ въ ружьѣ есть вѣдь?

Алексѣй ухмыльнулся въ щетинистые усы и сказалъ:

— Да пойдемъ, коль охота!

Они зашагали къ болоту.

Заря разгоралась.

Она была блѣдна, какъ лицо больного послѣ сна. Отъ нея бѣжалъ легкій вѣтерокъ, еле слышное дыханье. Отъ вѣтерка уносился туманъ, разбиваясь въ клочья. Все вокругъ пропиталось блѣднымъ свѣтомъ, очертанія

стали воздушными. А вдали надъ селомъ встала черная туча: крестьянки затопили печи.

— Тише! Тише!—шепталъ о. Иванъ.

Онъ присѣлъ и заставилъ присѣсть Алексѣя: за камышомъ, совсѣмъ близко, гдѣ-то крикала утка, и по голосу ея слышно было, что она большая, и что она беспокоится. Теперь о. Иванъ былъ полонъ радости, потому что мысли его разсѣялись, какъ туманные клочья, и вмѣстѣ съ спокойствіемъ расло чувство воли, силы, наслажденія жизнью и тѣмъ запретнымъ, что онъ дѣлалъ сейчасъ.

— Тише!

Утка все тревожнѣе крикала и чувствовалось, что она вытягиваетъ шею и наблюдаетъ чернымъ круглымъ глазомъ.

Гдѣ-то заржала лошадь, далеко по зарѣ раздавался тупой стукъ ея копытъ.

На селѣ орали пѣтухи.

Внезапно въ воздухъ послышался шорохъ и свистъ крыльевъ.

Утка залетѣла.

Большая, кряковная,—она поднялась, вытянувъ шею, пронеслась высоко надъ камышомъ, сдѣлала огромный кругъ и теперь неслась вверху надъ болотомъ, тревожно крякая.

А за ней слѣдило дуло.

Внезапно ахнуло, казалось, болото; ему испуганно отозвались луга.

Туча перьевъ, пуху полетѣла въ воздухъ, и утка со свистящимъ шумомъ упала близъ охотниковъ.

— Ловко!—заоралъ о. Иванъ, бросивъ ружье и бѣгомъ подбѣгая къ добычѣ.

И тотчасъ вскричалъ:

— Это что значить?!

Утка была вдребезги разбита, разорвана, вся она представляла изъ себя одну сплошную, огромную рану.

— Чѣмъ у тебя заряжено ружье?

Алексѣй смотрѣлъ угрюмо.

— Слышь-ка! Вѣдь это не дробь... Чѣмъ же?

— Свинцомъ...

— Пулей!!

О. Иванъ широко раскрылъ глаза.

— На кого же вы охотитесь ѣдили?

— Да такъ... бываетъ... что и лиса... и волкъ...

Смутныя опасенія благочиннаго вдругъ пришли на умъ о. Ивану. Онъ пристально смотрѣлъ на Алексѣя. У того щетинистые усы вдругъ запрыгали отъ легкой усмѣшки, и на веснущатомъ лицѣ появился оттѣнокъ до-вѣрчивости.

— Вчера мы съ тобой, батюшка, вмѣстѣ людей спасали,—заговорилъ онъ.—Я канатъ держалъ... и ты вѣрилъ мнѣ! А сегодня ты мнѣ не вѣришь... дурное думаешь! А выходить дѣло такъ дальше, что и я тебѣ не вѣрю! Есть слухъ промежду мужиковъ, что ты хорошій человѣкъ,—такъ лучше я тебѣ правду скажу! Есть у насъ съ Димитрій Викторовичемъ дѣльце одно... по тайности одно дѣльце... промежъ себя! Можетъ мы на волковъ капканы ставили, можетъ лисъ сторожили... а можетъ иное что... хто знаетъ! Только тебя не звали, ты самъ пришелъ, и видѣлъ... Коли ты не слѣдователь, зачѣмъ тебѣ знать?

-- Красно говоришь!

Алексѣй смотрѣлъ на него смѣющимися глазами.

— Красно, да не страшно! Кабы страшно, говорить бы не сталъ! Я вѣдь не болтливый... Что и видѣлъ, никому не скажу! Худому человѣку и хорошее слово скажешь,—на худое повернетъ...

— Понимаю, понимаю... Не разжевывай!

Алексѣй отвелъ глаза и посмотрѣлъ на зорю.

— Какія нынѣшнимъ лѣтомъ, батюшка, зори хорошія! Подумаешь, и жалко станеть, что подъ такими зорями такъ худо люди живутъ...

— А худо, Алексѣй?

— Худо, батюшка.

О. Иванъ проницательно смотрѣлъ на него.

— Ты не сектантъ, Алексѣй?

Тотъ засмѣялся.

— Почему ты думаешь такъ? Вѣдь у тебя же я сейчасъ благословлялся!

— Да это что! На мужика-то ты какъ-то... ровно не похожъ. И говоришь складно... не по-мужичьему!

— По землѣ бродилъ... видѣлъ много! Вѣдь я изгнанникъ, широкозадовскій! Людей много видѣлъ... хорошихъ людей. По заводамъ живаль... Читаль много... Хорошая книга, батюшка, какъ на гору вводитъ. Смотришь... весь міръ на ладони! И въ головѣ точно растеть что... большое, сильное! И тѣсно въ жизни становится... на волю охота, на большую волю... И складныя мысли въ головѣ растутъ... большія мысли... И все видишь по-новому! Кабы можно было, батюшка, всѣмъ людямъ хорошія книги читать, свободно съ хорошими людьми по душѣ разговаривать, безъ опаски, люди поняли бы другъ друга и свою худую жизнь... и жизнь бы стала большая, привольная... И будетъ когда-нибудь такое время!

О. Иванъ задумчиво смотрѣлъ на него.

— Будеть ли, Алексѣй?

Тотъ съ какимъ-то упорнымъ выраженіемъ произнесъ:

— Будеть, батюшка!

И тотчасъ заторопился.

— Мнѣ пора! Прощай!

— Прощай, Алексѣй!

Алексѣй пошелъ было, но вдругъ вернулся.

— Батюшка!

— Что скажешь?

— Ежели тамъ что... можетъ такое... случится что-нибудь...

— Что случится?

— Ну, тамъ... всякое случается! Случится не случится... Не говори, что лодку видѣлъ!

О. Иванъ опять хотѣлъ спросить:

— Почему?!

Но засмѣялся:

— Ладно, ладно! Я вѣдь тоже не болтливъ!

Алексѣй повернулся и зашагалъ по болоту.

О. Иванъ смотрѣлъ ему вслѣдъ и думалъ, что жизнь полна загадками. Все въ какомъ-то новомъ свѣтѣ представлялось ему, и онъ удивлялся тѣмъ новымъ мыслямъ о волѣ, о какой-то влекущей свободѣ и иной жизни, которыя возникали въ головѣ его. Все вокругъ него стремилось куда-то, рвалось, металось, и онъ самъ поддавался этому вѣянью невидимыхъ крыльевъ времени.

Онъ смотрѣлъ на утку у своихъ ногъ, и ему стало жаль ея. Онъ отнял у нея все, что она имѣла, и теперь она лежала у ногъ его, покорная... Теперь изъ этой вольной птицы можно сдѣлать чучелу, придать ей любую позу, и она будетъ стоять неподвижно тамъ, гдѣ ее поставятъ! А если вставить ей въ нутро пружину, будетъ она крикать, какъ живая, все одну и ту же ноту, которую заставляютъ...

Онъ взялъ утку за ноги и швырнулъ ее далеко въ болото.

XI.

Болото дымилося.

Точно зимній снѣжный поземокъ стлался по нему туманъ.

За туманомъ все разгоралась заря. По блѣдному лицу неба разливался румянецъ, черныя опушки перелѣсковъ точно покраснѣли отъ радости. Туманъ отъ земли поднимался клочками, точно блѣдныя руки тянулись къ небу. Черная туча дыма надъ селомъ растянулась отъ легкаго вѣянья вѣтра, точно лохматая старуха, согнувшись, убѣгала куда-то.

— О. Иванъ!

О. Иванъ, вздрогнувъ, обернулся.

Изъ перелѣска вышелъ студентъ и подходилъ къ нему съ дружелюбной улыбкой, протягивая руку.

— Охотились, кажется?

— Да такъ... старинку вспомнилъ, поугалъ воздухъ.

— А я съ вами давеча такъ и не поздоровался. Вы куда? Идемте вмѣстѣ.

Они выбрались изъ болота опять къ берегу рѣки и пошли вдоль нея на зарю, къ селу.

— Разсказывалъ мнѣ Алексѣй, батюшка, какъ вы вчера отличались на паромѣ... Ловко это вы!

И онъ вскричалъ въ искреннемъ порывѣ:

— Знаете...? ей-Богу! Вѣдь это подвигъ!!

— Ну!—удивленно взглянулъ на него о. Иванъ: — тонуть развѣ было? Вѣдь у меня на паромѣ свои кони стояли.

Они шли и любовались зарей, освѣщенные ею.

— Вы слышали вчера мое сраженіе съ духовенствомъ-то? — заговорилъ Димитрій Викторовичъ:—Здорово я ругался?

— Зѣло изрядно!

— Погорячился? Это бываетъ со мной... всегда такъ внезапно! Я вѣдь непримиримый! Вспыхнуть гнѣвныя мысли, и ужъ я теряю власть надъ собою. Ради отца надо бы, конечно... Да въ сущности, что я сдѣлалъ преступнаго? Развѣ я не правду говорилъ, а?

Онъ, смѣясь, косился на о. Ивана, точно желая подзадорить его.

— Помягче бы слѣдовало,—сказалъ о. Иванъ.

Студентъ сжалъ плечи, держа руки въ карманахъ.

— Да вотъ если мягкость-то меня и возмущаетъ! Мы, русскіе, вообще народъ мягкотѣлый... слизняки! Оттого и живемъ въ болотѣ! Вотъ англичанинъ... жесткій! Зато посмотрите, какую свободу онъ себѣ завоевалъ, сколько правды у него въ общественныхъ отношеніяхъ! Одинъ гимнъ чего стоитъ... „Никогда... никогда... никогда!.. британцы не будутъ рабами!“ Никогда!—повторилъ онъ:—мнѣ нравится эта категорическая жесткость! Тутъ ужъ не только платоническая любовь къ свободѣ,—нѣтъ, тутъ упорная, жесткая, непримиримая ненависть къ угнетенію... А это первоисточникъ свободы! Мы же, русскіе, только посылаемъ свободѣ платоническія улыбки да воздушные поцѣлуи, тогда какъ эту свободу необходимо завоевывать, и завоевывать съ чисто англійской твердостью... Вѣдь, согласитесь, о. Иванъ, мы живемъ ужасно... какъ рабы!

О. Иванъ слушалъ его молча и задумчиво.

Улыбка зари ужъ охватила полнеба. Кое-гдѣ у пушистыхъ облаковъ, точно собравшихся на востокъ встрѣчать солнце, зазолотились края.

— Вѣдь кто же виноватъ въ этомъ?—вопросительно произнесъ о. Иванъ:—не нами эта жизнь устроена!

— Не нами!—подхватилъ студентъ:—а мы переносимъ ее! Эту чужую жизнь, ломающую насъ, навязанную намъ,—мы покорно носимъ ее на плечахъ, не пы-

таясь сбросить, чтобы съ гнѣвомъ растоптать. Безъ критики, безъ протеста подчиняемся установлеянымъ отцами формамъ жизни со всей ихъ рабской идеологіей! Вотъ что въ массѣ сдѣлали изъ человѣка тираны! А человѣкъ въ себѣ самомъ носитъ источникъ прекрасной, справедливой, возвышенной жизни! Человѣкъ — это міръ энергіи, вѣчно вибрирующей, вѣчно безпокойной; воли, растущей вглубь и ширь; страсти, побѣдоносно творящей, вѣчно живой, неумирающей; мысли, стучащей въ землю и небо съ безстрашными вопросами... Онъ носитъ въ себѣ безграничную силу, способную покорить весь міръ, чтобы передѣлать его по своему!

— Это гордыня духа!—удивленно взглянулъ на него о. Иванъ.

— Да! Но развѣ смиреніе, подставляющее шею подъ удары, лучше гордости свободаго духа?!

Онъ поднялъ руки въ гнѣвномъ порывѣ, точно собираясь бороться съ кѣмъ-то ненавистнымъ.

— Пусть будутъ прокляты,—вскричалъ онъ,—условія, угашающія этотъ духъ, убивающія волю, мертвящія страсть, угнетающія мысль! Пусть будутъ прокляты тираны, создающіе ихъ! Эти условія таковы, что прекрасные дары природы, — воля, страсть и мысль, — въ большинствѣ случаевъ только увеличиваютъ сумму зла! Каждой силѣ долженъ быть исходъ, ей свойственный! Иначе сила все равно проявитъ себя, — но проявитъ дурно! Сумма зла въ человѣческомъ обществѣ — это сумма искалѣченныхъ силъ! Скрытыя, мощныя силы бьются повсюду, безсознательно ища исхода, — то вынося человѣка случайно на безсознательную высоту, то низвергая его въ безсознательную бездну!

— А вѣдь это правда, Димитрій Викторычъ!.. — неожиданно и горячо сказалъ о. Иванъ.—Всѣ мы жи-

вемъ... какъ въ туманѣ! Куда-то рвемся... а куда? Не знаемъ! И на повѣрку выходить: стремясь къ чему-то хорошему, создаемъ себѣ дурную и мучительную жизнь! Ужъ вотъ какъ мнѣ не хотѣлось идти въ священники! Кабы теперешній опытъ мой... не пошелъ бы!

— Тяжело?—внимательно взглянулъ на него Димитрій Викторычъ.

— Тяжело! Иногда невыносимо тяжело... ото всей жизни! Обманываешь себя хозяйствомъ... тѣмъ, сѣмъ... А нѣтъ! Да ужъ, должно быть, судьба такая... Ушелъ бы... а куда? Для чего живешь? Неизвѣстно!

— Вѣдь есть же у васъ какой-нибудь въ жизни идеаль?

— Идеаль?

О. Иванъ грустно взглянулъ на него.

— У меня есть... смертная тоска! Ничего больше!

— Такъ развѣ можно жить безъ идеала?! Какой смыслъ тогда вашего существованія! Кому нужны вы? Кто нуженъ вамъ! Да тогда вы самый несчастный человекъ на свѣтѣ!

— Но что жъ дѣлать!—вскричалъ о. Иванъ.—Судьба такая... Рокъ!

Студентъ пожалъ плечами.

— Рокъ—это слѣдствіе вполне опредѣленныхъ причинъ,—сказалъ онъ.—Надо изучать эти причины, какъ изучаются онѣ въ физикѣ или химіи, и уничтожать безбоязненно причины вредныхъ явленій, истребляя ихъ, какъ гнилые корни! Оглянитесь внимательно на вашу жизнь — и вы ясно увидите эти причины... Отбросьте ихъ! Теперь пришла именно такая пора... для всѣхъ!

Онъ опять разгорячился.

— Пришла пора создавать инныя условія, идеальныя... пора раскрѣпощенія общественныхъ силъ! Пора

борьбы!! На жизнь и смерть! Эта борьба—идеалы! Проникнитесь этимъ идеаломъ, идите сами на великую борьбу за угнетенныхъ, которую ведутъ отдѣльныя личности, герои жизни! Положите и сами камень на стѣны храма свободного человѣчества! Земля уже напилалась слезами и кровью достаточно... Она не можетъ больше. Она тяжело дышитъ и стонетъ, какъ въ мукахъ родящая... И вулканы гнѣва ея уже готовы раскрыться, чтобы залить мѣръ огнемъ всеочищающаго пожара!

Онъ протянулъ руку къ туману.

— Посмотрите! Она дымится, эта несчастная страдалница-земля!

Внезапно въ лицо имъ пахнулъ свѣжій вѣтеръ, остатки тумана поднялись, какъ взлетающій занавѣсъ, и разсѣялись.

Золотой край солнца возшелъ на горизонтъ.

Точно улыбнулось все навстрѣчу ему.

Набравъ въ грудь воздуху, студентъ вдругъ закричалъ на всю залитую нѣжнымъ свѣтомъ ширь, точно радуясь притоку силъ и зова другихъ къ этой радости.

— Чело-вѣ-къ! Ухо-ди изъ клѣ-ѣ-тки!!

И засмѣялся, обративъ къ о. Ивану разгорѣвшееся лицо.

Они стояли на распутьи.

— Мнѣ направо,—вамъ налево. До свиданья!

— До свиданья. Еще увидимся, вѣроятно?

— Вѣроятно! Только знаете что? Вѣхали молодцы на лодочкѣ, ни одинъ живъ человѣкъ не видалъ ихъ... Ладно?

— Ладно!—отвѣчалъ смѣхомъ на его смѣхъ о. Иванъ, чему-то радуясь...

Они разстались.

Студентъ шелъ прямо на дискъ солнца, еще большаго и не жаркаго. Точно золотыя тенета повисли въ воздухъ. О. Иванъ вошелъ въ рощу на задахъ церкви.

Въ рощѣ былъ сумракъ.

Здѣсь бродилъ еще туманъ, цѣпляясь за вѣтви и пахло сырмъ перегноемъ. Вверху, надъ гнѣздами кружились галки, съ безпокойнымъ карканьемъ перелетая съ вѣтки на вѣтку. Онѣ смотрѣли на о. Ивана строгими глазами, сгибая головки и точно ругали его со всѣхъ сторонъ. Заяцъ испуганно выбѣжалъ изъ-подъ ногъ его и скрылся. Мѣстами лучи солнца проникали уже въ чащу, какъ золотыя стрѣлы и, освѣщенные ими, на листьяхъ блестѣли капли росы, какъ разноцвѣтныя слезы. Черный жукъ съ шумомъ пролетѣлъ, глухо стукнулся о дерево и присмирѣлъ. Откуда-то появились маленькія, назойливыя мухи. Гдѣ-то звонко и однообразно свистѣла птица, точно стонала:

— Пить... пи-ить!

Что-то бѣлое мелькнуло межъ деревьевъ.

У о. Ивана упало сердце.

Навстрѣчу ему шла Павлинька.

На ней было все то же бѣлое платье, та же ко-сынка, что и вчера вечеромъ, словно она и не ложилась спать; лицо было слегка блѣдное, точно похудѣвшее, по нему бродило безпокойство и ожиданіе. Увидѣвъ о. Ивана, она быстро пошла ему навстрѣчу.

— Я знала!—сказала она, улыбаясь ему и пытливо глядя ему въ лицо.

Онъ не спросилъ, что она знала.

Онъ избѣгалъ смотрѣть на нее, дѣлая видъ, что наблюдаетъ за галками, которыя, раскачиваясь на вѣткахъ, подозрительно, не умолкая, каркали. Онъ даже подумалъ, что вотъ она смѣется и смотреть ему въ глаза и что она безсовѣстная, у нея совсѣмъ стыда нѣтъ.

— Доброе утро!— проговорилъ онъ:— Гуляешь?

Она вдругъ забила въ ладоши и засмѣялась, какъ дѣвочка.

— Чего ты?— угрюмо посмотрѣлъ онъ на нее.

— Да ужъ очень... очень... хорошо это вышло у тебя вчера!

Она придала лицу своему строгій видъ и сказала ба-совито:

— Ва-ви-лонянка!

И опять расхохоталась какъ-то нервно, такъ что слезы выступили.

— Никогда этого не забуду! Вавилонянка! Такъ я вавилонянка? Ахъ, какой ты...

— Какой?

Она молчала, но такъ выразительно, что онъ сказалъ съ неувѣренной строгостью:

— Павла! Доколѣ ты будешь смутьянничать! Какъ не стыдно... Вѣдь ты матушка! И меня въ грѣхъ вводишь! Какой тебя бѣсъ обуялъ! Я всегда считалъ тебя... за... порядочную женщину...

Она близко подошла къ нему.

— Да вѣдь ты... любишь меня? Скажи!

Онъ отодвинулся.

— Конечно, люблю... какъ хорошую, милую женщину... и къ тому же матушку.

— Ахъ, матушка, матушка!—внезапно возмутилась она, вдругъ проявивъ всю наполнявшую ее нервную напряженность:—матушка! Порядочная женщина! Вся жизнь словами какими-то опутана, ступить шагу некуда! Точно ярлыки какіе на всѣхъ налѣплены, какъ на пивныхъ бутылкахъ! Да я, что ли, на себя ярлыкъ этотъ налѣпила? Я, что ли? Ма-тушка! Порядочная женщина! Да если не хочу я быть ни матушкой, ни порядочной женщиной! Самой по себѣ я хочу быть!

— Павла! Ты съ ума сошла! Что ты говоришь!

— Нѣтъ, не я сошла! Всѣ сошли, всѣ давно сошли и бормочать слова безъ смысла! Жизнь безобразная, лживая у всѣхъ, всѣ обманываютъ другъ друга. Всѣ опутаны словами безъ смысла, всѣ! Какая я матушка! Мнѣ Матвѣй противенъ! Меня уговорили идти за него! Ты же, ты уговаривалъ! Ты! Прекрасная па-артія! Матушкой будешь!! Да я всѣ слова его ненавижу, всѣ его мысли возмущаютъ меня... я слушать не могу, когда онъ говоритъ! Понимаешь ты это?! Я шаги его издали слышу, когда идетъ онъ... и точно змѣя ко мнѣ подползаетъ! Можетъ-быть, можетъ-быть онъ хорошій человѣкъ... да, да! Хорошій человѣкъ, прекрасный человѣкъ... да завтра я уйду отъ него и навѣкъ забуду его... чужой онъ мнѣ! Не люблю... а порой я страстно, отчаянно ненавижу его! Вотъ я этому... Рудометову... Я какъ во снѣ... Такъ ты самъ-то не видѣлъ такой моей прекрасной жизни? Матушка... порядочная женщина! Да я просто человѣкъ... пойми! Просто человѣкъ и страдаю ужасно, ужасно! И больше не могу такъ, не могу! Вотъ я... попробовала такъ, какъ другіе... противно мнѣ! Мнѣ все противно! Кругомъ все! И мужъ! И домъ! И хозяйство! Это проклятое хозяйство! Эти проклятые люди! Всѣ вокругъ проклятые! Ненавижу!

Она крѣпко сжала губы. Глаза ея были темные и сухіе, а губы кривились, какъ отъ боли.

— Ненавижу я все, всѣхъ! — страстно повторяла она.

Онъ съ ужасомъ смотрѣлъ на нее и хотѣлъ что-то сказать, но она не дала ему, взявъ его за руку, говоря:

— Вѣдь ты любишь меня... Почему ты хочешь скрыть это? Почему ты боишься правды?..

Это грѣшная правда! — угрюмо сказалъ о. Иванъ.

— Такъ укажи мнѣ, гдѣ правда праведная! Я не могу такъ больше жить! Я томлюсь. Не по мнѣ эта жизнь... не моя она!

— Какую же тебѣ нужно жизнь, Павлинька?

— Да вотъ... какую! Развѣ я знаю! Вотъ мнѣ кажется, что растеть въ жизни что-то новое... Только мы идемъ мимо, какъ слѣпцы, и не видимъ!

— Да что?—задумчиво произнесъ о. Иванъ.

— Не зна-а-ю! Чувствую только! И если бы ты зналъ, какая,—кака-а-я тоска меня охватываетъ иногда! Точно въ гробу я лежу... А крышку медленно опускаютъ! И забиваютъ! И слышу я, какъ стучить молотокъ... глухо стучить! И несутъ... и опускаютъ въ землю... И вотъ земля комками глухо падаетъ сверху... Пусто, холодно... Одна я!!

Она схватила его за руки.

— Уйдемъ! Уведи меня изъ этой жизни! Я не вынесу! Я погибну! Наложу руки на себя! Вѣдь мы любимъ другъ друга! Мы всегда любили. Я недавно поняла это, создалась въ этомъ... Мы свои другъ другу... а остальные всѣ чужіе, чуждые! Ты сильный! Сбрось рясу! Уйдемъ! Уйдемъ вмѣстѣ, объ руку съ тобою! Ты вездѣ найдешь себѣ дорогу!

— Да ты пойми,—растерянно шепталь ей о. Иванъ:— что говоришь ты?! Вдумайся!! Кто Матвѣй-то? священникъ! А я... Неужели я... Вѣдь и ты мнѣ... пойми... Я... священникъ! Вѣдь мнѣ совѣстно, что вотъ я... здѣсь съ тобою.

Она безсильно опустила руки, потомъ вдругъ съ гнѣвнымъ отчаяніемъ вскричала:

— Ну, пойдемъ... И ляжемъ въ наши могилы! Ты въ свою, я въ свою!..

Пораженный взрывомъ ея отчаянія, полный какой-то смутной и странной жалости къ ней и къ себѣ и къ

чему-то убѣгающему, онъ въ невольномъ порывѣ протянулъ ей руки.

И опять ему показалось, что огненная буря закружила рошу и жгучія волны побѣжали въ воздухъ. Всѣ мысли и сомнѣнія его покатались въ какую-то бездну, міръ пропалъ, онъ остался съ нею наединѣ, видѣлъ только ея блѣдное лицо и ничего прекраснѣе этого лица онъ не видалъ. И ничего дороже ему въ мірѣ не было... Онъ нагнулся къ волосамъ ея, коснулся ихъ горячими губами, нагнулся къ уху ея, къ ея горячей, порозовѣвшей щекѣ. И ужъ губы его искали губъ ея...

Гулкій ударъ колокола раздался съ колокольни.

Точно строгая мысль поплыла въ воздухъ, холодная и тяжелая, стелясь по землѣ и ударяясь въ горизонты.

О. Иванъ оттолкнулъ Павлиньку и пошелъ вонъ изъ роши, спотыкаясь о корни, какъ слѣпой.

Простоявъ утреню въ притворѣ, о. Иванъ прошелъ во время проскомидіи въ алтарь. Благочинный, въ красномъ шелковомъ стихарѣ, препоясанномъ бархатнымъ поясомъ съ золотыми звѣздами, совершалъ проскомидію. Лицо его было блѣдное, утомленное и безпокойное. Сторожа то и дѣло вносили на подносахъ просфоры съ записками и поминаньями, на которыхъ бѣлѣли серебряныя монеты или чернѣли мѣдныя, прошедшія много рукъ. Сослужащіе священники — о. Павелъ и о. Сильвестръ, — снявъ фелони, тихо разговаривали. Разговоръ ихъ, какъ сквозь сонъ, достигалъ о. Ивана.

— Ивановскій все вынюхаетъ! — говорилъ о. Павелъ: — онъ ужъ вонъ и на колокольнѣ зачѣмъ-то побывалъ, а давеча по задамъ шмыгалъ... Коварный человѣкъ! Со своимъ священникомъ безпрестанно судится!

— Да, да!—подтвердилъ о. Сильвестръ:—такъ вотъ онъ мнѣ и рассказывалъ. Безпокойно, говорить... Что-то мужики замышляютъ... Шепчутся, говорить!

— О чемъ же?—съ любопытствомъ насторожился о. Павелъ.

— Ну, этого-то онъ и не знаетъ...

О. Сильвестръ мягко засмѣялся, шевеля бровями:

— Не вынюхалъ еще!

Благочинный кончилъ проскомидію и торопливо надѣлъ фелонь. Батюшки тоже облачились и стали по бокамъ престола. Ставъ передъ престоломъ, благочинный замѣтилъ о. Ивана и поманилъ его къ себѣ.

— Не видали Митю?—прошепталъ онъ.

И съ тревожнымъ безпокойствомъ смотрѣлъ въ лицо ему.

— Сейчасъ только съ нимъ у рѣчки гуляли.

— Ну, ну! — сказала благочинный, съ легкимъ вздохомъ.

И онъ еще хотѣлъ что-то добавить, но въ это время дьяконъ Сикеровъ, торжественный и важный, съ шумомъ отдернулъ завѣсу, поцѣловалъ руку у благочиннаго и, вышедши на амвонъ, провозгласилъ густымъ басомъ, какого нельзя было отъ него и ожидать:

— Бла-го-слови, влады-ко!

Благочинный взялъ евангеліе и, дѣлая имъ надъ антиминсомъ крестъ, заговорилъ нараспѣвъ, поднявъ вверхъ свое блѣдное, безпокойное, какъ-будто испуганное лицо:

— Благословенно царство... Отца и Сына и Святаго Духа... нынѣ и присно и во вѣ-ѣ-ки вѣк-о-о-о-о-овъ...

XII.

Къ полдню ярмарка была въ самомъ разгарѣ.

Богдановка тѣснымъ кольцомъ узкихъ и грязныхъ, путанныхъ улицъ окружала два невысокихъ холма. На одномъ возвышалась красивая бѣлая церковь, противъ которой находился домъ благочиннаго, на другомъ темнѣлъ пустоваловскій спиртный заводъ. Отъ церкви къ заводу шла широкая улица. Вся обширная площадь вокругъ церкви была застроена наскоро сооруженными лавочками. Безчисленныя улицы балагановъ, дощатыхъ, рогожныхъ, холщевыхъ, пылали яркими красками товаровъ. Въ воздухъ вѣяли, какъ знамена, цвѣтные шарфы, ярко-красные или синіе кушаки; на колышкахъ здѣсь и тамъ возвышались шапки простыя и смушковыя, кивали шумящіе картузы, колебавшіеся отъ вѣтра, какъ головы казенныхъ. Казинетовыя пиджаки братски висѣли рядомъ съ сермягами. Сапоги, рукавицы, холсты, шали, пряники—все манило взглядъ принаряженныхъ дѣвицъ, щелкавшихъ сѣмечки или жевавшихъ „сѣрку“, останавливало вниманіе робкихъ бабъ, завистливо и безнадежно трогавшихъ товары пальцами, ласкало воображеніе мужиковъ, останавливавшихся въ задумчивости передъ этими богатствами. Какой-то худой и суетливый мужикъ съ бѣлыми нитками подъ мышкой и въ поярковомъ цилиндрѣ торговался изъ-за веретена, крича:

— Цана-то яму грошъ... а ты даражишься!

Гомонъ и гамъ, плачь ребенка, хохотъ, смѣхъ, восклицанья, крикъ встревоженной галки на церковномъ крестѣ,—сливались съ праздничнымъ колокольнымъ звономъ, съ дребезжающимъ речитативомъ слѣпой старухи, вымаливавшей гроши:

О. Иванъ, уже давно бродившій безъ цѣли по ярмаркѣ, остановился передъ старухой и сказалъ, присматриваясь къ ней:

— Никакъ, Ёокановна? Здравствуй, Ёокановна! Что ты это? Какъ-будто зрячей въ прошломъ году я тебя видѣлъ?

— Ватюшка! Гнѣздовскій батюшка!—бормотала старуха, — по голосу узнала, родимый! Здравствуй, батюшка! Ослѣ-ѣ-бла, родимый...

— Отъ слезъ... Сыночка-то моего... слышалъ? Бунтовалъ народъ. Воиновъ, слышь, вызывали... Ну, пришли воины... А сыночекъ-то... Опосля воины-то жалѣли! Распоряженіе командеръ, слышь, далъ, чтобы въ воздухъ воины-то... А одинъ юнтеръ... злобный былъ! А глаза то, слышь, у меня... и раньше...

Судьбы Господни неисповѣдимы! — сказали о. Иванъ, подавая старухѣ большой мѣдный пятакъ: — смирись и не ропщи! Испытанія посылаетъ намъ Господь по грѣхамъ нашимъ... Яко Отецъ... Непослушаніе же властямъ предержащимъ...

Онъ посмотрѣлъ на трясущуюся голову старухи...
и замолчалъ.

17

— Внучекъ, послѣ сына остался... Вся надежа, батюшка... Подрастетъ, такъ чать прокормитъ меня, старую...

Мальчишка переступилъ съ одной босой ноги на другую и сказалъ не безъ важности:

— Я и сейчасъ рабочій человекъ!

О. Иванъ засмѣялся его важности.

— Гдѣ же ты работаешь?

— У барина на заводѣ, посуду мою! За это меня и Шкаликомъ прозвали.

— Ишь ты... И зарабатываешь много?

— Каждый день пятакъ!

О. Иванъ гладилъ его по бѣлой головѣ.

— Молодецъ!.. А читать умѣешь?

— Я-то?

На лицѣ у него появилось до смѣшного гордое выраженіе.

— Эге! Я нацинскимъ спиртякамъ вслухъ читаю! Меня дядя Ляксѣй выучилъ, какую хочешь книгу прочитаю!

И онъ съ неудовольствіемъ мотнулъ головой.

— А по головѣ ты меня не гладь... Я этого не люблю!

О. Иванъ опять смѣшался съ толпою.

Ему нравилось отдаваться этому людскому потоку. Народъ запружалъ улицы и площадь. Тамъ и сямъ встрѣчались знакомые и послѣ радостныхъ возгласовъ шли по трактирамъ, грязнымъ, шумнымъ, по балаганамъ, гдѣ продавался мутный чай, пеклись блины, оладьи и звонкоголосыя бабы зазывали посѣтителей или переругивались между собой. О. Иванъ присматривался къ мужикамъ. Онъ ихъ всѣхъ зналъ тутъ, по округѣ,—могъ опредѣлить откуда кто. Вотъ колычѣвцы, раскольники изъ-за Поѣмы, „киржаки“ или „двоедански

морды“,—какъ звали ихъ мужики. Ихъ сразу можно узнать по зажиточному виду, по солидной, нѣсколько гордой манерѣ держать себя... Они были такъ же серьезны и молчаливы, какъ ихъ дома въ Колычѣвкѣ изъ почернѣвшаго отъ времени лѣса. Около нихъ сосредоточивался торгъ. Купцы отъ своихъ прилавковъ имъ кланялись съ подобострастіемъ, а для ихъ красивыхъ и нарядныхъ бабъ вынимали лучшіе товары откуда-то изъ укромныхъ сундуковъ. Вотъ богомиловцы,—худые, тощіе, съ блестящими, голодными глазами... Они, какъ тѣни, бродятъ по ярмаркѣ, ничего не покупая, возбуждая злость продавцовъ.—Чего сталъ!—кричатъ продавцы на богомиловца. Онъ идетъ дальше.—Не мѣшай! Не засты!—кричатъ ему въ другомъ мѣстѣ. А онъ остановившимися глазами смотритъ на богатства ярмарки, и лишь иногда робко спроситъ у покупателя, только-что получившаго въ свое владѣніе купленную вещь.

— А почему безчестье-то, почтенный?

Вотъ васильевцы!

О. Иванъ узнавалъ ихъ по понурому виду и подозрительнымъ взглядамъ: точно задумали они какую-то думу и таятъ ее отъ всѣхъ. Онъ замѣтилъ, что гдѣ только появлялся васильевецъ, всѣ внимательно, любопытно присматривались къ нему, уступали ему дорогу. Разговоры стихали, будто всѣ ждали, что вотъ васильевецъ что-то скажетъ сейчасъ. Даже купцы за прилавками, когда подходилъ къ нимъ васильевецъ и угрюмо освѣдомлялся о цѣнахъ, отвѣчали ему тихо и почтительно, любопытно смотря на него. Казалось, тайна какая-то бродила по ярмаркѣ объ руку съ васильевцемъ. Эта тайна носилась въ воздухѣ надъ ярмаркой, таилась по закоулкамъ, пряталась отъ любопытнаго взгляда. О. Иванъ замѣтилъ дьякона Иванов-

скаго, шнырявашаго по толпѣ и, казалось, что-то вынюхивавшаго. Онъ хотѣлъ-было остановить его, разспросить, да ужъ очень противенъ ему былъ этотъ юркій дыяконъ.

Тутъ онъ замѣтилъ своего гнѣздовца.

Гнѣздовецъ — болтливъ, смѣшливъ, разговорчивъ, любитъ добродушно посплетничать. Онъ философъ, потому-что смотритъ на жизнь юмористически. Заплаты на своемъ ветхомъ кафтанѣ онъ зоветъ „глядѣлками“, когда голоденъ, увѣряетъ, что „отъ ѣды брюхо болитъ“, когда градъ побьетъ всходы, юмористически сожалѣетъ, что „Илья пророкъ не нашелъ другого мѣста въ бабки играть!“ Это онъ пустилъ по свѣту выраженіе „безземельная душа!“ Даже умирая, гнѣздовецъ вѣренъ себѣ,—шутить:—„довольно, пожилъ; пора и попу доходъ дать!“

— Эй, степенный! Почему ребячьи дразнилки-то?— кричалъ гнѣздовецъ, подбоченясь передъ пряниками.

Одѣтъ онъ былъ во что-то, премудро составленное изъ заплатъ, но былъ красенъ, точно вышелъ изъ бани и веселъ, какъ миллионеръ. Батюшкѣ онъ обрадовался и тутъ же попросилъ у него „рупь“, говоря, что отдастъ, какъ только продастъ какого-то рыжаго теленка, котораго, по его увѣренію, батюшка долженъ знать, потому что теленокъ родился въ одинъ день съ Витюшкой, котораго батюшка крестилъ. А рубль былъ ему необходимъ, потому что онъ выдавалъ дочь замужъ...

— И, стало-быть, нужно ей приданое!

О. Иванъ, смѣясь, далъ рубль.

Но какъ только онъ заговорилъ, осторожно и таинственно, относительно какого-то темнаго слуха, который бродитъ по базару, но никакъ его не уловишь,—мужикъ смутился, глаза его убѣжали въ сторону.

— Кто знать, батюшка!—сказалъ онъ.

— Да може чѣго слышалъ, Карпъ?

Карпъ утеръ рыжую бороду и почесалъ затылокъ.

— Не наше дѣло!—сказалъ онъ:—мало что по базарамъ болтають! Всѣхъ слуховъ не переслушаешь!

— Да какіе слухи-то?

Карпъ смущался все болѣе и повторялъ:

— Кто знать...

И точно, ища способовъ освободиться отъ этихъ разспросовъ, онъ закричалъ бабѣ, ѣхавшей на возу съ молодой картошкой.

— Э-эй, тѣта-а-ха! Голова-то гдѣ у тебя?

Баба растерянно и поспѣшно схватила за голову.

И, плюнувъ, начала звонко ругаться.

Всѣ кругомъ смѣялись и о. Иванъ смѣялся.

Но, оглянувшись, онъ уже не увидалъ Карпа.

„Какіе они всѣ стали... подозрительные!“ — подумалъ онъ.

— Мужикъ горить! Мужикъ горить! — закричали гдѣ-то въ центрѣ базара.

Толпа шарахнулась туда, галдя, поднимая красноватую пыль. И опять хохотъ поплылъ надъ базаромъ. О. Иванъ увидалъ давешняго мужика въ поярковомъ цилиндрѣ, съ бѣлыми нитками и веретенкомъ подъ мышкой. Отъ него шелъ легкій дымокъ и запахъ гари. Лицо у него было испуганное.

— Что случилось?—спросилъ о. Иванъ.

— Сѣрные спички загорѣлись въ карманѣ. Ишь, карманъ-то... выгорѣлъ!

Мужикъ сокрушенно взмахивалъ руками, смотря себѣ подъ ноги.

— Карманъ-то не жаль... Махорка сгорѣла!

Вмѣстѣ съ смѣющимся потокомъ народа о. Иванъ шелъ дальше и дальше, безъ цѣли.

Широкую улицу, сбѣгавшую внизъ по направленію къ заводу, сплошь заставили возы съ живностью, ранними овощами, дегтемъ, сушеной рыбой.

— Воблы, воблы, воблы, воблы!—быстро и звонко выкрикивалъ маленькій мужичокъ, курносый, весь въ веснушкахъ и улыбающійся.

Тутъ же пестрый теленокъ ревѣлъ басомъ.

— Пѣтъ, что ли, учится?—мигнулъ на него о. Иванъ.

Скромная женщина у воза робко и печально улыбнулась.

— Не надо ли сметаны, батюшка?

— Куды мнѣ!

Тутъ гагакали гуси, вели бесѣды куры, утки, индюшки, кричали во все горло пѣтухи, словно радуясь празднику. А дальше къ заводу базаръ превращался въ дровяной и скотный торгъ, гдѣ были навалены горы деревянныхъ боронъ, сохъ, перекладовъ, лодокъ, лопатъ, мѣшковъ, гдѣ мужики осматривали терпѣливыхъ воловъ, коровъ, жевавшихъ жвачку, пугливыхъ лошадей, безпокойныхъ овецъ.

Казалось, богатая и обильная страна выслала дары свои съ долинъ и уваловъ.

Должно быть, эта мысль пришла въ голову доктору, который встрѣтился съ о. Иваномъ.

— Говорятъ, Россія бѣдная страна!—мигнулъ онъ батюшкѣ съ хитрымъ добродушіемъ, показывая мелкіе бѣлые зубы:—да на эти богатства можно королевство купить!

— Обиліе изрядное!—подтвердилъ о. Иванъ:—какъ въ землѣ обѣтованной!

Докторъ былъ широкогрудый мужчина, съ немного грубоватыми манерами. Ходилъ онъ по базару съ видомъ фланера, засунувъ руки въ карманы брюкъ, сдвинувъ на затылокъ мягкую шляпу. На слова о. Ивана

онъ засмѣялся, отвѣчая ему своимъ любимымъ выраженіемъ:

— Вотъ именно!

И обратился къ мужику съ коровой:

— Что это ты корову-то продаешь?

— Требуютъ...—сказалъ мужикъ робко.

— Кто требуетъ?

— Кузьма Афанасьичъ требуютъ... Стало-быть, сѣять надо. А зерна нѣту-ка! А Кузьма Афанасьичъ страшатъ судомъ, зерна не даютъ... А мы должны, стало-быть... Кузьмѣ-то Афанасьичу... за стары годы должны...

Потомъ докторъ обратился къ большебородому мужику съ тѣмъ же вопросомъ относительно поджарой гнѣдой лошади. Мужикъ хмуро отвѣтилъ:

— За ренду Пустовалову платить нечѣмъ... Подавись они!

Послѣ цѣлаго ряда такихъ вопросовъ, о. Ивану показалось, что они идутъ не по базару, а по какому-то аукціону, гдѣ спѣшно распродается за долги все крестьянское имущество. И точно въ первый разъ онъ увидѣлъ, какъ сумрачны и истощены лица у продавцовъ и покупателей, какъ худы эти бойко тараторящіе куры и поджары пѣтухи, какъ тощи коровы, исхудалы лошади, печально покорны воли...

— Земля обѣтованная?—подмигнулъ ему докторъ.

О. Иванъ серьезно посмотрѣлъ на него.

— Нѣтъ, это ужъ выходитъ... у котловъ египетскихъ.

И чѣмъ дальше шелъ онъ среди шума и гама базара съ этимъ веселымъ докторомъ, тѣмъ больше ему казалось, что передъ нимъ раскрывается какая-то непонятная ему язва, точно спала вдругъ веселая маска и на него глянуло лицо прокаженного. И вдругъ, какъ духъ аукціона, передъ ними предсталъ широкозадовецъ

Въ новенькомъ, съ иголочки, широкозадовскомъ трактирѣ, смотрѣвшемъ настезь распахнутыми окнами въ самый центръ базара, послышался шумъ свалки, полетѣли на полъ столы, забренчала разбитая посуда и почти слѣдомъ за тѣмъ съ высокаго трактирнаго крыльца, широко шагая, вылетѣлъ на улицу вытолкнутый мужикъ.

Онъ былъ дикаго вида.

Высокій, страшно худой. Сквозь разорванную на боку грязную рубашу виднѣлись ребра, какъ у скелета. Босой, въ дырявыхъ штанахъ, съ крупной головой, на которой сѣдые волосы перепутались и поднялись, съ глазами, дико горящими, онъ весь походилъ на чело-вѣка, котораго треплетъ внутренній вихрь: поднимая худыя, какъ плети, руки, онъ точно хотѣлъ схватить ими кого-то и задушить въ ярости.

— Ага! А-а-га-а!!—кричалъ онъ пьянымъ крикомъ, дикимъ, какъ вопль испуганнаго:—ага, предатели! Ага-а! Все взяли! Все!! Таперь вонъ гоните! Ага-а!

Онъ хрипѣлъ, точно задушенный.

О. Иванъ узналъ его.

— Это широкозадовецъ.

Широкозадовецъ выбрасывалъ руки, точно считалъ ихъ такими длинными, чтобы разворотить эту крышу, и разбросать этотъ домъ...

— Ага-а! Продажныя души! На васъ суда нѣтъ! Ага! Суда нѣтъ! Прокля-я-тия души! Все ваяли! Все!!

Онъ стоялъ передъ трактиромъ обобранный, въ кровь избитый и кричалъ:

— Куды я теперь?!

Надъ нимъ смѣялись.

Изъ оконъ смотрѣли пьяныя лица лавочниковъ, благодушно расплываясь въ улыбки.

— Куды... я... пойду?!

Не твердо стоя на подгибающихся ногахъ, онъ обернулъ къ базару свое распухшее, въ синякахъ, растерянное лицо.

— Православные! Все взяли! Все! Ага-а! Вотъ они... вотъ они какіе! Сына купили! Сынъ имъ душу продалъ! Вотъ они! Ага-а! Суда нѣтъ! Дочь распутной сдѣлали! Все взяли! Ага-а! Суда нѣтъ! Прокля-я-тые!! Прокля-тые!! Прокля-я-я-тые!!

Вдругъ, точно кости его вмигъ размякли, онъ какъ мѣшокъ осѣлъ на землю.

— Умру! Умру здѣсь... куды я пойду! Некуда... все взяли ..

Худая, блѣдная женщина наклонилась къ нему.

— Степанъ... пойдѣмъ...

— Куда?!

— Пойдѣмъ... Степанъ...

Онъ охмѣлѣлъ, сталъ точно сонный.

Она тащила его за рукавъ рубахи, не замѣчая, что та рвется, и смотрѣла вокругъ безпомощно и робко.

Возвращаясь съ докторомъ къ дому благочиннаго, о. Иванъ замѣтилъ какое-то смятеніе, распространявшееся по базару. Нѣсколько разъ о. Иванъ различилъ возгласъ:

— Везуть!

И ужъ это слово стало господствующимъ.

Толпа ребятишекъ, скача, пробѣжала мимо съ крикомъ:

— Везуть! Везуть!

Быстрымъ шагомъ прошли мужики и прокричали то же слово кому-то знакомому.

О. Иванъ почувствовалъ смутную тревогу.

У благочинническаго крыльца стояла карета. Взмыленные лошади тяжело дышали.

— Ну, тутъ земскій... Дальше я не иду!—сказалъ докторъ, и протянувъ о. Ивану руку, крѣпко сжалъ

ее:—бывайте здоровы, а что случится, къ намъ милости просимъ...

— Пойдите-ка!—остановилъ его о. Иванъ.

Не выпуская руки доктора, онъ отвелъ его за крыльцо къ калиткѣ и спросилъ таинственно:

— Что это тамъ, Михала Васильчъ... на базарѣ-то творится?

— А что?

— Какъ-будто что-то... не поймешь что... Чего-то ждутъ словно.

Докторъ поднялъ брови.

Но на лицѣ его отразилось безпокойство, онъ отвелъ глаза.

— Ничего не знаю, ничего... А вы что замѣтили?

И вдругъ, засмѣявшись нѣсколько принужденно, проговорилъ:

— Скажите-ка мнѣ, отецъ: вы знаете, что такое профессиональная тайна? По удивленному лику вашему замѣчаю, что не грѣшны. Ну, такъ вотъ, ежели я вижу здороваго на видъ человѣка и замѣчаю у него признаки расширенія сердца... могу ли я всѣмъ и каждому говорить о томъ? Это и называется профессиональною тайною... А за симъ... адъе!

Онъ раскланялся и ушелъ.

Въ домѣ благочиннаго было тихо.

Сначала о. Иванъ подумалъ, что комнаты пусты, всѣ ушли куда-нибудь, сопровождая земскаго. Онъ вошелъ въ залу съ тяжелымъ вздохомъ уставшаго человѣка и остановился какъ вкопанный.

Тутъ всѣ были налицо, вся компанія.

Даже карточный столъ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, и вокругъ него помѣщались вчерашніе игроки, хотя теперь они уже стояли, какъ и всѣ, и на опухшихъ лицахъ ихъ отражалась такая почтительность, что о.

Иванъ смущенно посмотрѣлъ, въ порядкѣ ли его подрысникъ. Духовенство окружало мужчину среднего роста, военной выправки. Это былъ земскій Пустоваловъ. Онъ какъ-будто былъ перешибленъ въ спинѣ: стоялъ, разставивъ ноги, и въ то время, какъ нижняя половина его туловища была неподвижна, верхняя колебалась, откидывалась, вращалась влѣво и вправо, хотя все это съ изящно-солидною манерой свѣтски-воспитаннаго человѣка. Былъ онъ совершенно беззубъ, отвислыя губы его, при разговорѣ слегка вдрагивавшія, слюнявили; длинный носъ съ мясистымъ горбомъ былъ увѣнчанъ постоянно падавшимъ пенсне, сквозь которое смотрѣли безцвѣтные глаза. Видимо, этотъ человѣкъ достаточно пожилъ среди „круповскихъ“ удовольствій и приобрѣлъ мудрость Соломона въ нѣкоторыхъ вещахъ, чтобы подъ старость сдѣлаться „отцомъ народа“, какъ онъ величалъ себя,—этотъ подагрикъ, не брезговавшій для утѣхъ извращенной чувственности въ подвластныхъ ему владѣніяхъ даже тѣмъ, что онъ въ дружескомъ кругу шутя называлъ „виньеткой“. Какъ-то даже самъ губернаторъ имѣлъ случай выразиться о немъ, прикрывая какое-то „дѣло“:—„Кажется, этотъ Пустоваловъ считаетъ Россію за домъ терпимости“. Теперь, при почтительномъ вниманіи слушателей, земскій говорилъ, дымя дорогой сигарой, говорилъ непрерывно, однообразно, деревянно, не понижая и не повышая тона, съ авторитетностью человѣка, не привыкшаго къ возраженіямъ, брызгая слюной и не ясно выговаривая слова:

— Народъ... да... народъ! Я говорю:—что такое народъ, ваше превосходительство? Мы сидѣли: я—такъ, губернаторъ—такъ, остальные члены совѣщанія вокругъ насъ. Я говорю: народъ, ваше превосходительство, большое туловище, которому необходима голова.

А? Что? Я говорю, необходима голова! Дайте намъ голову, ваше превосходительство... голову туда и голову сюда... Проектъ министерства совершенно правъ, желая обособить народъ. Распирьте нашу власть, наши права... на-а-ши пра-ва, ваше превосходительство... А? Что? И все будетъ великолѣпно! Мы всегда были отцами народа! Я говорю,—я самъ отецъ народа! У меня полтораста тысячъ десятинъ имѣнія, ваше превосходительство,—въ здѣшнемъ уѣздѣ, у меня заводъ... Я знаю народъ и народъ меня знаетъ... Говорю: голову туда и голову сюда... Ха-ха! Народы! А? что? Я вамъ расскажу анекдотъ, господа... Кажется, здѣсь нѣтъ женщинъ? Это не дамскій анекдотъ, господа...

Земскій громко засмѣялся еще неразсказанному анекдоту, брызгая слюной.

Слишкомъ близко стоявшій къ нему дьяконъ Ивановскій смущенно увелъ голову въ плечи, незамѣтно отошелъ въ сторону и тамъ не безъ почтительности отеръ свое лицо, послѣ чего посмотрѣлъ на платокъ съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ поцѣловать его.

— Не угодно ли присѣсть, Аркадій Михайловичъ,—робко обратился къ земскому благочинный.

— А гдѣ же ваша матушка?—галантно освѣдомился земскій.

Благочинный метнулся къ двери.

— Матушка! Иди сюда скорѣе. Аркадій Михайловичъ желаетъ тебя видѣть!

Изъ дверей немедленно вышла разряженная матушка, точно ее кто выдвинулъ оттуда на пружинѣ. Лицо у нея было почтительно-испуганное.

— Не желаете ли чайку откушать, Аркадій Михайловичъ,—говорила она, смущенно краснѣя, точно дѣвочка, подъ взглядомъ земскаго:—ужь извините, у насъ по-просту!

— Съ удовольствіемъ! Съ удовольствіемъ! А? что?

— Пожалуйте въ гостиную...

Земскаго окружили, какъ архіерея.

Онъ направился въ гостиную колеблющейся походкой своей, раскачиваясь и говоря на ходу:

— Это было необыкновенно остроумно! А? что? Народъ, говорю, ваше превосходительство, это большое туловище...

Теперь всѣ считали своимъ долгомъ громко удивляться остроумію земскаго, сдержанно хохотали, сообщали другъ другу что-то похвальное, и сквозь почтительно-восхищенный говоръ все раздавался деревянный басокъ земскаго:

— Голову сюда... и голову туда..

Налетѣвшій порывъ вѣтра отпахнулъ окно въ гостиную.

И когда сдержанный смѣхъ и говоръ нѣсколько смолкли, въ окно донесся гулъ людской молвы. Это былъ гулъ базара. Но теперь это былъ уже не тотъ веселый и разноголосый гулъ, что прежде. Новые тоны возникли въ немъ,—тревожные тоны, заставившіе вмигъ насторожиться и переглянуться находившихся въ гостиной. Постепенно они брали перевѣсъ, мигъ за мигомъ разростаясь въ грозный ураганъ голосовъ.

Земскій привсталъ.

Благочинный страшно поблѣднѣлъ и застылъ на мѣстѣ, точно ждалъ, что вотъ сейчасъ разразится надъ нимъ давножданное, но непонятное несчастье. Оаворскій и Ивановскій бросились къ окну, но имъ мѣшали кисейныя занавѣски: они второпяхъ путались въ нихъ.

Въ тотъ же моментъ по лѣстницѣ и корридору раздались быстро-бѣгущіе шаги. Въ комнату влетѣлъ растрепанный, багровый дьяконъ Сикеровъ.

— Что? Что такое? Что?—шумно всё двинулись къ нему.

Онъ махалъ беспорядочно руками и глаза у него стали бѣлые.

Раскрывъ ротъ, онъ сначала захлебнулся, потомъ проговорилъ, точно выстрѣлилъ:

— На базаръ бунтъ!!

XIII.

Тяжело дыша, спѣшило духовенство къ базару. Что-то разыгрывалось въ самомъ центрѣ его, у широкозадовскаго трактира. Издалека видно было, какъ среди пыли и содома тамъ суетились, бѣгали, жестикулировали, скакали верхами. Тысячи криковъ сливались въ стонущую бурю, возбуждавшую и пугавшую. Ивановскій летѣлъ впереди точно гончая по слѣду. О. Иванъ вышагивалъ рядомъ съ благочиннымъ.

— Не захватить ли крестъ изъ церкви, батюшка?—говорилъ на ходу дьяконъ Сикеровъ.

— Къ чему это?—удивленно взглянулъ на него благочинный.

— А можетъ придется усовѣщать.. Съ крестомъ-то надежнѣе!

Недавно шумные переулки балагановъ были пустыны. Кое-гдѣ только у лавокъ остались мальчишки, забравшіеся на крыши, сообщая другъ другу впечатлѣнія.

Ревъ толпы все ближе наплывалъ на духовныхъ, пугая предчувствіемъ чего-то необычайнаго и ужаснаго. Удушливая, красная пыль тучами вилась въ воздухъ, заслоняя свѣтъ солнца. На западѣ выросла черной горой грозовая туча, обѣщая новый ливень. Она угрюмо тянулась къ солнцу, но едва ли кто ее видѣлъ.

— Что такое? Что такое?—метался по толпѣ Ивановскій.

Вострый носикъ его еще болѣе заострился отъ любопытства, глаза жадно впивались въ лица. Никто ему не отвѣчалъ. Всѣ тревожно напирали къ какому-то общему центру, становились на носки, кричали... Огромный рыжій мужикъ, выше всѣхъ на голову, махалъ руками и оралъ возбужденно:

— Ло-овють! Вонъ! Вонъ... ло-овють! Ш-шо одного!

О. Иванъ, пробиваясь впередъ, дернулъ его за рукавъ рубахи.

— Оалалей! Что случилось?

— Рестантовъ ловють!—обернулся Оалалей въ дикомъ возбужденіи:—васильевскихъ, кои изъ-за земли буторились! Стало-быть, везли ихъ... Ихнинскіе отбили! А теперь ловють...

Онъ вдругъ затрясся весь отъ какого-то утробнаго хохота, похожаго на корчи.

— Ш-шо! Ш-шо!.. Шистова ловють!

— Чему ты, чортъ, радуешься!—злбно обернулись къ нему сосѣди.

— Зачѣмъ бьютъ! Зачѣмъ даютъ бить! — кричали вокругъ возбужденныя лица:—Повалихина крутятъ... Старикъ вѣдь!

— Кровь-то такъ и хлыщеть!

— Не бѣгай, знамо!—сказалъ черный мужикъ въ черномъ армякѣ.

— Кому охота въ тюрьму! Тоже, и не по правдѣ ихъ... Заглоталъ Широкозадовъ! Кого онъ не заглоталъ по округѣ-то!

— Это что говорить, знамо!—внезапно согласился черный мужикъ, нахмурившись:—людоѣдъ онъ!

На крышѣ трактира стояли мальчишки, бабы, спир-

таки, суетливо жестикулируя, крича. Какой-то спиртякъ басомъ кричалъ отъ трубы на крышѣ:

— Что ты его за бороду-то рвешь, чо-орть!! Старецъ вѣдь!

И, должно-быть, въ отвѣтъ ему кто кричалъ гнѣвно и звонко:

— Мо-о-три!!

Въ центрѣ толпы, казалось, kloкоталъ водоворотъ и въ немъ трагически погибали чьи-то жизни: оттуда плыли стоны, плачъ, глухіе удары, хриплые и ожесточенные крики, находившіе свой тысячеголосый откликъ въ толпѣ.

Солнце жгло.

По небу бѣжали обрывки облаковъ, опередившіе медленно растущую тучу. Красная пыль крутилась отъ вѣтра. Жуткія и острыя ощущенія носились въ воздухѣ.

Сикеровъ тщетно взывалъ:

— Дайте же батюшкѣ дорогу!

Никто его не слушалъ.

Дьяконъ упорно разбрасывалъ эту потную, жаркую толпу, гудящую какъ улей, а позади него благочинный, задыхаясь, полный неясныхъ страховъ и предчувствій, бормоталъ:

— Братіе! Братіе! Пропустите же... братіе!

И когда онъ менѣе всего ожидалъ, волнующаяся толпа съ шелестомъ разомкнулась и точно сильной волной выбросила благочиннаго къ центру водоворота. Онъ закружился и упалъ бы, но его подхватилъ подъ руку о. Иванъ, раньше другихъ угодившій къ мѣсту происшествія.

— Гдѣ Митя? Гдѣ Митя? Митя тутъ?—растерянно спрашивалъ благочинный, блуждая глазами по лицамъ. И губы у него тряслись, а руки точно не находили мѣ-

ста. Спокойная солидность его исчезла. Точно кто непонятный и чуждый стоялъ рядомъ съ о. Иваномъ, кто-то долго, хитро скрывавшійся и теперь вышедшій неожиданно на свѣтъ. Маленькимъ, жалкимъ, страннымъ казался онъ теперь, старымъ, безпомощнымъ, полнымъ ужаса въ каждой чертѣ лица, какъ ребенокъ, увидавшій то, что онъ принималъ за привидѣніе.

— Да что съ вами?—отодвинулся даже о. Иванъ:— на васъ лица нѣтъ!

Благочинный уже не слушалъ его, жадно смотря на происходившее передъ его глазами—ужасное, какъ бредъ тяжело-больного.

Стражники держали шесть связанныхъ мужиковъ.

Все это были пожилые люди, избитые въ кровь, съ сумрачными лицами, молчаливо принимавшіе побои. Седьмому, молодому, крутили руки съ тѣмъ приѣмомъ, какъ затягиваютъ супонь на тугомъ хомутѣ. И онъ отчаянно и жалобно кричалъ:

— Братцы мои... бра-а-тцы!!

— Молчи, Павелъ! — говорилъ ему связанный старикъ Повалихинъ:—за міръ терпишь!

Суровый раскольникъ, это былъ крупный мужикъ съ клинообразной сѣдой бородой до пояса. Одна сторона лица его была разбита, и борода запачкана кровью.

Весь въ пыли, растрепанный урядникъ, безъ шапки скакалъ черезъ толпу верхомъ, крича:

— Прочь! Прочь съ дороги! прочь!

Шкаликъ чуть не попалъ ему подъ лошадь.

Толпа съ гуломъ и ропотомъ шарахнулась, уступая дорогу, со всѣхъ сторонъ кричали:

— Пошто бьютъ! Псы дались, што ли?! Эй, вы! Широкозадовскіе слуги!

Кашляя отъ пыли, урядникъ не слушалъ криковъ и спрашивалъ:

— Всѣхъ словили?

— Всѣхъ, ваше благородіе!—отвѣчали стражники.

— Разъ, два...—считаль урядникъ:—Сидоровъ, Повалихинъ... три—Власовъ... А Назаровъ гдѣ?!

Стражники растерянно оглядывались и молчали.

— Что же вы, че-ерти!!—заораль урядникъ съ отчаяннымъ жестомъ:—бунтаря-то главнаго!! Ме-ерза-вцы!!

— Толпа, ваіше благородіе! — сказалъ одинъ изъ стражниковъ:—какъ усмотришь всѣхъ-то!

— Подлецы!! Да изъ-за Назарова вся булга поднялась!

И урядникъ яростно закричалъ на Шкалика:

— Не вертись подъ лошадью, чертенокъ!

— Ништо! — сказалъ старикъ Повалихинъ:—пуцай смотреть, это ему наука! Намъ—умирать, а имъ-то жить...

— Молчать, с-сукинъ сынъ!!

Урядникъ круто повернулъ лошадь и поскакалъ, крича:

— Назарова нѣтъ! Ищите Назарова! Осмотрите Манюкинскій дворъ. Манюкинъ ему свать! А вы... Эй, тамъ.. скачите на зады, къ лугамъ... У меня чтобы найти Назарова!!

Стражники крѣпко держали арестантовъ и подозрительно косились на толпу. Всюду, вблизи, вдали виднѣлись возбужденныя лица васильевцевъ. Теперь одинъ за другимъ выдѣлялись они изъ толпы и грудились позади плѣнниковъ, говорили колкія и ѣдкия замѣчанія, возбуждавшія то смѣхъ, то ропоть. Молодые голоса кричали насмѣшливо и вызывающе, что сыновья предають отцовъ своихъ, потому что народился антихристъ и слугъ его можно узнать... по значкамъ! Стражники переглядывались, но не рѣшались отвѣчать, замѣчая, что возбужденіе толпы растеть, словно что-то рассѣянное объединялось, какъ ключи

соединяются въ рѣку, бурливую и не знающую преградъ. На крышѣ у трубы спиртякъ кричалъ насмѣшливымъ басомъ:

— Смотри, смотри, народъ православный! Учись, какъ за правоту свою вступаться!

— Помолчалъ бы ты, Никифорычъ,—замѣтила ему толстая баба въ фартукъ:—накличешь на свою голову...

— Не боюсь я ихъ... сволочей!!

Стражники зло смотрѣли на него, но молчали...

Вдругъ они съ ужасомъ замѣтили, что васьильевцы вразъ всколыхнулись. Вразъ хриплый крикъ вырвался изъ десятковъ грудей:

— Вотъ онъ!! Вотъ... смотри! Вотъ онъ!!

Всѣ головы завращались:

— Кто? Гдѣ! Кто такой?!

И сразу поняли.

Теперь ужъ сотни голосовъ закричали:

— Вотъ... смотри! Вотъ онъ... пришелъ! Пусть посмотритъ! Пусть полюбуется! Кровопійца! Вотъ онъ!

Возвышаясь позади духовенства, стоялъ Широкозаводъ, озирая толпу мутнымъ взглядомъ, этотъ буржуа съ пухлыми руками, но еще мужицкой неуклюжестью, помѣщикъ и рабовладѣлецъ, представитель новаго класса...

Двѣ силы стояли одна передъ другой въ разгарѣ борьбы на жизнь и смерть.

Одна—какъ море, другая—какъ скала.

Море, бесплодно бьющееся въ глухіе и пустынные проклятые Богомъ берега. Скала, вырастающая изъ мрачной бездны, породившей много скалъ, покрытыхъ аловоннымъ пометомъ исторіи, но все еще крѣпкихъ, какъ всѣ тѣ скалы, которыя охраняютъ путь къ „свободному творчеству жизни“,—скалы, созданныя человекомъ-рабомъ, но въ упорной, глухой борьбѣ съ кото-

рыми оттачивается мысль, облагораживается чувство и изъ мрака исторiи вырастаетъ свободный человѣкъ...

Сотни кулаковъ поднялись въ воздухъ, угрожая.

Точно большой и страшный звѣрь ошетинился.

И все гнѣвно-смѣшливое, что еще дрожало въ воздухъ, вмигъ растаяло. Всѣхъ, близкихъ и далекихъ, понимавшихъ и недоумѣвающихъ, охватило одно чувство, заставлявшее задыхаться и кричать хриплымъ крикомъ... И весь смыслъ происходившаго, и положенiе этихъ связанныхъ, окровавленныхъ людей, все, все уяснилось сразу для тысячи головъ, повернувшихся въ ту сторону, куда изливался гнѣвъ васильевцевъ. Широкозадова всѣ знали, онъ былъ всѣмъ хорошо, даже очень хорошо знакомъ. Каждый бывалъ отъ него въ той или иной зависимости, каждый имѣлъ гнѣвъ на него за собственное угнетенiе, за своихъ родныхъ или знакомыхъ, каждый питалъ хоть каплю затаенной злобы... Теперь эти капли слились въ бурю ненависти! Руки съ угрозой тянулись, возбужденныя лица были страшны! Даже изъ оконъ и съ крыши его собственного трактира кричали:

— Иуда!

О. Иванъ взялъ Широкозадова за плечо.

— Уходите отъ грѣха!

Но пораженный внезапностью этой неожиданной бури, увидавшій эту общую ненависть, до сихъ поръ скрывавшуюся, Широкозадовъ, изсиня блѣдный, оттолкнулъ о. Ивана. Выхвативъ револьверъ, онъ началъ беспорядочно махать имъ въ воздухъ. Онъ едва умѣлъ держать его въ рукъ, никогда не стрѣлялъ изъ него, но тѣмъ не менѣе дрожащимъ пальцемъ инстинктивно отыскивалъ собачку... И странно было видѣть до ужаса испуганной эту массивную фигуру человѣка всегда вѣрнаго себѣ: ненависть, которую онъ зналъ

лишь по наслышкѣ, онъ теперь увидѣлъ лицомъ къ лицу.

— Бунтовщики... не смѣть!—кричалъ онъ, не понимая, что выдавалъ голосомъ весь ужасъ свой.

Мигъ...

Точно плотина прорвалась.

Вокругъ него сузилось угрожающее, волнующееся, проклинающее кольцо. Смятые стражники тщетно отбивались ногами и кулаками, невольно выпустивъ арестантовъ. Тѣ сами кричали вмѣстѣ съ прочими. Избитый раскольникъ Повалихинъ энергично дернулъ плечами и, порвавъ путы, поднялъ руки съ обрывками веревокъ:

— Будь ты проклять... отнынѣ и до вѣка!—покрылъ онъ голосъ толпы:—смотри, что ты съ нами сдѣлалъ... смотри!!

Съдой, окровавленный, онъ напоминалъ пророка, побитаго камнями.

— Взыщеть Богъ съ тебя за насъ и за дѣтей нашихъ! Не будетъ тебѣ прощенья, Иуда, ни въ здѣшней жизни, ни въ будущей... На тебѣ печать антихриста! Смотри, что ты съ нами сдѣлалъ, смотри! Въ смертный часъ твой мы, какъ гнѣвные судьи, будемъ стоять надъ душою твоею, какъ теперь, въ кровь избитые!

И въ гнѣвномъ экстазѣ онъ пророчествовалъ:

— Ты насъ побѣдилъ своей неправдою! Наши дѣти побѣдятъ тебя правдой!! Твои собственныя дѣти отвернутся отъ тебя! И будешь ты, какъ Каинъ... проклятый!!

Толпа стонала, ахала, надвигалась все ближе.

Широкозадовъ безтолково махалъ револьверомъ.

— Уйди!! Всѣхъ... всѣхъ... перебью!!!

Онъ ревѣлъ, какъ раненый быкъ, разъяренный и въ то же время до ужаса испуганный. Онъ безумно грозилъ бурѣ, дышавшей на него изъ сотенъ устъ и налитыми

кровью глазами точно выискивалъ жертву. Но на него глядѣли сотни. Все вертѣлось и кружилось передъ нимъ, прыгало и скакало, скаля острые зубы... Точно само небо, съ быстро растущей тучей, потемнѣвшія деревья, избы, люди, все тянуло къ нему тысячи рукъ съ угрозой смерти. О. Иванъ, благочинный, Ивановскій старались увести его, уговаривали его уйти и скрыться въ трактиръ; но онъ отбивался отъ нихъ, не понимая ихъ намѣреній, не слыхалъ, какъ весь красный отъ пыли урядникъ издала кричалъ ему:

— Уходи! Широкозадовъ... уходи!!

Сквозь кровавый туманъ онъ видѣлъ сотни лицъ, пылавшихъ ненавистью.

На ревъ онъ отвѣчалъ ревомъ.

— Пус-с-с-ти-и-и!!!

Хотя его никто не держалъ.

Онъ водилъ передъ собою револьверомъ, дрожащимъ въ трясущейся рукѣ, не замѣчая, что нажимаетъ собачку.

Внезапно сверкнула молнія выстрѣла.

Все ахнуло кругомъ, смолкло, шарахнулось, отступило. Передніе оттѣсняли заднихъ, а тѣ становились на носки и вытягивали шеи. И всѣ смотрѣли съ ужасомъ въ одно и то же мѣсто, куда впиалась пальная пуля. Урядникъ осадилъ лошадь и замеръ. Широкозадовъ выронилъ револьверъ и, какъ просыпающійся лунатикъ, смотрѣлъ своимъ мутнымъ остановившимся взглядомъ на безцѣльно пролитую имъ кровь: точно отхлынули волны прибоя и на утопанномъ мѣстѣ въ пыли остался Шкаликъ. Маленькое тѣло его вдрагивало, трепетало, раскинувшіяся ручонки хватили воздухъ, точно онъ манилъ кого-то пальцами.

Изъ толпы метнулась къ Шкалику Павлинька.

Наклонилась надъ нимъ, подняла къ Широкозаводу искаженное лицо.

— Убійца! Подло!!

Бѣлая косынка ея скатилась съ плеча. На рѣсницахъ дрожали слезы негодованія. Она вся дрожала и, казалось, подбирала слова и не находила ихъ. Только рука ея, дрожа, тянулась къ Широкозаводу.

И передъ Широкозаводымъ точно вставали тѣни мести.

Онъ жилъ какъ во снѣ.

Сквозь багровый туманъ прихлынувшей къ мозгу крови онъ видѣлъ вокругъ искаженные, полныя злобой ненависти, лица, видѣлъ грозящую женщину надъ жертвой его безцѣльнаго выстрѣла. И, блуждая дикимъ взглядомъ вокругъ, не зная, что сказать, что сдѣлать, внезапно увидѣлъ собственную дочь: въ толпѣ, затертая ею, крѣпко схватившись рукою за голову, она смотрѣла на него расширеннымъ взглядомъ своихъ темныхъ широкозаводскихъ глазъ. И въ этихъ глазахъ, вмѣстѣ съ ужасомъ, Широкозаводъ прочиталъ что-то такое, новое и страшное для него, что сталъ хрипло и тяжело дышать. Онъ не могъ оторвать глазъ отъ этого взгляда, опустивъ голову, какъ быкъ, и повернулся, чтобы уходить, бѣжать невѣдомо куда, — не отъ толпы, не отъ бури, дышавшей на него, а отъ этихъ глазъ.

Навстрѣчу ему рвался сынъ благочиннаго.

Внѣ себя, безъ фуражки, съ всклоченными волосами, онъ вырывался изъ рукъ Алексѣя и отталкивалъ отца, пытавшихся удержать его.

— Пустите! Пустите!!

Онъ кричалъ какимъ-то хрипящимъ шопотомъ:

— А! Негодай! Врагъ народа!! Я положу на тебя позорное клеймо.

Онъ вырвался, наконецъ, и подбѣжалъ къ Широкозадову. Всталъ передъ нимъ, держа сжатые кулаки позади себя, готовясь сказать что-то острое, убивающее на-смерть.

Но тутъ между нимъ и Широкозадовымъ метнулась и встала Александра Порфирьевна.

— Не надо!—властно сказала она.

Она пристально смотрѣла на него своимъ темнымъ взглядомъ.

— Дмитрій! Не надо... ради... нихъ!

И передъ лицомъ этой гнѣвной толпы народа, владѣвшаго душой ея, но грозящаго отцу, точно давая какую-то торжественную клятву, она произнесла безъ смущенія и безъ аффектаціи:

— Ради... моей любви къ вамъ... Ради будущаго!

Онъ вспыхнулъ и отступилъ, удивленно и пристально смотря въ глаза ей.

Павлинька пыталась поднять раненаго мальчика на руки, пачкая ихъ кровью.

— Чего ты смотришь!—говорила она о. Ивану:— нести его надо! Скорѣй! Нести...

Онъ отстранилъ ее и легко поднялъ эту трепетавшую ношу. Что ему стоило, гиганту, поднять эту ношу? Онъ бы могъ поднять ее до облаковъ... но онъ не зналъ о томъ, какъ не зналъ другихъ облаковъ, кромѣ видимыхъ, да еще тѣхъ, о которыхъ говорится въ Апокалипсисѣ. Косматый, какъ левъ, багровый и возбужденный, онъ двинулся—и передъ нимъ разступились. Онъ шелъ какъ по тѣсному переулку. И точно траурныя тѣни бросила на толпу грозовая туча, наконецъ, одолевшая солнце. Какъ глухое негодованіе ворчалъ вдали громъ. Съ шелестомъ все дальше выросталъ впереди о. Ивана переулочъ, а позади него съ шумомъ смыкался, точно рушились тамъ гнилыя постройки. Точно

въ себя не могла придти эта тысячная толпа передъ трагизмомъ случившагося, но уже что-то глухо ворчало въ ней, точно въ груди вулкана предъ изверженіемъ.

Послышались крики:

— Земскій! Земскій! Дорогу земскому!

Урядникъ скакалъ по толпѣ.

— Разступись! Разойдись!!

Отъ завода въ коляскѣ скакалъ земскій подъ эскортомъ заводскихъ служащихъ верхами.

И внезапно вся напряженность минуты вылилась въ бурѣ криковъ:

— Они убиваютъ насъ!!

Гдѣ-то кричалъ пьяный широкозадовецъ:

— Ага! Вотъ они... вотъ... Суда нѣтъ! Все взяли... убиваютъ! Суда нѣтъ... Ага! Они обираютъ, они грабятъ насъ!

Кто-то дико звалъ, точно ударялъ молотомъ:

— Бей ихъ!

О. Иванъ невольно остановился.

Все бѣжало, что могло бѣжать, задыхаясь отъ пыли, какъ вихрь крутившейся у трактира. Земскій скакалъ обратно. Лошадь урядника металась у избъ, между телѣгъ. Духовенство совалось туда и сюда, точно заплутавшись. Все, что не бѣжало, сцѣпилось въ огромный ревущій клубокъ, въ центрѣ котораго что-то кричало жалобно и отчаянно.

— Павлинька! Павлинька!—звалъ о. Иванъ.

Откуда-то она метнулась къ нему...

— Что творится! Боже мой! Боже мой!

Изъ трактира неслись крики о помощи.

Надъ крышей его взметнулся языкъ пламени и задохся въ густомъ дыму, охватившемъ крышу... Изъ оконъ прыгали люди, летѣли столы, скамьи, стулья.

Буфетчица съ плачемъ протискивала сундукъ въ окно, но онъ былъ широкъ и не пролѣзалъ.

Гдѣ-то все ударялся молотъ:

— Бей ихъ! Жги ихъ, проклятыхъ!

Разгорался неистовый и стихійный бунтъ.

Алексѣй стоялъ на крыльцѣ трактира и кричалъ:

— Братцы! Братцы! Что вы дѣлаете! Остановитесь!

Пустите урядника! Вы губите себя! Зря, зря!

Онъ отчаянно взмахивалъ руками, его щетинистая голова стала какъ у ежа отъ волненія.

— Братцы мои! Безсмысленно это! Перестаньте!

Къ нему тянулись сотни рукъ.

— Отдай намъ Широковадова!

Алексѣй жегъ ихъ взглядомъ.

— Не отдамъ!!

— Отдай! Ты за одно съ нимъ... предатель!

— Заткни глотку! Не предатель я. Я васъ отъ васъ самихъ защищаю! Звѣри вы! То гнетесь, какъ рабы, то бушуете, какъ звѣри! Зачѣмъ вамъ Широковадовъ? Ихъ сотни... онъ одинъ, што ли? Въмѣсто него тысячи придутъ... Онъ васъ нищими сдѣлалъ, а вы хотите еще и въ Сибирь идти! Развѣ такъ надо бороться? Разумно надо бороться, сообща... Онъ умомъ васъ бьетъ... Да у него одинъ умъ, а у васъ тысячи умовъ, миллионы умовъ... Рѣка умовъ! Пусть въ этой рѣкѣ онъ потонетъ.. И онъ потонетъ навсегда, а вы будете господами жизни! Не кричите же, разсуждайте, какъ разумные люди.

Голосъ его властно звучалъ надъ притихшей толпой.

XIV.

Въ полутемномъ кабинетѣ благочиннаго, гдѣ ставни были плотно прикрыты, сидѣлъ о. Иванъ надъ раненымъ мальчикомъ, лежавшимъ на обширномъ клеенчатомъ диванѣ. Въ головахъ стояла Павлинька.

Докторъ забинтовывалъ рану.

Въ комнату прокрался о. Матвѣй.

— Ну, какъ? Въ себя пришелъ?—шепталъ онъ.

Ему не отвѣтили. О. Иванъ махнулъ на него рукой.

— Причастить бы надо!—шепталъ о. Матвѣй.

— Его нельзя тревожить!—тихо сказалъ докторъ.

— А какъ же! А вдругъ онъ умретъ безъ покаянія!—ужаснулся о. Матвѣй.

Докторъ сощурился на него и отвернулся.

— О. Иванъ! — сказалъ онъ: — попросите постороннихъ выйти изъ комнаты.

— Уйди, Матвѣй, уйди!

Онъ положилъ ему руку на спину и тихо поталкивалъ къ двери.

О. Матвѣй вышелъ съ обиженнымъ лицомъ.

Вслѣдъ за нимъ вышла Павлинька.

— Какъ тебѣ не стыдно, Матвѣй!!

Она смотрѣла на него негодующими глазами.

— Я исполняю свой долгъ священника... мнѣ стыдиться нечего!.. Ты съ ума сошла!

— Ты безсердечный формалистъ... вотъ кто ты! У людей сердце готово разорваться... а ты снуешь съ мертвыми словами!

— Мертвые слова... Да ты что такъ смотришь на меня... ровно чужая!

— Да я тебѣ и есть чужая... тысячу разъ чужая!

У ней сморщилось лицо точно отъ боли.

— Ненавижу я тебя!!

Онъ жалко и смущенно засмѣялся, потомъ вдругъ вспыхнулъ злобой.

— Ненавидишь!—сказалъ онъ ядовито:— а позволю себѣ спросить тебя, кого же ты изволишь любить?

Онъ намекалъ на псаломщика.

Но онъ не ожидалъ отвѣта.

— Кого?—быстро обернулась Павлинька:—ты хочешь знать, кого? Хочешь? Я скажу тебѣ!

Они стояли на крыльцѣ.

Отъ проливного дождя въ лужахъ вздувались пузыри, шумъ ливня заглушалъ голоса. Дождь стучалъ въ крышу, туманомъ заволакивалъ улицу, брызги его доносились вѣтромъ въ лица супруговъ.

— Я люблю о. Ивана!—отважно сказала Павлинька.

О. Матвѣй смотрѣлъ на нее широкооткрытыми глазами, какъ бы защищаясь рукой отъ словъ ея, но ничего не сказалъ. Онъ внезапно понялъ, что она сказала правду, ту правду, которую говорятъ, быть-можетъ, только разъ въ жизни такъ открыто, но говорятъ такъ, какъ она сказала... Онъ понялъ, что ушло что-то отъ него навсегда, и отчаянной пустоты между ними не прикрыть никакими словами. И къ удивленію Павлиньки, ожидавшей злобнаго взрыва, онъ только пролепеталъ:

— А онъ?

Она почему-то вспыхнула, но не отвела глазъ.

О. Матвѣй опустилъ голову.

Всѣ его злобныя, ядовитыя мысли точно покатались куда-то, въ зіяющую пропасть, мосты черезъ которую обрушились. Онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ и несчастнымъ и въ то же время не находилъ въ себѣ чувства возмущенія. Что-то жалкое расло въ немъ...

Онъ медленно взглянулъ на нее.

Да, да, она чужая! Она ушла отъ него на какую-то волю... и говорить, и смотреть иначе... И ему показался темнымъ тотъ міръ, въ которомъ онъ остался безъ нея.

Онъ тихо опустился на крылечную ступеньку, уронивъ голову на руки, не замѣчая, что дождь мочить подрясникъ. Опустѣвшая ярмарка рисовалась сквозь туманъ дождя странными силуэтами неуклюжихъ бала-

гановъ, поднятыхъ вверхъ оглобелъ, какихъ-то шестовъ, походившихъ на висѣлицы. Когда на мигъ разрывался туманъ ливня, точно распахивались полы гигантскаго савана, вдали виднѣлись клубы бѣлаго пара на мѣстѣ потушеннаго пожара. И какъ этотъ паръ, поднимались мысли изъ бездны души о. Матвѣя. Точно помимо его воли они сцѣплялись и расцѣплялись по привычнымъ ассоціаціямъ... „Развратился народъ современный! А! Священникъ... у священника! Когда бывало такое!“ Но въ этихъ мысляхъ онъ уже не чувствовалъ силы.

Павлинька удивленно смотрѣла на сжавшуюся и мокнувшую фигуру мужа.

— Что жъ ты... подъ дождемъ-то сидишь?

Онъ не отвѣчалъ.

Ей стало жалко его.

— Матвѣй!—сказала она тихо:—отпусти меня.

Онъ долго молчалъ, потомъ сказалъ безъ всякаго выраженія:

— Куда?

— Не знаю... Отпусти! Ты видишь... не могу я! Можетъ-быть я... учиться поѣду.

И удивленная этою мыслью, не зная, откуда она пришла, она страстно повторила:

— Вѣдь я неученая... неученая. Не знаю я ничего! Во тьмѣ брожу...

— А деньги?—глухо сказалъ онъ.

Она уныло произнесла:

— Де-е-нѣги...

Онъ медленно всталъ и пошелъ.

— Матвѣй!—вскричала она.

— Ну, что тебѣ?—вдругъ зло обернулся онъ:—не держу... ступай!.. Не держу я! Ступай... куда хочешь. Уходи! Задумала, такъ... зачѣмъ, зачѣмъ спрашиваешь? Зачѣмъ говоришь въ лицо... такое! Развѣ я...

Онъ пошелъ, но на порогѣ въ сѣни еще разъ обернулся и проговорилъ возбужденно:

— Развѣ я... подлецъ?!

На дворѣ темнѣло отъ черныхъ тучъ и ливня.

О. Иванъ спрашивалъ доктора:

— Ну? Какъ?

— Ничего, ничего!—сказалъ докторъ,—все пойдетъ отлично! Хорошо, хорошо! Ребрышко подгуляло, да это ничего. Адамъ, какъ извѣстно, и безъ ребра отлично прожилъ...

Онъ, смѣясь, шурился на о. Ивана.

— Развѣ только... рай потерялъ? Адамъ-то... А? Такъ это не изъ-за ребра, а изъ-за яблока... Ну, ничего, ничего, теперь и этотъ малышъ вкусилъ яблока жизни... будетъ знать, гдѣ добро, гдѣ зло... Можетъ быть, и назадъ къ раю дорогу сыщеть, когда вырастетъ...

Онъ хитро скалилъ свои мелкіе, бѣлые зубы...

Въ комнату осторожно заглянулъ благочинный.

— Михаилъ Васильевич! Вы еще не свободны? Къ уряднику просять...

— А ну его къ чорту... не хочется!

— Бокъ у него поврежденъ, говорить...

— Ну, ну, сейчасъ.

Докторъ попросилъ о. Ивана посидѣть около больного, обѣщая вскорѣ вернуться.

О. Иванъ остался одинъ.

Въ комнатѣ господствовали сумракъ и тишина. Мальчикъ тихо дышалъ, временами слабо стоналъ и дѣлалъ движеніе руками. Тогда отецъ Иванъ придерживалъ ему руки и сидѣлъ неподвижно.

Въ ставни стучалъ дождь.

Точно прислушиваясь къ вѣтру и ливню, неподвижно стояли кресла, обитыя черной клеенкой. Казалось, на

нихъ недавно сидѣли какіе-то люди, теперь ушедшіе. Съ полокъ шкафа смотрѣли корешки метрикъ, точно храня тайны мертвецовъ, и тисненные переплеты проповѣдей, будто замолчавшихъ въ испугѣ. Въ этой тишинѣ, все еще подъ бурей впечатлѣній, такъ неожиданно, такъ властно захватившихъ его въ свой кипящій водоворотъ, о. Иванъ вспоминалъ всѣ событія послѣднихъ дней, и въ свѣтѣ ихъ разсматривалъ свою жизнь. Что-то, сильнѣе его, поднималось въ душѣ его, что-то едва раскрывшее глаза и уже вразъ гигантски выросшее, еще вчера незнакомое ему, но уже сегодня съ нимъ отождествившееся. Это былъ онъ самъ, но онъ себя не узнавалъ, точно самъ отъ себя до сихъ поръ онъ былъ куда-то спрятанъ, хитро связанный мертвыми узлами. И опять человѣкъ и священникъ боролись въ немъ. Но уже священникъ едва показывалъ сквозь ставни блѣдное лицо свое и голосъ его заглушался шумомъ ливня.

— Иване! — говорилъ онъ: — Иване! Вспомни Іова, состязавшагося съ Богомъ! Въ силахъ ли спорить съ Всевѣдущимъ человѣческая логика. Онъ указалъ путь Левіаѳану, далъ морю берега его! Безумно море, рвущееся изъ береговъ своихъ. Онъ, гремящій въ тучахъ, уложить волны его въ прахъ бурей гнѣва Своего! Ибо Онъ далъ человѣку законы жизни, какъ морю берега его. Горе тебѣ, человѣче подзаконный, если главу свою гордо поднимешь къ небу, споря съ Всевышнимъ!

Но человѣкъ уже нервно и страстно разрывалъ мертвые узлы мысли.

— Споръ съ Всевышнимъ! Развѣ я спорю? Я просто дышу и думаю. Развѣ я и такъ мало боялся дышать полной грудью? Вотъ передъ Нимъ я... Кому я нуженъ? Кому я далъ хоть каплю счастья? Для чего я жилъ?

Я всёмъ чуждый... всёмъ! Всѣ ищутъ чего-то въ жизни, борятся за что-то святое, что для нихъ дороже жизни... За что боролся я?... Или за кого? Я шель по холодному міру, лишенному Бога, самъ холодный, точно сердце у меня вынуто... Кто вынулъ у меня сердце? Пусть съ тѣми спорить Всевышній... а я не спору! Я дохнулъ воздухъ бури, которая вѣетъ вокругъ меня... И ужъ не могу, не хочу дышать другимъ воздухомъ. Все вокругъ меня тянется къ какому-то свѣту, къ солнцу, ищетъ правды жизни... А я не знаю правды жизни... И мнѣ тяжело! И я не могу больше. Пусть не ставятъ мнѣ Всевышній предѣловъ... Я не Левіаѳанъ, но я перешагну ихъ!!

Мальчикъ застоналъ.

Онъ нагнулся къ нему.

Тотъ разгорѣлся и тяжело дышалъ. Что-то безсвязное лепетали его губы. О. Иванъ чутко прислушивался къ его лепету, точно ожидалъ услышать что-то важное, что сразу объединить его мысли, какъ центръ, къ которому эти мысли сбѣгутся и, вспыхнувъ, освѣтятъ путь, по которому онъ долженъ идти. Что ему этотъ мальчикъ? Почему онъ такъ возмутился, такъ взволновался и не можетъ придти въ себя, — точно не этого мальчика ранили, а его самого по больному мѣсту изо всей силы ударили! И ужъ ему казалось, что вотъ этотъ маленькій, несчастный раненый мальчикъ долженъ объяснить ему что-то важное, безъ чего нельзя жить. Еще не раскрывшая лепестки свои душа глядѣла на него съ лихорадочныхъ щекъ, изъ-подъ рѣсницъ полузакрытыхъ глазъ. Кто-то милый смотрѣлъ на него съ этого лица, кто-то близкій, давно знакомый... Но онъ не узнавалъ—кто? И какая-то большая мысль томила о. Ивана, стремясь опредѣлиться въ словахъ... И не могла!

Когда пришелъ докторъ, онъ вышелъ въ залу.

Тутъ были все тѣ же лица, кромѣ земскаго и Широкозадова съ дочерью. Но уже не было прежняго оживленія, разговаривали сдержанно и смущенно, покачивая головами, выпивали молча и то больше для порядка. Точно тяжесть придавила домъ и вотъ-вотъ онъ обрушится! Благочинный то появлялся въ комнату, то уходилъ куда-то и опять возвращался, оглядывая всѣхъ круглыми, недоумѣвающими глазами, отъ взгляда которыхъ становилось жутко даже о. Фаворскому.

— Гдѣ Митя? Гдѣ Митя?—бормоталъ благочинный, ни къ кому не обращаясь.

И опять шелъ, шелъ куда-то...

Только дьяконъ Ивановскій былъ оживленнѣе другихъ. Онъ возбужденно сновалъ по комнатѣ и обращался то къ тому, то къ другому.

— Я это зналъ! Да, да.. я это предчувствовалъ. Имъ Назарова надо было отбить! Вотъ они и отбили! Да, да... Назаровъ коноводъ у нихъ, Назаровъ—главарь. Говорятъ, тутъ у нихъ... преступное общество! Да, да... велія развращенности! Я это зналъ!

Сикеровъ, молчаливо и грустно стоявшій у печи, хмуро взглянулъ на Ивановскаго.

— А куда ты вчера телеграмму посылалъ?

Ивановскій быстро и испуганно взмахнулъ руками.

— Какую телеграмму? Какую телеграмму?

Сикеровъ медленно отвернулся отъ него.

— То-то! Не въ этомъ бы домѣ тебѣ быть!.. Подлецъ ты!

И всѣ посмотрѣли на Ивановскаго исподлобья.

Ивановскій смущенно занырялъ по комнатѣ, подбѣжалъ къ столу и заговорилъ, наливая водки:

— А не мѣшаетъ успокоить сердце, отцы и братіе? Какъ вы полагаете?

Ему никто не отвѣтилъ.

Дождь съ силою заколотилъ въ окна, точно по стекламъ забили чьи-то пальцы, о чемъ-то предупреждая. Тѣни, бросаемыя грозой, сѣрымъ сумракомъ ложились на лица. И никто не замѣчалъ, что рядомъ другія грозы клокотали въ человѣческихъ душахъ. О. Матвѣй, сжавшись въ комокъ, глубоко сидѣлъ въ креслѣ. О. Иванъ задумчиво стоялъ у окна и вглядывался въ трепещущій сумракъ ливня, точно на улицѣ, гонимыя вѣтромъ, безъ конца бѣжали привидѣнія ростомъ до невидимыхъ тучъ.

— Куда же, однако, могъ дѣваться Назаровъ?—прервалъ молчаніе о. Сильвестръ.

— Я знаю куда, я знаю!—метнулся Ивановскій:—кабы меня послушали, давно бы нашли! А теперь ужъ крышка... ушелъ! Теперь онъ давно за Поёмой, въ Колычевкѣ у раскольниковъ! А тамъ взятки гладки... найдутъ ему мѣстечко, куда схорониться! Эти колычевцы всѣ смотрятъ какъ заговорщики!

— Ну-у,—недовѣрчиво сказалъ о. Сильвестръ, не смотря на дьякона:—какъ онъ въ Колычевку-то попадетъ...

— Какъ?—засмѣялся Ивановскій,—а на лодочкѣ... очень просто!

О. Иванъ обернулся и посмотрѣлъ на дьякона.

— Я не даромъ на колокольнѣ былъ!—тараторилъ дьяконъ:—У меня глазъ зоркій, далеко видитъ! Видѣлъ лодочку, видѣлъ... И видѣлъ кто около лодочки былъ... Двухъ узналъ, а третьяго нѣтъ, да это не важно! Тогда мнѣ и невдомекъ, зачѣмъ лодочка... думаль, думаль... А теперь зна-а-ю!

И онъ веселыми глазами смотрѣлъ на о. Ивана.

У того точно молнія вспыхнула въ мозгу. Онъ моментально понялъ, зачѣмъ Алексѣй со студентомъ припасали лодку,—зачѣмъ было въ ней ружье и что они замышляли. Густо вспыхнувъ, онъ отвернулся къ окну.

— И все-то ты, дьяконъ, брешешь!—сказалъ о. Сильвестръ.

— Брешу? У меня свидѣтели есть! Вотъ спросите о. Ивана. О. Иванъ! Вѣдь это вы гуляли по лугу, у рѣчки?

О. Иванъ недружелюбно посмотрѣлъ на дьякона.

— Ну? Я гулялъ... Что же?

— Съ Димитрій Викторычемъ?

О. Иванъ нахмурился.

— Что тебѣ за дѣло, съ кѣмъ я гуляю?

— А лодочку вы вѣдь видѣли? Вы около нея стояли?...—какъ-то торжествующе кивая, тянулъ къ о. Ивану Ивановскій свое острое, точно ключущее лицо.

О. Иванъ растерянно осмотрѣлся. Всѣ глядѣли на него любопытно. Въ дверяхъ столовой стояла Павлинъ-ка и тоже смотрѣла на него безпокойнымъ и выжидающимъ взглядомъ. И во взглядѣ этомъ о. Иванъ прочелъ, что она знаетъ, что онъ видѣлъ лодку.

— Никакой я лодки не видалъ!—закричалъ онъ, страшно обозлившись и чувствуя, какъ кровь горячей волной ударила ему въ голову:—не было никакой лодки! И ступай ты отъ меня... къ чорту, шпионъ!! Шпионъ въ другомъ мѣстѣ!!

Ивановскій подскочилъ и сжался, точно котъ передъ прыжкомъ.

— Что же вы ругаетесь!—уже грубо сказалъ онъ:—Такъ нельзя ругаться... Вы священникъ!

Что-то широкое охватило о. Ивана.

— Не священникъ я!!—дико вскрикнулъ онъ, поднявъ кулаки къ плечамъ, точно желая тутъ же сорвать съ себя подрясникъ:—не свяще-никъ я больше! А ты уходи съ глазъ моихъ, предатель!!

Онъ двинулся къ нему, точно желая тутъ же раздавить его.

Духовенство бросилось и удержало о. Ивана.

Ояъ кричалъ:

— Уберите отъ меня этого каналью! Я раздроблю его!!

Ивановскій испуганно скрылся въ прихожей и оттуда бормоталъ что-то трусливое и угрожающее. Сикеровъ подошелъ и захлопнулъ дверь въ прихожую. Надъ крышей глухо прокатился громъ и еще болѣе стемнѣло. Въ сгустившемся сумракѣ комнаты, въ то время, какъ шумъ ливня охватывалъ домъ, точно глухой прибой, о. Иванъ стоялъ среди волнующихся духовныхъ, почти крича на ихъ удивленные вопросы:

— Ярѣшилъ! Твердо рѣшилъ! Безповоротно! Ухожу! Довольно!!

— Что съ вами?!—волновались рясы и подрясники и колебались въ воздухѣ широкіе рукава.—Откуда это? Почему?

— Потому-что я пересталъ бояться думать! Прозабаль, какъ червь! Ползъ во мракѣ! Жилъ, какъ приказано, а не такъ, какъ должно жить... Довольно! Я и вамъ говорю: довольно! Развѣ вы не видите, что такъ жить нельзя больше... нельзя! Позорно! Жизнь уходитъ отъ насъ въ сіяющую даль... а мы стоимъ на мѣстѣ окаменѣлые, черною стѣною... сами не идемъ и мѣшаемъ идти другимъ! Накинули на жизнь цѣлую сѣть текстовъ, подложныхъ текстовъ, потому-что оправдываемъ произволь тѣхъ, кто уродуетъ жизнь,—проповѣдуемъ терпѣніе тѣмъ, кто и безъ того достаточно терпѣлъ. Довольно! Всѣ вокругъ насъ ищутъ рая правды, рая справедливости, страстно борются за свой идеаль... А мы?! Довольно!!

— Да онъ съ ума сошелъ!—тихо сказалъ о. Сильвестръ.

О. Иванъ быстро обернулъ къ нему возбужденное лицо.

— Мы всѣ безумцы! Живемъ безсознательно,—мыслимъ навязанными мыслями... мыслями рабовъ!! Мы съ дѣтства обмануты и сами превратились въ обманщиковъ... Мы ранены, какъ тотъ мальчикъ...

Онъ вытянулъ руку по направленію къ кабинету.

— Съ дѣтства ранены... только незамѣтно! Въ умѣ и въ сердцѣ ранены! И эта рана превратилась въ постоянную язву, угнетающую духъ! Нѣтъ, нѣтъ! Вся жизнь должна измѣниться! Пусть живетъ, кто хочетъ, съ закрытыми глазами... Я не могу! Довольно!!

Онъ хватался руками за грудь, точно задышался или пытался сорвать съ себя подрясникъ.

— Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, служить свободному Богу!

У крыльца пропѣлъ колокольчикъ.

Какіе-то гремящіе и стучащіе звуки наполнили корридоръ.

Въ распахнувшуюся дверь прихожей поспѣшною поступью вошелъ благочинный, изсиня-блѣдный, съ раскрытымъ ртомъ, изъ котораго вылетало свистящее дыханье. Онъ трясъ руками передъ грудью, желая что-то сказать.

— Жа... Жа... Жан...

Но не могъ выговорить слова.

Повернулся и, шатаясь, вышелъ.

Всѣ ахнули, двинулись за нимъ.

О. Иванъ прошелъ въ кабинетъ. Тамъ никого не было. Онъ наклонился къ мальчику. Тотъ смотрѣлъ расширенными, лихорадочными глазами.

— Мальчикъ! Тебѣ больно?

У того скривились губы.

— Больно!

И внезапно большая мысль, томившая о. Ивана, раскрылась.

— Больно! Всѣмъ... всѣмъ больно!! Больно... и тѣсно! Мучительно тѣсно! Больно сердцу! Тѣсно уму! Угнетенъ человѣкъ.

Точно безконечныя, залитыя утреннимъ солнцемъ равнины увидалъ онъ съ вершины горъ съ золотыми гребнями. Тамъ, внизу, мучаются, не зная, отъ чего, не уясняя смысла мученій; корчась, ползають въ грязи долинъ; рвутъ на части другъ друга, не понимая смысла этой бойни, и среди роскоши цвѣтущей земли, среди богатствъ природы, бредутъ, какъ рабы, истерзанные плетью, въ лохмотьяхъ нищеты, въ цѣпяхъ позора! А онъ вошелъ на гору и видитъ, и понимаетъ неправду этого просвѣтленнымъ взоромъ и долженъ крикнуть что-то, властное и сильное, такое, что гуломъ набата отозвалось бы въ сердцахъ! Что?.. Онъ еще не знаетъ, не знаетъ что... но онъ узнаетъ!!

Въ комнату метнулась Павлинька.

— Такъ это правда?! Скажи! Скажи! Повтори!

Она вся горѣла и трепетала отъ страшнаго внутренняго возбужденія. Точно черная дверь, въ которую она съ плачемъ долго стучалась, распахнулась передъ нею и она увидала міръ, ослѣпившій ее.

Онъ протянулъ ей руки.

— Правда!

И ужъ не зноемъ страсти вѣяло на него отъ нея, а яркимъ днемъ, полнымъ красокъ и жизни.

Больной мальчикъ удивленнымъ, блестящимъ лихорадкою взглядомъ смотрѣлъ на эти двѣ крѣпко слившіяся фигуры.

А за окномъ все разгоралась гроза.

Вѣтеръ съ шумомъ отпахнулъ ставню и, какъ зовущіе, крѣпкіе пальцы застучали въ стекла дождевыя капли, нарождаясь гдѣ-то въ грозовой мглѣ, гдѣ глухо и властно рокоталъ громъ и вспыхивали молніи, точно освѣщая невѣдомые пути въ безграничныя, влекущія дали...

Октябрь 1904 г.

А. ЛУКЪЯНОВЪ.
КУЗНЕЦЪ.
(Изъ Вергарна).

Вблизи дороги, съ пашней рядомъ,
Кузнецъ огромный, съ бодрымъ взглядомъ
Весь день проводить, закопѣлый
Отъ дыма ѣдкаго вокругъ...
Онъ молотъ взялъ рукою смѣлой,
И у огня, забывъ досугъ,
Бьетъ, закаляетъ лезвія,
Терпѣнье гордое тая!

И жители изъ деревень,
Чья злоба гаснетъ отъ испуга,
Всѣ знаютъ, почему весь день
Кузнецъ не вѣдаетъ досуга,
И никогда
Въ часы труда,
Хоть чуждъ ему ихъ жалкій страхъ,
Нѣтъ злобы въ стиснутыхъ зубахъ!

И только тѣ, чья рѣчь всегда
Лишь лай въ кустарникѣ безсильный,
При видѣ долгаго труда,—
Свой взоръ то гнѣвный, то умильный
Свести не могутъ съ кузнеца:
Дрожать ихъ слабыя сердца!

Въ свой горнъ блестящій бросилъ онъ—
И тяжкій стонъ,
И крики злобы вѣковой!
Въ свой горнъ, какъ солнце золотой,

Онъ, вѣря въ силы, побросалъ:
И возмущенье, и страданье,
Чтобъ закалить ихъ, какъ кинжалъ,
И дать имъ молніи сіянье!

Его чело
Спокойно, гордо и свѣтло...
Онъ наклонился надъ огнемъ,—
И вдругъ все вспыхнуло кругомъ!
Высокъ и молодъ,
Съ угрозой будущему,—онъ
Настойчиво вращаетъ молотъ;
Онъ свѣтлой мыслью озаренъ,
Что побѣдитъ упорный трудъ,
И мускулы его растутъ!

Кузнецъ давно, давно узналъ,
Къ чему ведетъ споръ бесполезный,
И, гордый волею желѣзной,
Онъ терпѣливо замолчалъ.
Онъ тотъ упрямецъ, что безъ словъ
Падеть иль побѣдитъ въ сраженьи,
Но гордость не отдастъ въ мученьи
Изъ крѣпко стиснутыхъ зубовъ!
Онъ знаетъ цѣну твердой мочи,
Что волей камень разобьетъ,
И съ нею въ сумракъ тихой ночи
Дробить преграды онъ пойдетъ!

Когда со всѣхъ сторонъ
Онъ слышитъ только стонъ,
Не видя стойкости своей,
Онъ вѣритъ, силою страстей
Сердца толпы, страданья крики
Откроютъ въ жизни путь великій!

Не можетъ міръ не оживиться,
Живымъ огнемъ не озариться,
И золота руно, вращающее міромъ,
Не повернуться къ нимъ—измученнымъ и спрымъ.

И этой вѣрой озаренный,
Встрѣчая проблескъ отдаленный,
Кузнецъ огромный, съ бодрымъ взглядомъ,
Вблизи дороги, съ пашней рядомъ,
Объятый пламенемъ и жаромъ,
Стоить,—и твердымъ бьетъ ударомъ
Живую сталь сердецъ людскихъ,
Въ терпѣнны закаляя ихъ!

М. ГОРЬКІЙ.

Т Ю Р Ь М А.

I.

... День былъ сырой, холодный, надъ городомъ неподвижно стояли угрюмыя, сѣрыя тучи; на грязную землю беззвучно и лѣниво падалъ мелкій дождь, окутывая улицы тусклой дрожащей тканью...

Окруженная плотной цѣпью полицейскихъ, по мокрому тротуару, прижимаясь къ сырмъ, холоднымъ стѣнамъ домовъ, медленно шла густая толпа мужчинъ и женщинъ, а надъ нею, нерѣшительно и безсильно, колебался глухой, неясный шумъ.

Сѣрыя, сумрачныя лица, крѣпко сжатые челюсти, угрюмо опущенные глаза, кое-кто растерянно улыбается и развязно шутить, стараясь скрыть обидное, тяжелое сознаніе безсилія. Порою раздается сдавленный крикъ возмущенія, но онъ звучитъ тускло и неувѣренно, какъ-будто человѣкъ не рѣшилъ: пора возмущаться или уже поздно.

Усталыя лица полицейскихъ озабочены, озлоблены, а инныя только равнодушны, точно вырѣзанныя изъ дерева. Мелкія капли дождя тускло блестятъ на ихъ шапкахъ и усахъ. А надъ крышами домовъ тяжело виситъ это безнадежное, сѣрое небо, пропитанное холодной влагой, и на толпу людей,—побѣжденных безъ боя, вмѣстѣ съ дождемъ, лѣниво падаютъ крупныя липкія хлопья снѣга—опускается угрюмая печаль.

— Загоняй во дворъ!—крикнулъ кто-то осипшимъ голосомъ.

Отсырѣвшихъ, подавленныхъ людей городовые стали грубо толкать въ ворота дровяного двора. Началась давка, люди, какъ овцы, тѣсно прижимаясь другъ къ другу, темнымъ потокомъ вливались во дворъ. Ихъ негодующіе крики зазвучали громче, нервнѣе, слышались рѣзкіе возгласы озлобленія и высокіе голоса женщинъ зазвенѣли слезами...

Веселый, добродушный здоровякъ, студентъ перваго курса Миша Малининъ шелъ въ серединѣ толпы и наивными голубыми глазами жалостно осматривалъ блѣдныя, злыя, растерянные лица вокругъ себя. Крики женщинъ, нервный смѣхъ, глухой ропотъ волновали его; задыхаясь въ тѣснотѣ, полный тяжелымъ чувствомъ стыда, готовый плакать отъ негодованія, расталкивая окружающихъ, онъ старался скорѣе пройти во дворъ, чтобы спрятаться тамъ, отдѣлить себя отъ всѣхъ, остаться одному.

... Чьи-то маленькія цѣпкія руки крѣпко схватили его за рукавъ пальто—онъ увидѣлъ предъ собой блѣдное лицо съ огромными влажными глазами. Это лицо, мокрое отъ слезъ или дождя, поднялось къ его лицу и ярко-красныя, судорожно перекошенные губы, вздрагивая, горячо зашептали:

— Я—не пойду!.. я не могу, не хочу! Онъ толкнулъ меня... онъ не смѣетъ... скажите ему...

Дѣвушка задыхалась, трясла головой, и черныя кудри мятежно осыпали ея мокрыя щеки и бѣлый высокий лобъ.

— Не смѣетъ!—вдругъ закричала она, покрывая своимъ голосомъ весь шумъ, взмахнула рукой, выпрямилась, какъ стальная пружина, и глаза ея вспыхнули.

Тогда и въ груди Миши тоже вспыхнулъ огонь, жгучими струйками разлился по жиламъ, выжегъ стыдъ, на минуту ослѣпилъ глаза и наполнилъ грудь

буйной юношеской отвагой. Миша рванулся впередъ,— черная масса людей разступилась подъ его напоромъ какъ грязь отъ камня, упавшаго въ нее... Онъ увидалъ предъ собой высокаго человѣка, въ сѣрой шинели и звенящимъ голосомъ закричалъ на него:

— Вы не смѣете бить!

— Да—э! Кто жъ бьетъ?—раздраженно отмахнувшись рукой возразилъ сѣрый человѣкъ. Его утомленное лицо съ рыжими усами исказилось пренебрежительной гримасой и, положивъ руку на плечо Миши, онъ сказалъ:

— Ну, прошу васъ... идите же!

Миша видѣлъ его гримасу и почувствовалъ въ сердцѣ острый уколъ обиды.

— Я—не пойду!—свирѣпо закричалъ онъ.—Мы не пойдемъ... мы не стадо! Довольно насилій!

Всѣ красивыя, сильныя слова, какія онъ слышалъ о свободѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, хлынули изъ его груди горячимъ ручьемъ, и засверкали надъ людьми, зажигая у однихъ гнѣвъ, у другихъ—злобу. Опьяненный звуками своего голоса, оглушенный пестрымъ вихремъ криковъ, онъ закружился въ толпѣ, точно искра въ черной тучѣ дыма, и не замѣтилъ, какъ его схватили, вырвали изъ толпы—онъ очнулся только на извозчикѣ, по дорогѣ въ полицейскую часть.

Широко открывъ глаза, онъ жадно глоталъ воздухъ и вздрагивалъ, полный здороваго радостнаго возбужденія, еще не отдавая себѣ отчета въ томъ, что произошло. Рядомъ съ нимъ, обнимая его за талію, сидѣлъ околоточный надзиратель, молодой человѣкъ, съ черными усами и со шрамомъ на правой щекѣ. Лицо у него было угрюмое; крѣпко сжавъ губы, онъ прищуренными глазами смотрѣлъ впередъ и все дотрагивался до щеки лѣвой рукой.

— Вы меня... куда?—добродушно спросилъ Миша.

— Ввв—часть...—сквозь зубы отвѣтилъ околоточный, и лицо у него болѣзненно вздрогнуло.

— Васъ -- ударили? — сочувственно освѣдомился Миша.

— З-зубъ болить... чортъ!—промычалъ околоточный, ткнулъ извозчика кулакомъ въ спину и злымъ, истерическимъ голосомъ занылъ:

— Да поѣжай ты скорѣе... будь проклятъ!

Извозчикъ — сѣдой маленькій старикъ — повернулъ къ нему лицо, изрытое морщинами, и ласково моргая красными слезящимися глазами, утѣшительно сказалъ:

— По-спѣемъ. ваша благородія... въ тюрьму не въ церкву, никогда не опоздаешь...

— Поговори у меня!—прошипѣлъ околоточный.

Извозчикъ пугливо задергалъ возжами и забормоталъ на лошадей:

— Эхъ ты... н-ну... что такое?

По улицѣ, въ густомъ, липкомъ туманѣ суетливо мелькали темныя фигуры прохожихъ — казалось, что они сбились съ дороги въ этой сѣрой, влажной мглѣ и беззвучно тоскливо мечутся, не зная куда идти. Съ глухимъ шумомъ и воемъ проносились вагоны трамвая, подъ колесами у нихъ вспыхивали злыя, синія искры, а внутри вагоновъ молча сидѣли какіе-то неподвижные черные люди. Непрерывно звучалъ усталый лягъ лошадиныхъ подковъ по камнямъ мостовой, появлялись желтые огни фонарей, растерянно вздрагивали и, ничего не освѣщая,—исчезали, проглоченные неподвижнымъ моремъ холоднаго тумана. Резиновые шины пролетки торопливо подпрыгивали по неровной мостовой, и въ груди Миши тоже что-то начало дрожать мелкой, непріятной дрожью, но вмѣстѣ съ этой дрожью

угасавшаго возбужденія въ немъ тихо разгоралось свѣтлое и гордое сознаніе исполненнаго долга.

У воротъ полицейской части кто-то низенькій, толстый и сѣрый, какъ туманъ, сказалъ сиплымъ, равнодушнымъ голосомъ:

— Эге! Ще одного привезли? А мѣстовъ—уже нема!... Ихъ благородіе казали—нехай возють прямо у тюрьму...

— Чтобы черти побрали...—застоналъ околоточный и вдругъ, повернувъ къ Мишѣ страдальчески-сморщенное лицо, укоризненно заговорилъ:

— Вотъ, г. студентъ... да-съ! говорите тоже—мы за пародъ!.. а... а больной человѣкъ долженъ возить васъ... не смотря ни на что!

И, рѣзко отвернувшись, онъ крикнулъ извозчику:

— Ты! Ну... въ губернскую!..

Мишѣ хотѣлось разсмѣяться, но не желая обижать больного человѣка, онъ сдержался, помолчалъ и потомъ ласково замѣтилъ:

— Вы бы—креозотомъ...

Околоточный не отозвался. И уже только у стѣны тюрьмы, слѣзая съ пролетки, онъ уныло проговорилъ:

— Пробовалъ и креозотомъ... не помогаетъ!.. Пожалуйте!

II.

Въ тюрьмѣ тоже не оказалось свободныхъ мѣстъ, и Мишу посадили въ небольшую камеру для уголовныхъ. Сѣдой, высокій надзиратель, съ длиннымъ лицомъ, острой бородкой и безцвѣтными, неподвижными глазами съ громомъ заперъ толстую грязную дверь и, наклонясь къ прорѣзанному въ ней круглому окошечку, сказалъ, точно въ рупоръ, глухимъ ровнымъ голосомъ:

— Ежели что занадобится—позовите, я тутъ...

И исчезъ безшумно, какъ мышь.

Юноша проводилъ его любопытнымъ взглядомъ и, немного рисуясь предъ собой своимъ спокойствіемъ, принялся осматривать камеру. Это была узкая, длинная комната; у двери съ лѣвой стороны тяжелымъ треугольникомъ выступала печь, къ ней плотно примыкали покатыя, грязныя нары на четверыхъ; онѣ тянулись по всей длинѣ комнаты до большого окна, задѣланнаго толстой желѣзной рѣшеткой, покрытой рыжимъ слоемъ ржавчины. Между нарами и правой стѣной оставалось свободное пространство, шириною аршина въ полтора, и кромѣ наръ въ этой грязной, угрюмой комнатѣ — ничего не было. Изсѣченный трещинами каменный сводъ изгибался тяжелой аркой, опускаясь у лѣвой стѣны почти до уровня наръ, и этотъ сводъ придавалъ камерѣ странную форму полушарія, правильно разгороженнаго пополамъ. Въ самой высокой точкѣ свода у правой стѣны горѣла, покрытая пылью, электрическая лампочка, освѣщая стѣны, покрытыя грязью, пятнами отъ раздавленныхъ клоповъ и какими-то надписями.

Надъ нарами около печи были начертаны, должно быть, гвоздемъ, огромные столбцы цифръ—кто-то слагалъ, дѣлилъ и множилъ ихъ, заполняя этимъ пустоту дней, проведенныхъ здѣсь, и борясь съ тоской одиночества... Ближе къ окну, на темномъ пятнѣ высохшей плѣсени, крупными буквами было начертано:

„Мы изъ Вязьмы два громины

„Выѣсть по міру ходили,

„Съ за угла копѣйку срубимъ,

„На нее краюшку купимъ

„И—хряпаемъ“.

Миша улыбулся, думая, что значить—„хряпаемъ“?
— Должно быть — жадно ѣдимъ! — рѣшилъ онъ

всматриваясь въ нестройные ряды буквъ, весело разсыпанныхъ по стѣнѣ. И „два громилы“ представились ему отчаянными весельчаками — оборванные, всегда полуголодные, они никогда не унываютъ, ничего не боятся, вѣчно бродятъ изъ одного города въ другой, гдѣ придется, „срубаютъ копейку“ и такъ живутъ, подобно хищнымъ птицамъ среди людей... Миша прочиталъ стихи еще разъ и, чувствуя острый интересъ къ этимъ грязнымъ стѣнамъ, засмѣялся...

За дверью камеры раздались шаркающіе шаги, и глухой голосъ сердито спросилъ:

— Вы что?

Миша вздрогнулъ, обернулся, — изъ отверстія, прорѣзаннаго въ двери, на него смотрѣлъ холодный, неподвижный глазъ...

— Вы—звали?

— Нѣтъ...

— А что же?—настойчиво спрашивалъ глазъ.

— Ничего... Я—смѣялся,—сказалъ Миша.

Глазъ быстро подпрыгнулъ куда-то кверху, потомъ изъ корридора долетѣлъ тусклый и какъ будто обиженный голосъ:

— Здѣсь не смѣются...

— Запрещено? — добродушно улыбаясь, спросилъ Миша.

Ему не отвѣтили. Со двора тюрьмы доносился шумъ голосовъ, гдѣ-то далеко въ корридорѣ плескалась вода, въ сосѣдней камерѣ лѣниво звякало желѣзо кандаловъ, и всѣ эти звуки, сливаясь въ мутный гулъ, не возбуждали желанія вслушиваться въ него. Предъ Мишей мелькнуло худое, длинное лицо надзирателя, его круглые, безцвѣтные глаза, сѣдые мохнатые брови, высоко поднятыя надъ ними, широкій лобъ, обтянутый желтой, морщинистой кожей...

— Федька, тварь зеленая! — завизжалъ кто-то въ корридоръ, потомъ раздался хохоть, мимо камеры, тяжело топая ногами, кто-то пробѣжалъ...

— Тише вы, козлы! — прозвучалъ суровый окрикъ. Миша вздохнулъ и сталъ читать надписи. На потолокъ, тамъ, гдѣ, лежа на нарахъ, легко было достать до него рукой, кто-то очень тщательно, печатными буквами написалъ:

„Сдѣсь сидѣлъ Якофъ Игнатьевъ Усофъ. По убійству жены и Сашки Грызлова за подлость ихъ. Винваръ это было. 1900. Выпустилъ имъ кишки“.

Миша снова вздрогнулъ. Его поразило содержаніе надписи и еще больше—ея тщательность, въ которой чувствовалось, что Усовъ твердо вѣритъ въ свое право убивать людей.

Онъ хотѣлъ представить себѣ Усова и не нашель для него человѣческаго образа — этотъ спокойный убійца рисовался въ его воображеніи безформеннымъ, грознымъ пятномъ, и въ центрѣ этого пятна ровнымъ свѣтомъ горѣлъ тусклый, кроваво-красный огонь.

За дверью раздались тяжелые шаги и громкій возгласъ:

— Смирно!

Потомъ загремѣло желѣзо, дверь отворилась, въ камеру вошли двое надзирателей и младшій помощникъ начальника тюрьмы — маленькій человѣкъ съ темной, острой мордочкой и пугливыми, мышиными глазами. Онъ быстро, искоса окинулъ взглядомъ фигуру Миши и молча отвернулся отъ него. Одинъ изъ надзирателей — рыжій, толстый, съ большимъ животомъ — подошелъ къ окну и потрогалъ рукой рѣшетку; другой, знакомый Мишѣ высокій старикъ, неподвижно стоялъ у косяка двери и смотрѣлъ въ лицо юноши своими мертвыми глазами. Скользявъ около его ногъ,

въ камеру влетѣла — точно облако холоднаго воздуха зимой — сѣрая фигура уголовного арестанта; онъ быстро швырнулъ подъ нары деревянную шайку, густо вымазанную смолой, и исчезъ. Ушло и начальство, громко стучая ногами и ни слова не сказавъ Мишѣ. Загремѣлъ тяжелый желѣзный засовъ, потомъ дверь шумно заперли замкомъ и пошли дальше по корридору, унося съ собой холодный твердый лязгъ ключей.

— Смирно-о! — донеслось въ камеру Миши подавленное восклицаніе.

Гдѣ-то протяжно завизжалъ блокъ, хлопнула дверь, воздухъ вздрогнулъ отъ звука, похожаго на выстрѣлъ, вновь раздался тяжелый скрежетъ желѣза, отчетливо прозвучали мѣрные твердые шаги, еще разъ Миша услышалъ суровый окрикъ:

— Смирно-о!..

И — стало тихо, точно всю тюрьму сразу окутали мягкой, непроницаемой для звуковъ темной тканью...

Миша почувствовалъ, какъ у него что-то заныло — точно зубъ заболѣлъ, но тотчасъ же онъ устыдился этой боли, встряхнулъ головой, сунулъ руки глубоко въ карманы брюкъ и, громко насвистывая, зашагалъ по камерѣ.

Въ окошкѣ явился мертвый глазъ надзирателя и его сухой, старческій голосъ спокойно произнесъ:

— Свистѣть — нельзя!

— Нельзя? — остановясь, повторилъ Миша.

— Ну, да... — рѣшительно отвѣтилъ надзиратель.

— Хорошо... не буду! — усмѣхаясь, сказалъ Миша, пожавъ плечами.

Нѣсколько секундъ глазъ тускло блестѣлъ въ маленькомъ кружкѣ двери, потомъ медленно поднялся вверхъ. За дверью прозвучали, удаляясь, мягкіе шаги...

Въ сосѣдней камерѣ у каторжанъ гудѣлъ темный, однообразный шумъ... Кто-то, должно-быть, молился или рассказывалъ сказку... Миша подошелъ къ окну, всталъ на подоконникъ и, прислонясь лбомъ къ холодному желѣзу рѣшетки, упорно сталъ смотрѣть во тьму осенней ночи... А ночь была такъ густо темна, что, казалось, если за окно высунуть руку—рука покроется сырмъ, чернымъ, какъ сажа, налетомъ... Гдѣ-то далеко трепетно и смѣло горѣлъ маленькій веселый огонекъ и, одинокій во мракѣ, окружавшемъ его, онъ былъ тоже, какъ въ тюрмѣ...

III.

Въ неподвижной тишинѣ, точно подстерегавшей звуки и готовой рѣзко обнаружить ихъ, Миша почувствовалъ, что въ немъ снова растеть гордость собою.

... Среди сотни людей только онъ одинъ нашелъ въ себѣ мужество смѣло встать и спорить противъ насилія!.. Ему вспомнились влажные глаза дѣвушки — гдѣ она? Вѣроятно, она успѣла уйти и, можетъ быть, теперь, сидя въ своей маленькой комнаткѣ, рассказываетъ подругамъ своимъ о томъ, какъ высокій, русый студентъ, гнѣвно сверкая голубыми глазами, говорилъ рѣчь, призывая на борьбу съ насиліемъ, и какъ его рѣчь зажгла въ людяхъ желаніе борьбы... И блѣдное лицо дѣвушки горитъ восторгомъ...

— Встрѣчу ли я ее когда-нибудь? — спросилъ себя Миша, задумчиво улыбаясь. Высоко въ черномъ небѣ трепетно горѣли маленькія, страшно далекія звѣзды—сквозь грязное стекло окна плохо было видно ихъ. Миша просунулъ руку сквозь рѣшетку, открылъ форточку—ночь облила лицо его струей холодного воздуха; въ камеру влетѣлъ твердый, мирный шумъ шаговъ.

— Часовой... тюрьма... и совсѣмъ это не тяжело и не страшно! — подумалъ Миша, вспоминая мрачные рассказы о тюрьмахъ и, тряхнувъ головой, добавилъ, пренебрежительно усмѣхаясь:

— Неврастеники...

Ему было пріятно сознавать, что онъ не чувствуетъ тяжести заключенія, сердце у него билось ровно, спокойно.

— Если бъ всѣ люди, общими силами такъ же смѣло, какъ вотъ я, бросились на все, что стѣсняетъ ихъ жизнь... — горячо подумалъ юноша, и ему казалось, что сейчасъ же послѣ этого натиска жизнь стала бы веселой, красивой, пріятно спокойной... Потомъ онъ вспомнилъ о своей квартирной хозяйкѣ, — она любила его за простой и всегда ровный характеръ и относилась къ нему, какъ къ сыну. Когда она узнаетъ объ его арестѣ — навѣрное сильно будетъ огорчена... Но — догадается ли она прислать постель, бѣлья и обѣдъ? Деньги заплачены ей впередъ за мѣсяцъ... И сестра тоже будетъ испугана. А мужъ ея, по обыкновенію, крѣпко потретъ себѣ лысину и со вздохомъ скажетъ:

— Ну, что же? Этого и надо было ожидать...

Противный человѣкъ мужъ сестры... да и сама она не лучше его. Живутъ въ своей Калугѣ, получаютъ три тысячи въ годъ жалованья и ничего не хотятъ...

Быстро плыли черныя изорванныя тучи, звѣзды прятались за ними и снова сверкали на темно-синихъ клочкахъ холоднаго неба... Миша, не мигая, смотрѣлъ въ высоту, и его думы кружились въ медленномъ хороводѣ, смѣняя одна другую.

— Пріятно будетъ рассказывать о тюрьмѣ, когда выйдешь на свободу... — думалось ему. — Можетъ быть, встрѣтится та дѣвушка... Предъ нимъ снова явилось ея блѣдное лицо въ рамѣ черныхъ кудрей, съ тоской

и гнѣвомъ во взглядѣ. И ему захотѣлось написать ей стихи. Онъ крѣпко закрылъ глаза, задумался и черезъ минуту взволнованно шепталъ:

— „Сквозь желѣзныя рѣшетки
Съ неба въ окна смотреть звѣзды...
Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Смотрятъ съ неба сквозь рѣшетки...

Четверостишіе показалось ему красивымъ и остроумнымъ. Обрадованный этимъ, онъ соскочилъ съ окна и, рассказывая по камерѣ, вслухъ сталъ декламировать, возбужденно улыбаясь:

— „Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Сквозь рѣшетки смотреть съ неба!“

— Говорить—нельзя!—раздался тревожный, громкій шопотъ.

Миша остановился и нѣсколько секундъ молча смотрѣлъ въ глазъ надзирателя, блестящій среди двери.

— Почему же нельзя?—спросилъ онъ, наконецъ, невольно понижая голосъ.

— Запрещено!—прошепталъ надзиратель.—Остановите себя!—все такъ же шопотомъ добавилъ онъ.

Мишѣ показалось, что теперь его глазъ смотреть иначе,—онъ точно ожилъ и въ немъ сверкаетъ какой-то смѣшной испугъ.

— Но—почему?—спросилъ Миша, подходя къ двери и тихо смѣясь.—Вѣдь кромѣ васъ—никто не слышитъ... а вамъ развѣ я мѣшаю?

Онъ наклонился къ двери и вмѣстѣ съ теплымъ дыханіемъ лица его коснулись странныя, строгія слова:

— Чего вы смѣтаетесь, господинъ студентъ? Эхъ!.. Развѣ для смѣху васъ сюда посадили?

— Да скажите вы...—началъ Миша.

Но глазъ надзирателя исчезъ, и за дверью была только притаившаяся тишина. Миша посмотрѣлъ въ круглое отверстіе и увидѣлъ въ полумракѣ корридора стѣну, выкрашенную желтой краской, въ ней темное пятно двери, окованной толстымъ желѣзомъ и запертой большимъ замкомъ, а по срединѣ двери—круглое, свѣтлое отверстіе...

— Послушайте!—сказалъ юноша, подождать и—не получилъ отвѣта.—Какой... чудаки!—подумалъ онъ. И снова въ душѣ его что-то болѣзненно заняло.

— Смирно!—глухо раздался за окномъ лѣнивый, сильный голосъ. Звякнуло ружье, составленное къ ногѣ. Миша снова вскочилъ на подоконникъ. Во тьмѣ часовой торопливо и не громко бормоталъ:

— Двѣнадцать окошкочковъ... двѣ будки...

— Ты, чувашь!—сипло говорилъ кто-то. — Ежели увидишь башка изъ окна высунется, або рука—гляди, не стрѣляй!..

— Слушаю!

— То-то! А то—бухнешь, какъ намедни... Быковъ, объясни ему подробно...

Въ тишинѣ каждое слово сверкаетъ, какъ искра во тьмѣ.

— Ежели увидишь—въ окно смотреть—не стрѣляй! Понялъ?—говорить густой басъ.

— Тахъ точино...

Два слова, сказанныя ломанымъ языкомъ, звучать боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полѣзаетъ изъ окна, а то побѣжить тутъ вотъ, али тамъ—видишь?

— Тахъ точино...

— Сейчасъ ты кричи—кто идетъ? И разъ кричи, и два... а третій—стрѣляй, ну, только—вверхъ, для тревоги... И тогда—бѣгущаго этого,—тоже стрѣляй... али

и гнѣвомъ во взглядѣ. И ему захотѣлось написать ей стихи. Онъ крѣпко закрылъ глаза, задумался и черезъ минуту взволнованно шепталъ:

— „Сквозь желѣзныя рѣшетки
Съ неба въ окна смотрять звѣзды...
Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Смотрять съ неба сквозь рѣшетки...“

Четверостишіе показалось ему красивымъ и остроумнымъ. Обрадованный этимъ, онъ соскочилъ съ окна и, расхаживая по камерѣ, вслухъ сталъ декламировать, возбужденно улыбаясь:

— „Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Сквозь рѣшетки смотрять съ неба!“

— Говорить—нельзя!—раздался тревожный, громкій шопотъ.

Миша остановился и нѣсколько секундъ молча смотрѣлъ въ глазъ надзирателя, блестящій среди двери.

— Почему же нельзя?—спросилъ онъ, наконецъ, невольно понижая голосъ.

— Запрещено!—прошепталъ надзиратель.—Остановите себя!—все такъ же шопотомъ добавилъ онъ.

Мишѣ показалось, что теперь его глазъ смотрить иначе,—онъ точно ожилъ и въ немъ сверкаетъ какой-то смѣшной испугъ.

— Но—почему?—спросилъ Миша, подходя къ двери и тихо смѣясь.—Вѣдь кромѣ васъ—никто не слышитъ... а вамъ развѣ я мѣшаю?

Онъ наклонился къ двери и вмѣстѣ съ теплымъ дыханіемъ лица его коснулись странныя, строгія слова:

— Чего вы смѣтаетесь, господинъ студентъ? Эхъ!.. Развѣ для смѣху васъ сюда посадили?

— Да скажите вы...—началъ Миша.

Но глазъ надзирателя исчезъ, и за дверью была только притаившаяся тишина. Миша посмотрѣлъ въ круглое отверстіе и увидѣлъ въ полумракѣ коридора стѣну, выкрашенную желтой краской, въ ней темное пятно двери, окованной толстымъ желѣзомъ и запертой большимъ замкомъ, а по срединѣ двери—круглое, свѣтлое отверстіе...

— Послушайте!—сказалъ юноша, подождать и—не получилъ отвѣта.—Какой... чудаки!—подумалъ онъ. И снова въ душѣ его что-то болѣзненно заныло.

— Смирно!—глухо раздался за окномъ лѣнивый, сиплый голосъ. Звякнуло ружье, составленное къ ногѣ. Миша снова вскочилъ на подоконникъ. Во тьмѣ часовой торопливо и не громко бормоталъ:

— Двѣнадцать окошковъ... двѣ будки...

— Ты, чувашь!—сипло говорилъ кто-то. — Ежели увидишь башка изъ окна высунется, або рука—гляди, не стрѣлай!..

— Слушаю!

— То-то! А то—бухнешь, какъ намедни... Быковъ, объясни ему подробно...

Въ тишинѣ каждое слово сверкаетъ, какъ искра во тьмѣ.

— Ежели увидишь—въ окно смотреть—не стрѣлай! Понялъ?—говорить густой басъ.

— Тахъ точино...

Два слова, сказанныя ломанымъ языкомъ, звучать боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полѣзетъ изъ окна, а то побѣжитъ тутъ вотъ, али тамъ—видишь?

— Тахъ точино...

— Сейчасъ ты кричи—кто идетъ? И разъ кричи, и два... а третій—стрѣлай, ну, только—вверхъ, для тревоги... И тогда—бѣгущаго этого,—тоже стрѣлай... али

и гнѣвомъ во взглядѣ. И ему захотѣлось написать ей стихи. Онъ крѣпко закрылъ глаза, задумался и черезъ минуту взволнованно шепталъ:

— „Сквозь желѣзныя рѣшетки
Съ неба въ окна смотреть звѣзды...
Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Смотрять съ неба сквозь рѣшетки...

Четверостишіе показалось ему красивымъ и остроумнымъ. Обрадованный этимъ, онъ соскочилъ съ окна и, расхаживая по камерѣ, вслухъ сталъ декламировать, возбужденно улыбаясь:

— „Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Сквозь рѣшетки смотреть съ неба!“

— Говорить—нельзя!—раздался тревожный, громкій шопотъ.

Миша остановился и нѣсколько секундъ молча смотрѣлъ въ глазъ надзирателя, блестящій среди двери.

— Почему же нельзя?—спросилъ онъ, наконецъ, невольно понижая голосъ.

— Запрещено!—прошепталъ надзиратель.—Остановите себя!—все такъ же шопотомъ добавилъ онъ.

Мишѣ показалось, что теперь его глазъ смотреть иначе,—онъ точно ожилъ и въ немъ сверкаетъ какой-то смѣшной испугъ.

— Но—почему?—спросилъ Миша, подходя къ двери и тихо смѣясь.—Вѣдь кромѣ васъ—никто не слышитъ... а вамъ развѣ я мѣшаю?

Онъ наклонился къ двери и вмѣстѣ съ теплымъ дыханіемъ лица его коснулись странныя, строгія слова:

— Чего вы смѣтаетесь, господинъ студентъ? Эхъ!.. Развѣ для смѣху васъ сюда посадили?

— Да скажите вы...—началъ Миша.

Но глазъ надзирателя исчезъ, и за дверью была только притаившаяся тишина. Миша посмотрѣлъ въ круглое отверстіе и увидѣлъ въ полумракѣ коридора стѣну, покрашенную желтой краской, въ ней темное пятно двери, окованной толстымъ желѣзомъ и запертой большимъ замкомъ, а по срединѣ двери—круглое, свѣтлое отверстіе...

— Послушайте!—сказалъ юноша, подождать и—не получилъ отвѣта.—Какой... чудаки!—подумалъ онъ. И снова въ душѣ его что-то болѣзненно заняло.

— Смирно!—глухо раздался за окномъ лѣнивый, сиплый голосъ. Звякнуло ружье, составленное къ ногѣ. Миша снова вскочилъ на подоконникъ. Во тмѣ часовой торопливо и не громко бормоталъ:

— Двѣнадцать окошковыхъ... двѣ будки...

— Ты, чувашь!—сипло говорилъ кто-то. — Ежели увидишь башка изъ окна высунется, або рука—гляди, не стрѣляй!..

— Слушаю!

— То-то! А то—бухнешь, какъ намедни... Быковъ, объясни ему подробно...

Въ тишинѣ каждое слово сверкаетъ, какъ искра во тмѣ.

— Ежели увидишь—въ окно смотреть—не стрѣляй! Понялъ?—говорить густой басъ.

— Тахъ точино...

Два слова, сказанныя ломанымъ языкомъ, звучать боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полѣзетъ изъ окна, а то побѣжитъ тутъ вотъ, али тамъ—видишь?

— Тахъ точино...

— Сейчасъ ты кричи—кто идетъ? И разъ кричи, и два... а третій—стрѣляй, ну, только—вверхъ, для тревоги... И тогда—бѣгущаго этого,—тоже стрѣляй... али

и гнѣвомъ во взглядѣ. И ему захотѣлось написать ей стихи. Онъ крѣпко закрылъ глаза, задумался и черезъ минуту взволнованно шепталъ:

— „Сквозь желѣзныя рѣшетки
Съ неба въ окна смотреть звѣзды...
Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Смотрять съ неба сквозь рѣшетки...

Четверостишіе показалось ему красивымъ и остроумнымъ. Обрадованный этимъ, онъ соскочилъ съ окна и, расхаживая по камерѣ, вслухъ сталъ декламировать, возбужденно улыбаясь:

— „Ахъ! Въ Россіи даже звѣзды
Сквозь рѣшетки смотреть съ неба!“

— Говорить—нельзя!—раздался тревожный, громкій шопотъ.

Миша остановился и нѣсколько секундъ молча смотрѣлъ въ глазъ надзирателя, блестящій среди двери.

— Почему же нельзя?—спросилъ онъ, наконецъ, невольно понижая голосъ.

— Запрещено!—прошепталъ надзиратель.—Остановите себя!—все такъ же шопотомъ добавилъ онъ.

Мишѣ показалось, что теперь его глазъ смотреть иначе,—онъ точно ожилъ и въ немъ сверкаетъ какой-то смѣшной испугъ.

— Но—почему?—спросилъ Миша, подходя къ двери и тихо смѣясь.—Вѣдь кромѣ васъ—никто не слышитъ... а вамъ развѣ я мѣшаю?

Онъ наклонился къ двери и вмѣстѣ съ теплымъ дыханіемъ лица его коснулись странныя, строгія слова:

— Чего вы смѣтаетесь, господинъ студентъ? Эхъ!.. Развѣ для смѣху васъ сюда посадили?

— Да скажите вы...—началъ Миша.

Но глазъ надзирателя исчезъ, и за дверью была только притаившаяся тишина. Миша посмотрѣлъ въ круглое отверстіе и увидѣлъ въ полумракѣ корридора стѣну, покрашенную желтой краской, въ ней темное пятно двери, окованной толстымъ желѣзомъ и запертой большимъ замкомъ, а по срединѣ двери—круглое, свѣтлое отверстіе...

— Послушайте!—сказалъ юноша, подождать и—не получилъ отвѣта.—Какой... чудакъ!—подумалъ онъ. И снова въ душѣ его что-то болѣзненно заняло.

— Смирно!—глухо раздался за окномъ лѣнивый, сильный голосъ. Звякнуло ружье, составленное къ ногѣ. Миша снова вскочилъ на подоконникъ. Во тьмѣ часовой торопливо и не громко бормоталъ:

— Двѣнадцать окошковъ... двѣ будки...

— Ты, чувашь! — слыло говорилъ кто-то. — Ежели увидишь башка изъ окна высунется, або рука—гляди, не стрѣляй!..

— Слушаю!

— То-то! А то—бухнешь, какъ намедни... Быковъ, объясни ему подробно...

Въ тишинѣ каждое слово сверкаетъ, какъ искра во тьмѣ.

— Ежели увидишь—въ окно смотреть—не стрѣляй! Понялъ?—говорить густой басъ.

— Тахъ точино...

Два слова, сказанныя ломанымъ языкомъ, звучать боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полѣзаетъ изъ окна, а то побѣжить тутъ вотъ, али тамъ—видишь?

— Тахъ точино...

— Сейчасъ ты кричи—кто идетъ? И разъ кричи, и два... а третій—стрѣляй, ну, только—вверхъ, для тревоги... И тогда—бѣгущаго этого,—тоже стрѣляй... али

бей прикладомъ, али штыкомъ... какъ тебѣ сподручно. поняль?

— Тахъ точноно...

— Ну, ходи теперь вотъ отсюда до тудова... и гляди въ окна... Да,—дряхнуть не вадумай!

— Никакъ нѣту...

— То-то... идоль! А ну, объясни—когда ты долженъ стрѣлять?

— Кохда полезить на спине...

— А ежели онъ прямо черезъ стѣнку?

Молчаніе. Слышно, какъ кто-то тяжело дышитъ и чьи-то ноги нетерпѣливо топаютъ о сырую землю.

— Н-ну, чортъ!..

— Тохда—бить... — раздается робкій, тихій голосъ.

— А ежели—голова въ окнѣ—тогда что?

Снова молчаніе. Брякаетъ ружье. Озлобленно плюютъ...

— Н-ну, дубовая башка!..

Громко звучитъ нецензурное ругательство и—противный звукъ,—точно ударили ладонью по тѣсту...

-- Тохда—ничего...—какъ вздохъ доносится едва слышный отвѣтъ.

— Врешь!—рычитъ басъ.—Тогда долженъ сказать—убери прочь голову... Поняль? У, жабы морда... Маршъ!..

... Миша плотно прильнулъ къ рѣшеткѣ, стараясь увидѣть часового, который говоритъ такъ грустно и робко. Узкое пространство между стѣнной тюрьмы и высокой каменной оградой было наполнено густой тьмой и въ ней медленно, почти безшумно двигалась небольшая сѣрая фигурка, высоко поднимая голову. Тонкая полоска штыка, поблескивая во мракѣ, была похожа на рыбу въ водѣ.

— Вубери башка!—прозвучалъ торопливый, испуганный возгласъ.

Миша тихо слѣзъ съ подоконника, осмотрѣлся вокругъ. Въ камерѣ было душно... На глаза ему попало циничное ругательство, крупно выведенное карандашемъ на сѣромъ фонѣ стѣны... Онъ прочиталъ его, помолчалъ и вдругъ громко повторилъ вслухъ... Потомъ взглянулъ на дверь, легъ на нары и закрылъ глаза...

И тотчасъ же въ двери тускло заблестѣлъ рыбій глазъ...

IV.

Миша крѣпко спалъ, раскинувшись на нарахъ, и ему снилось, что онъ тяжело бѣжитъ по узкой, темной улицѣ, а за нимъ гонится кто-то невидимый, хватаятъ его за плечи и кричитъ непонятныя, строгія слова:

— Вставайте! Повѣрка!..

Онъ открылъ глаза, приподнялъ голову—около наръ стоялъ рыжій, толстый надзиратель и дергалъ его за полу тужурки, а высокий, сутулый помощникъ начальника тюрьмы насмѣшливо смотрѣлъ на него сѣрыми глазами и говорилъ:

— Извольте вставать во-время... здѣсь не у маменьки!..

— Сейчасъ...—безобидно улыбаясь, сказалъ Миша, быстро соскочивъ съ наръ.

Помощникъ начальника взглянулъ ему въ лицо, отвернулся къ двери и уже мягче замѣтилъ;

— Вы бы спросили бумаги и написали домой... насчетъ постели... и прочее...—И, не оглянувшись, ушелъ.

Потомъ Миша ходилъ умываться въ конецъ корридора, гдѣ надъ широкимъ и длиннымъ желѣзнымъ корытомъ изъ стѣны торчалъ рядъ мѣдныхъ крановъ, а изъ нихъ текла круглой, толстой струей холодная вода... По корридору бѣгали сѣрые арестанты съ же-

стояними чайниками въ рукахъ и время отъ времени раздавался крикъ:

— За кипяткомъ... эй!

Гремя кандалами, навстрѣчу Мишѣ прошелъ высокій, стройный каторжникъ съ блѣднымъ лицомъ, въ густой русой бородѣ; онъ взглянулъ на студента, подмигнувъ ему и, улыбаясь, сказалъ:

— Что, барчукъ, накрыли?

Рыжій надзиратель принесъ Мишѣ кружку теплаго, жидкаго чая и большой кусокъ чернаго хлѣба. Корки его были похожи на подошвы сапогъ, а клейкій мякишъ распространялъ кислый запахъ.

Тюрьма гудѣла, какъ встревоженное гнѣздо осъ. Раздавался смѣхъ, ругань, обрывки пѣсень, рѣзкіе окрики надзирателей, въ корридорѣ мягко шуршали швабры, хлюпала вода, и Миша, полный остраго интереса къ жизни и людямъ, запертымъ въ этомъ старомъ аданіи изъ камня и грязи, напряженно вслушивался въ гулкій шумъ...

Онъ мало читалъ и еще меньше видѣлъ; до университета его жизнь скучно текла въ строгомъ домѣ сестры и ея мужа, и онъ чувствовалъ себя неловко среди тѣхъ студентовъ, которые свободно и горячо говорили мудренымъ, книжнымъ языкомъ о разныхъ общественныхъ вопросахъ. Общая волна недовольства жизнью уже успѣла коснуться его души, возбуждая въ ней смутное, но здоровое желаніе протеста, но онъ еще не успѣлъ и не могъ понять, куда, на что именно слѣдуетъ обратить этотъ протестъ. Теперь, чувствуя себя героемъ, онъ съ жадностью юноши поглощалъ новыя впечатлѣнія, наполняя ими огромную емкость молодой души...

Выпивъ свой чай, онъ влѣзъ на подоконникъ. По тропинкѣ, у высокой стѣны, окружавшей тюрьму, бы-

стрыми шагами ходилъ, заложивъ руки за спину, широкоплечій, чернѣйшій человѣкъ въ картузѣ и короткомъ толстомъ пиджакѣ. Порою онъ сильнымъ движеніемъ вскидывалъ голову и, не останавливаясь, быстрымъ взглядомъ осматривалъ окна. Нѣсколько разъ Миша чувствовалъ, какъ этотъ наблюдательный взглядъ яркихъ глазъ скользилъ по его лицу. Ему захотѣлось что-то сказать этому человѣку, назвать свою фамилію, спросить, за что онъ сидитъ, и когда человѣкъ поравнялся съ окномъ, Миша негромко крикнулъ:

— Послушайте!..

Откуда-то изъ-подъ окна явился часовой и, грозя пальцемъ, сурово сказалъ:

— Эй... нельзя!

Человѣкъ въ картузѣ пожалъ плечами и, улыбнувшись Мишѣ, прошелъ далѣе. Миша спрыгнулъ на полъ. Его смутилъ часовой и очень обрадовала улыбка чевѣка съ яркими глазами; она, казалось юношѣ, устанавливала между нимъ и этимъ человѣкомъ пріятное равенство и симпатію...

Около полудня въ камеру вошелъ молодой и тонкій, какъ тростинка, надзиратель съ лицомъ, безобразно изрытымъ оспой. Онъ всталъ въ двери и, не глядя на Мишу, тихо сказалъ:

— Пожалуйста на прогулку...

Было очень сыро; на дворѣ тюрьмы, въ ямкахъ между камнями блестѣла отстоявшаяся вода; трое арестантовъ ходили по двору съ метлами и лѣнливо сгоняли воду къ воротамъ, а она, уже мутная, густо насыщенная грязью, вновь медленно расплззалась между камнями...

Надзиратель привелъ Мишу за уголъ тюрьмы и негромко проговорилъ:

— Гуляйте вотъ тутъ, отъ угла до стѣны... разговаривать съ арестантами—нельзя!

Здѣсь, подѣ голубымъ, безгранично высокимъ небомъ, слово „нельзя“ точно впервые коснулось сердца Миши, и теперь въ звукахъ его онъ почувствовалъ что-то унижающее, грубо-ограниченное и тупое. Онъ нахмурилъ брови и взглянулъ въ лицо надзирателя, неподвижное какъ уродливая маска, смѣшно поросшее на скулахъ и подбородкѣ кустиками свѣтлыхъ волосъ, и глаза на этомъ лицѣ показались ему лишними, чужими. Это были глаза темные, овальные, какъ у красивой женщины; пугливо и мягко прикрытые длинными рѣсницами, они смотрѣли ласково, грустно, въ нихъ свѣтилось что-то робко-недоумѣвающее и они трагически не сливались съ этимъ искалѣченнымъ лицомъ...

— Ходите же!—сказалъ надзиратель. — Останавливаться—тоже нельзя...

Миша медленно пошелъ, а надзиратель, оглядываясь, слѣдовалъ за нимъ немного въ сторонѣ.

— Чего вы все бунтуете?—тихо говорилъ онъ, глядя въ землю.—Учились бы себѣ... потомъ вышли бы товарищемъ прокурора—только и всего! А вы—бунтуете... такой молодой, красавецъ... Чай, мамаша есть?..

Миша былъ тронутъ его тихими словами, и онъ остановился, засмѣялся и, приложивъ руку ко груди, тоже хотѣлъ сказать что-то простое, ласковое... но надзиратель испуганно отскочилъ, оглянулся вокругъ и быстро зашепталъ:

— Идите, идите! Увидать—оштрафуютъ меня за разговоръ... только и всего!

Онъ отошелъ прочь и скрылся за угломъ тюрьмы, а юноша, полный смѣшаннымъ чувствомъ печали, любопытства и радости, началъ медленно ходить вдоль высокой тюремной ограды...

Надъ приземистымъ, точно ушедшимъ въ землю грязно-сѣрымъ зданіемъ тюрьмы, съ четырьмя башнями

по угламъ, безмолвно распростерлось блѣдно-голубое небо, точно вымытое осенними дождями и полинявшее... Въ немъ было пустынно, грустно, холодно... и отъ сырыхъ стѣнъ тюрьмы тоже вѣяло печалью и холодомъ...

— Сколько времени просижу я здѣсь?—подумалъ Миша, оглядываясь вокругъ. Ему казалось, что уже и теперь онъ могъ бы рассказать о тюрьмѣ довольно много интереснаго, если бы его выпустили. И снова въ памяти его встала улица, толпа подавленныхъ людей черныя фигуры полицейскихъ, дѣвушка...

Увлеченный воспоминаніями, онъ не замѣтилъ, какъ быстро прошло время прогулки, и, когда рябой надзиратель, подойдя къ нему, сказалъ:

— Пожалуйте въ камеру...—онъ удивленно воскликнулъ:

— Уже?

Надзиратель утвердительно кивнулъ головой. Въ корридорѣ онъ тихо сообщилъ Мишѣ:

— А у меня мамаша въ богадѣльнѣ живетъ...

И виновато опустилъ голову.

— Ага!.. Ну—ничего!—улыбаясь сказалъ Миша, не найдя болѣе удачныхъ словъ. Снова закрылась тяжелая дверь камеры, снова рѣзко и зло загремѣло желѣзо засова и замка... Миша остановился среди камеры, оглядѣлъ ее, сѣлъ на нары и—вдругъ всѣ его думы, всѣ ощущенія точно растаяли, въ немъ образовалась какая-то странная пустота, и юноша замеръ, погруженный въ полузабытье...

Такъ и потекла его жизнь день за днемъ, однообразно-правильная, одноцвѣтно-сѣрая... но каждый день вливалъ въ душу его незамѣтную капельку чего-то новаго, и каждое впечатлѣніе, какъ не ничтожно было оно, казалось яркимъ на тускломъ фонѣ этой жизни.

V.

... Повѣрка давно уже кончилась, и тюрьма спитъ тяжелымъ сномъ. Сквозь отверстіе въ двери изъ корридора доносятся порою какіе-то странные звуки... Кто-то шепчетъ во снѣ, кто-то бредитъ, должно быть. Тихо шаркають за дверью шаги надзирателя—сегодня дежурить старикъ съ неподвижными глазами. Онъ медленно ходитъ по корридору и бормочетъ, а Миша лежить на нарахъ и, чутко прислушиваясь, думаетъ.

Сегодня, во время прогулки, рябой досказалъ ему свою исторію. Онъ—сынъ какого-то офицера, который соблазнилъ его мать, швейку и—бросилъ ее, оставивъ на память о себѣ свою фотографическую карточку и ребенка. Молодая женщина четырнадцать лѣтъ нянчила сына и все работала, работала безъ отдыха, не имѣя въ жизни ничего, кромѣ ребенка. Она отдала его въ приходскую школу, потомъ въ городское училище, но тамъ однажды учитель дернулъ мальчика за волосы, и мать, никогда не сказавшая сыну своему даже грубаго слова, взяла его домой. Потомъ, уже черезъ два года, она нашла ему мѣсто писца у судебного слѣдователя, а сама все шила, дѣлала цвѣты, вязала чулки, все работала, работала. Сына взяли въ солдаты, и тамъ онъ, воспитанный любовью матери и влюбленный въ нее, не стерпѣвъ насмѣшекъ надъ нею со стороны унтеръ-офицера, ударилъ начальника во время ученья. За это его отдали на три года въ дисциплинарный батальонъ безъ зачета службы, а мать его, уже старуха, все работала и плакала надъ тяжелой жизнью своего сына. Прослуживъ въ солдатахъ семь лѣтъ исковерканный, измученный, запуганный, онъ воротился домой и напелъ свою мать почти ослѣпшей,—она уже не могла работать, а ходила на паперти церквей собирать милостыню.

Но и тогда она подарила ему шарфъ, связанный ею, послѣднюю работу дряхлыхъ пальцевъ и полуслѣпыхъ глазъ, послѣднее воплощеніе своихъ силъ, безропотно отданныхъ сыну. Онъ нѣсколько мѣсяцевъ не могъ найти себѣ дѣла и жилъ милостыней, собранной матерью. А потомъ она совсѣмъ ослѣпла; онъ, наконецъ, получилъ мѣсто въ тюрьмѣ; кто-то помѣстилъ слѣпую старуху въ богадѣльню, и тамъ она теперь вяжетъ чулки сыну своему...

— Какая женщина! — думалъ Миша. — Сколько труда и любви въ ея жизни... сколько простой, трогательной красоты!

Онъ вспомнилъ пугливые, недоумѣвающие глаза рябого, его тихій голосъ...

— А какой смыслъ? Какой же смыслъ въ этой любви и трудѣ, если сынъ все-таки...

— Господинъ Малининъ! — послышался громкій шопотъ.

Миша вскочилъ съ наръ—въ окошечкѣ двери спокойно свѣтился глазъ надзирателя.

— Вы чего говорите?—спрашивалъ старикъ.

— Я? Я—не говорю...—удивленно отвѣтилъ Миша.

— Вѣдь я слышалъ!

— Это, должно быть, такъ...

— То-то... А вы—удержите себя...

Глазъ надзирателя на минуту скрылся, потомъ снова явился, и старикъ заговорилъ предупреждающимъ шопотомъ:

— Вотъ такъ же все разговаривалъ съ самимъ собой... одинъ тутъ... сказать правду—племянникъ онъ мнѣ...

— Ну?—быстро спросилъ Миша.

— Ну, и свезли его въ сумасшедшій домъ...

— Племянникъ вашъ?

— Да, да...—шепталъ старикъ, и глазъ у него странно прыгалъ, должно быть, надзиратель утвердительно кивалъ головой.

— И—сидѣлъ здѣсь?—тихо спросилъ Миша.

— Въ девятомъ номерѣ...

— И вы его... вы—тоже были здѣсь?—не сразу сказалъ Миша, чувствуя, какъ неприятно и холодно сжимается у него сердце.

— Я здѣсь—семнадцать лѣтъ,—спокойно отвѣтилъ старикъ и добавилъ:—восемнадцатый годъ пошелъ...

Миша смотрѣлъ на тусклый глазъ старика, на его длинный хрящеватый носъ и хотѣлъ спросить его:

— Неужели и племянника своего вы такъ же вотъ караулили, какъ меня?

Но, боясь обидѣть старика, онъ не спросилъ его объ этомъ, а только сказалъ:

— Давно вы здѣсь...

— Подождите-ка я стулъ принесу себѣ,—подмигнувъ, зашепталъ старикъ,—а то—трудно мнѣ нагибаться... спина болитъ!

Онъ ушелъ. Миша стоялъ передъ дверью, слушая шарканье его ногъ, и думалъ:

— Если у человѣка есть душа—у этого она должна быть такая же темная, сморщенная и сухая, какъ его лицо...

Старикъ воротился, безшумно приставилъ къ двери стулъ, и снова въ кругломъ отверстіи явился его глазъ и мохнатая, сѣдая бровь, высоко поднятая надъ нимъ.

— Вотъ, такъ-то лучше,—заговорилъ онъ.—Спать я не могу—косточки болятъ... И вы не спите... вотъ мы и поговоримъ... Ночью это можно... днемъ—нельзя, а ночью—кто узнаетъ? Днемъ-то я притворяюсь, будто строгій съ вами... нельзя иначе, начальство того требуетъ! А ночью и съ вами можно поговорить... Къ тому

же—какой вы преступникъ? Не убили, не ограбили... эхе-хе! Румяный вы, молоденькій... жалко мнѣ васъ... Смѣетесь вы, радуетесь, будто вамъ чинъ дали... эхъ, молодость! Повинились бы вы начальству-то...

Мишѣ стало непріятно слушать. Онъ нервно наклонился къ двери и спросилъ старика:

— Вашъ племянникъ чѣмъ занимался?

Снова зашуршалъ въ камерѣ сухой, безцвѣтный голосъ:

— Слесарь... Инженера онъ застрѣлили... Про него даже въ газетахъ писали... какъ же! Онъ самъ мнѣ газету читалъ... случаемъ она попала, а въ ней какъ разъ про него и напечатано... Читалъ онъ— и смѣялся... вотъ какъ вы... Рѣзкій парень былъ... Мать-то его—сестра моя—ревѣла, ревѣла... Однако—слезой кровь не смоешь... Бывало, я скажу ему—ну, что Федоръ, какова она, тюрьма-то? А онъ только фыркнетъ... Сначала—все молчалъ онъ адѣсь, сердитый былъ. А потомъ—разговаривать началъ... да и заговорился... Вотъ и вы тоже...

— Что же онъ говорилъ?—тихо освѣдомился Миша.

— А такъ—разное... кто жъ его знаетъ? Вы не калужскій сами-то?

— Да...

— То-то... фамилія знакомая. Почтмейстеръ въ Калугѣ былъ Малининъ...

— Отецъ мой...

— Ну-ну... вѣдь и я калужскій... да! Умеръ отецъ-то?

— Умеръ...

— Та-акъ... всѣ умремъ!

Говорили они оба шопотомъ, и голоса ихъ шуршали въ тишинѣ, какъ сухіе листья осени. За окномъ, какъ бы отмѣчая уходящія минуты, глухо топали по землѣ мѣрные шаги часового. И откуда-то издали, сквозь

сырую тьму ночи, едва слышно доносились, отбивая часы, печально-пѣвучіе звуки колокола.

— Скучно вамъ здѣсь?—спросилъ Миша.

— Старикамъ вездѣ скушно...—отвѣтилъ ему изъ-за двери холодный ровный шопоть.

— А... племянника жалко было... когда онъ здѣсь сидѣлъ?

— Что же его жалѣть, коли онъ человѣка убилъ... Сестру жалко... А кто человѣка убилъ...

Старикъ вдругъ замолчалъ, и лицо его исчезло, точно упало внизъ. Миша смотрѣлъ въ окошечко и ждалъ.

— Зачѣмъ врешь?—раздался за дверью спокойный, тихій вопросъ.

— Что вы сказали?—спросилъ Миша, наклоняясь къ отверстію въ двери. Лицо старика поравнялось съ его лицомъ и, медленно двигая тонкими губами большого рта, окруженнаго клочьями сѣдыхъ волосъ, старикъ, кивая головой и какъ-будто усмѣхаясь, сказалъ:

— Совралъ я... жалко мнѣ Федьку... тоже молодой былъ, хорошій парень...

Вдругъ по корридору, всколыхнувъ тишину, точно порывъ вѣтра темную воду уснувшаго пруда, пронесся дикій потрясающій вой:

— Не бей... голубчики... помилуйте!

— Что это? Что?—вадрогнувъ, крикнулъ Миша.

— Ш-шш!—зашипѣлъ старикъ.—Ничего... Это онъ во снѣ... они часто кричатъ... Тоже вѣдь у всякаго своя совѣсть есть... Ну-те-ка, спите... Ложитесь-ка съ Богомъ... Ужъ двѣнадцать било...

Онъ всталъ и пошелъ прочь, и ноги его такъ шаркали, точно по полу тащили что-то большое, мягкое и очень тяжелое.

Миша подошелъ къ нарамъ, легъ и уставился печальными глазами въ каменный, грязный сводъ, молча нависшій надъ его головой.

И безсонная ночь, полная думъ, окружила его тишиной...

VI.

Миша какъ бы откатнулся куда-то въ сторону отъ своего маленькаго прошлаго, и самое яркое въ этомъ—его „подвигъ“, уже не такъ часто вспоминался ему. Въ странной жизни тюрьмы, ревниво огражденный со всѣхъ сторонъ каменными стѣнами, онъ чувствовалъ неясный символъ, отдаленный намекъ на что-то, пока еще недоступное его сознанию. Онъ внимательно приглядывался ко всему, что окружало его, порою растерянно и недоумчиво улыбаясь, порой—съ жаднымъ, настойчивымъ интересомъ, съ тоской и тяжелымъ недоумѣниемъ въ душѣ.

Тюремное начальство относилось къ нему со снисходительной усмѣшкой—должно быть, всѣхъ невольно располагало въ пользу Миши его открытое, круглое лицо и здоровый румянецъ щекъ, его голубые, наивные глаза, добрая усмѣшка крѣпкихъ красныхъ губъ, красивый грудной голосъ и сильная, немного неуклюжая фигура.

— Н-ну-съ, г. Малининъ, какъ вамъ нравится у насъ?—спросилъ однажды во время повѣрки насмѣшливый старшій помощникъ начальника.

— Интересно, знаете ли!—отвѣтилъ Миша, улыбаясь.

Тотъ хмуро засмѣялся, потомъ изрѣзанная глубокими морщинами кожа его лба опустилась на глаза и онъ сказалъ:

— Эхъ вы... скромный наблюдатель! Прогулка вамъ увеличена на полчаса... и прочее...

— Спасибо!—сказалъ Миша.

— Не на чемъ-съ!—почему-то сухо отвѣтилъ начальникъ, уходя изъ камеры.

Рябой надзиратель, Александръ Офицеровъ, разсказалъ Мишѣ объ этомъ человѣкѣ такую исторію: однажды онъ заподозрилъ свою горничную въ кражѣ кольца у его жены, и чтобы заставить ее сознаться въ кражѣ—цѣлый день и ночь истязалъ дѣвушку. Онъ позвалъ двухъ арестантовъ, которые чѣмъ-то досадили ему, велѣлъ имъ раздѣть горничную и, привязавъ голую къ столу, заставилъ арестантовъ щекотать ее. Когда дѣвушка впадала въ безпамятство, онъ приказывалъ давать ей воду и снова мучить. Кончилось это тѣмъ, что одинъ изъ арестантовъ не вынесъ пытки, помѣшался въ умѣ, и въ дикомъ порывѣ голодной страсти хотѣлъ тутъ же при начальникѣ и товарищѣ изнасиловать дѣвушку. Онъ былъ избитъ, посаженъ въ карцеръ, а когда слѣды побоевъ исчезли—его отправили въ лечебницу для душевно-больныхъ.

— Только и всего!—тихо добавилъ Офицеровъ, когда кончилъ разсказъ и пугливо оглянулся вокругъ, спрятавъ подъ рѣсницами свои робкіе глаза. Слушая, Миша чувствовалъ отвращеніе къ мучителю, но когда—въ тотъ же день—увидалъ его въ своей камерѣ, то съ удивленіемъ замѣтилъ, что въ его душѣ нѣтъ иного чувства къ этому человѣку, кромѣ остраго любопытства и легкой брезгливости...

Изъ окна Миша увидѣлъ, что кромѣ чернаго человѣка въ толстомъ пиджакѣ, на прогулку выходятъ еще человѣкъ шесть политическихъ. Очевидно, это были рабочіе—коренастые, крѣпкіе, плохо одѣтые,—они смотрѣли на все сурово, исподлобья. Когда ихъ глаза останавливались на лицѣ Миши, онъ почему-то чувствовалъ себя неловко подъ этимъ взглядомъ, и ему

хотѣлось прыгнуть съ подоконника. На худыхъ, голодныхъ лицахъ этихъ людей точно вырѣзано было выраженіе твердой непреклонности и что-то напоминавшее о затравленных волкахъ. Нѣкоторые изъ нихъ порою улыбались ему, дѣлали какіе-то знаки. Миша тоже отвѣчалъ имъ улыбками и жестами. Онъ чувствовалъ къ этимъ людямъ большой интересъ и уваженіе и замѣчалъ, что съ такимъ же интересомъ къ нимъ присматриваются уголовные арестанты. Иногда, пользуясь невниманіемъ часового, сѣрая фигуры уголовныхъ подбѣгали къ политическимъ и выпрашивали папиросу или вступали съ ними въ быстрый, тихій разговоръ.

А однажды разыгралась такая сцена: высокій и тонкій угрюмый рабочій съ длиннымъ, худымъ лицомъ и маленькой, острой бородкой, пройдя нѣсколько разъ по тропинкѣ вдоль стѣны, остановился, заложилъ руки за спину и, поднявъ голову кверху, неподвижно замеръ, глядя въ небо. Въ углу, около будки часового, возился съ метлой и лопатой уголовный арестантъ, стройный, пожилой человѣкъ, съ большими рыжими усами на блѣдномъ лицѣ и—кривой. Онъ взглянулъ круглымъ свѣтлымъ глазомъ на человѣка, неподвижно прилипшаго къ стѣнѣ, взглянулъ разъ и два... потомъ, лѣнливо сменяя съ тропинки осенніе листья, сталъ медленно приближаться къ нему и вдругъ — негромко, красиво и задумчиво запѣлъ ласковымъ голосомъ:

„На старомъ курганѣ, въ широкой степи

„Прикованный соколъ сидитъ на цѣпи...

Рабочій медленно опустил лицо и, склонивъ голову набокъ, сталъ слушать. Губы у него были полуоткрыты,—точно онъ въ жаркій день вдругъ увидѣлъ холодную, свѣжую воду и жадно хочетъ пить. А кривой, не глядя на него, поравнялся съ нимъ и—пѣлъ:

„А воли все нѣтъ ему... нѣтъ!..

Губы рабочаго что-то беззвучно зашептали... Кривой взглянулъ въ лицо ему и молча усмѣхнулся.

У Миши вдругъ защекотало въ горлѣ; онъ соскочилъ съ подоконника и взволнованно зашагалъ по камерѣ. Въ форточку тихо лилась грустная пѣсня:

„Летятъ въ синевѣ облака...

„А степь—широка... широка...

... Иногда послѣ обѣда уголовные арестанты, сидя въ столовой подъ камерой Миши, запѣвали пѣсню и сквозь полъ камера наполнялась глухими, матовыми звуками. Въ ихъ густой волнѣ Миша не могъ уловить словъ и только однажды онъ разобралъ, какъ кто-то высокимъ, тоскующимъ теноромъ пѣлъ и жаловался:

„Море синее,

„Море бурное...

„Вѣтеръ воющій,

„Непривѣтливый...

Но чаще арестанты пѣли какія-то веселыя, безшабашныя пѣсни съ присвистомъ, съ гиканьемъ; эти пѣсни наполняли стѣны тюрьмы дерзкими звуками, полными буйной силы. Тогда Мишѣ казалось, что тюрьма дрожить, негодуя, на камняхъ ея стѣны являются новыя трещины, тяжелая злоба тревожно и невидимо льется изъ нихъ на людей... Отовсюду бѣжали надзиратели и быстро гасили этотъ взрывъ веселья, рожденнаго тоской... Миша видѣлъ, что надзиратели относятся къ уголовнымъ не одинаково: людей ничтожныхъ, которые легко поддавались порабощенію,—они презирали и порабощали, а къ людямъ смѣлымъ, умѣвшимъ отстоять свое человѣческое достоинство — почти все начальство тюрьмы относилось осторожно, даже, порою, дружелюбно, и только рѣдкіе позволяли себѣ открыто и враждебно проявлять свою власть надъ ними. А на

„политиковъ“ надзиратели смотрѣли—какъ это казалось Мишѣ—съ подстерегающимъ затаеннымъ интересомъ, и въ немъ чувствовалось недовѣріе, усталое ожиданіе чего-то особеннаго, необычнаго...

Однажды Офицеровъ, провожая Мишу на прогулку, шепнулъ ему:

— Ночью еще троихъ вашихъ привезли...

— Студентовъ?

— Мастеровые...

— Скажите, Офицеровъ, вы знаете, за что ихъ сажаютъ въ тюрьму?—спросилъ Миша.

Надзиратель подумалъ, оглянулся и, широко открывъ глаза, сказалъ, подавленно вздыхая:

— Всякъ по своему жить хочетъ... и выходить распря!

Но, помолчавъ, онъ таинственно добавилъ:

— Не согласны они...

— Съ чѣмъ?

— Вообще не согласны... со всѣмъ!..

VII.

Почти каждую ночь въ свое дежурство старый надзиратель—его звали Корнѣй [?] иловичъ—подходилъ къ двери камеры и, вставляя свое темное лицо въ круглую рамку окошечка, съ болтливостью старика начиналъ рассказывать Мишѣ какія-то безсвязныя исторіи. Корнѣй много видѣлъ, много пережилъ, но всѣ впечатлѣнія жизни перепутались въ памяти его въ огромный клубокъ тяжелыхъ несчастій, безсмысленнаго труда, униженій и какихъ-то безотчетныхъ поступковъ. Иногда эти поступки казались Мишѣ хорошими, трогали его, чаще—они были нелѣпы и дурны и всегда—необъяснимы, случайны, какъ будто чело-
вѣкъ не своей

волей дѣлалъ ихъ, а всегда только безропотно и бездумно исполнялъ повелѣнія какой-то невѣдомой и непонятной ему воли, извнѣ управлявшей имъ..

— Было это... лѣтъ пятнадцать тому назадъ,—шепталъ Корнѣй Данилычъ, неподвижно остановивъ свой рыбіи глазъ на лицѣ Миши,—вижу я—сталъ онъ у меня задумываться... сынъ-то, Алексѣй-то... Въ церковь—не ходитъ, въ трактиры—не ходитъ... не хорошо! Присмотрѣлъ я за нимъ... а онъ со штундой связался... н-да... Поругалъ его, первымъ дѣломъ—смотри, говорю, я те задамъ! А онъ—не прекращаетъ... тутъ пожаловался я на него священнику... ну, пришелъ онъ отъ священника... замѣчаю—злой такой... Я смѣюсь ему—что, молъ, задалъ тебѣ батюшка-то перцу? Тутъ онъ на грѣхъ, какъ ругнетъ его, батюшку-то... Я говорю—ахъ, ты такой саякой! Какъ смѣешь? А онъ и меня... Ну, я разозлился, да горшкомъ съ кашей въ морду ему и запалилъ... да! Разбилъ морду-то... Онъ и ушелъ... такъ съ той поры и нѣтъ о немъ ни слуху, ни духу... такъ и нѣтъ... Вотъ вы какіе строптивцы, молодые-то... н-да!

— Жалѣете теперь о немъ?—тихо спросилъ Миша.

Старикъ не сразу отвѣтилъ. Онъ помолчалъ, крикнулъ, нѣсколько секундъ бормоталъ что-то подъ носъ себѣ и ужъ потомъ спокойно сказалъ:

— Когда и жалко... Всѣхъ жалко... Бываетъ даже убійцевъ и то жалко... н-да! Тоже—не всякій зря убиваетъ... когда вѣдь и за дѣло... Можетъ нѣкоторыхъ убійцевъ благодарить надо... Палачъ, примѣрно... Онъ вѣдь не зря, а для общаго удовольствія убиваетъ... Злодѣя и убить—не грѣхъ, чай... а, вы думаете, палачу-то сладко?

Миша быстро наклонился къ отверстію въ двери—онъ хотѣлъ видѣть, что теперь выражаетъ лицо этого,

который неизвестно зачѣмъ отбросилъ отъ себя родного сына и способенъ пожалѣть даже палача? Но лицо, какъ всегда, было подобно камню, покрытому трещинами, и глаза на немъ блестѣли, точно два куска мутнаго стекла...

— Что смотрите?—спросилъ старикъ.

— Такъ... ничего...—тихо отвѣтилъ Миша.—Скажите, Корнѣй Даниловичъ... почему вамъ не понравилось, что сынъ со штундистами познакомился?

— А про нее говорили, что она вредная... штунда-то... Однако, года три назадъ сидѣло здѣсь четверо ихъ... ничего, степенные мужики! Грамотѣи все, смиренные... худого за ними здѣсь не было замѣчено! Ничего, хорошіе были арестанты... Спрашивалъ я ихъ про Алексѣя—не знаемъ, сказали. Насъ, говорятъ, много. Пожалуй, это и вѣрно—часто они здѣсь сидятъ...

Помолчавъ, онъ продолжалъ:

— Теперь преступниковъ все больше пошло... Раньше были одни воры, грабители, убійцы, ну—святотатцы... а теперь вотъ начались студенты, рабочіе, политическіе, штунда и еще всякіе... Развалъ пошелъ.

— Это вы—не вѣрно!—горячо и торопливо заговорилъ Миша. — Это — отъ непониманія... люди хотятъ исправить жизнь, сдѣлать ее лучше для всѣхъ...

Изъ-за двери раздался негромкій, сухой смѣхъ и потомъ старикъ, покашливая, сказалъ:

— Слышалъ я это... да! Многіе изъ вашихъ говорили такъ-то...

Онъ поднялся и ушелъ отъ двери, какъ будто недовольный и разсерженный.

А однажды онъ разсказалъ такую исторію.

— Я вѣдь очень жалостливъ... самъ много натерпѣлся и могу людей понять, да! Сидѣлъ, въ моемъ корридорѣ, бѣглый каторжникъ,—здоровенный такой па-

рень, красавецъ, обходительный... Мужикъ былъ, а улыбался, какъ хорошій баринъ... бывало—улыбается и ни въ чемъ ему не откажешь. Скажетъ: Данилычъ! достань табачку—достану... Ну, и вотъ... скралъ онъ гдѣ-то себѣ ножикъ, сдѣлалъ изъ него пилку, добылъ сала—и давай рѣшетку у окна обрабатывать... А я это тотчасъ и замѣтилъ... и такъ-то мнѣ его жалко стало! Эхъ, думаю, братъ, не удастся тебѣ это дѣло! Однако—не мѣшаю ему, пускай, думаю, тѣшится, все не такъ парню скучно жить... Долго онъ старался—поди-ка не дѣли три... а я все слѣжу... и все жалѣю его... Утѣшайся, молъ...

Корнѣй Данилычъ ласково и тихо засмѣялся.

— Ну, а когда работа у него до конца дошла—тутъ ужъ я и заявилъ начальнику...

— Зачѣмъ же?—съ тоской воскликнулъ Миша.— Зачѣмъ же начальнику?

— А какъ иначе?—спросилъ старикъ.

— Да вы бы этому, каторжнику-то, ему бы сказали!

— Чудакъ вы,—усмѣхнулся Корнѣй.—А какъ же рѣшетка-то? Ежели она перепилена.

— Да вѣдь можно было тогда сказать, когда онъ только началъ пилить...

— Н-да... такъ развѣ? Можно было эдакъ... это вѣрно... Ну, а какъ я сдѣлалъ—оно лучше—все-таки занялъ себя человѣкъ...

— Но вѣдь его наказали за это?

— А какъ же? Нельзя безъ того... наказали...

— И—очень?

— Н-не помню... въ карцерѣ мѣсяцъ сидѣлъ, однако... потомъ, кажись, на судѣ еще что-то дали... ужъ не помню я...

— Какая нелѣпость!—не громко, но возмущенно

воскликнулъ Миша. — Какіе исковерканные люди... и жизнь... вся жизнь!

Темное лицо старика странно закачалось въ окошкѣ и онъ, вздохнувъ или позѣвывая, медленно проговорилъ:

— Н-да... это вы вѣрно... неисправимая жизнь!

... Въ такихъ разговорахъ старикъ и юноша проводили долгіе часы, одинъ — равнодушный и холодный, другой — полный безсильнаго негодованія, тоскливаго недоумѣнія. Между ними крѣпко стояла окованная изъѣденнымъ ржавчиной желѣзомъ старая, толстая дверь, и сквозь маленькое отверстіе въ ней безсонный и болтливый тюремный житель заваливалъ душу юноши утробнымъ хламомъ своихъ воспоминаній. Миша начиналъ чувствовать зарожденіе чего-то тяжелаго и темнаго внутри себя. Но онъ понималъ, что не тюрьма — это старое, каменное неуклюжее зданіе — давитъ его, а все то, что онъ видѣлъ и слышалъ въ ней, ложится кирпичами въ грудь ему и создаетъ вокругъ души тоскливыя, тѣсныя, темныя стѣны...

Въ безсонныя ночи, лежа на нарахъ, точно притиснутый къ нимъ каменнымъ сводомъ, онъ пытался разобратъ въ хаосъ своихъ впечатлѣній, хотѣлъ сжать ихъ въ одинъ цѣльный, круглый комъ и — не могъ...

Какъ-то разъ онъ спросилъ Офицера:

— Послушайте — неужели вамъ здѣсь нравится?

— Ежели бы не дрались — ничего бы... — отвѣтилъ рабой своимъ тихимъ, мягкимъ голосомъ.

— Васъ — бьютъ? Кто?

— Меня — рѣдко бьютъ... только иногда старшій помощникъ въ зубы дастъ... Я говорю вообще... про всѣхъ... Арестанты дерутся... такъ другъ друга бьютъ — страшно! И надзиратели ихъ бьютъ... не всѣхъ... не всякаго можно ударить! Но — которыхъ можно бить — тѣхъ ужъ безъ жалости!

Онъ пугливо передернулъ плечами, оглянулся и, широко открывъ полные ужаса красивые глаза, продолжалъ, вздрагивая:

— А я—не могу, когда бьютъ... боюсь я! Не могу я этого видѣть... чтобы били!

— Вы бы ушли на другое мѣсто куда-нибудь — посоветовалъ Миша...

— Куда же? — печально опустивъ глаза, сказалъ Офицеровъ.— Вѣдь вездѣ дерутся... вся жизнь—бой, я знаю... Только вотъ моя мамаша... да въ монастыряхъ, можетъ быть, нѣтъ этого... И я бы, конечно, ушелъ въ монастырь... только...

Онъ вдругъ замолчалъ. Стояли они за угломъ тюремной башни, около кучи сора, щебня и какихъ-то обломковъ дерева. Надъ ними медленно и важно двигались темныя тучи, дулъ вѣтеръ и приносилъ откуда-то изъ города разбитые, разрозненные звуки...

— Что—только?—спросилъ Миша.

— Извините меня, — тревожнымъ шопотомъ заговорилъ Офицеровъ, часто мигая глазами, точно онъ видѣлъ предъ собой что-то ослѣпительно-яркое, — извините — можетъ это—моя большая глупость — только и всего...

— Въ чемъ дѣло? — понижая голосъ и волнуясь, быстро спросилъ юноша.

Офицеровъ подвинулся къ нему и дрожащимъ голосомъ сказалъ:

— Это—насчетъ Бога... Вы—вѣруете?

Миша опустилъ голову и, не сразу, тихо отвѣтилъ:

— Н-не знаю...

— И я тоже не знаю!—торопливо подхватилъ тюремный надзиратель.— Я очень думаю объ Немъ... вѣдь если Онъ, дѣйствительно... зачѣмъ же такой ужасъ вездѣ?.. И жестокость? Вы—человѣкъ ученый... зачѣмъ же ужасъ и жестокость?

На глазахъ его явились крупныя, тускныя слезы, движеніемъ головы онъ стряхнулъ ихъ и — поспѣшно, не оглядываясь, ушелъ прочь.

VIII.

А по тропинкѣ, мимо окна Миши, каждый день сосредоточенно и угрюмо все ходили взадъ и впередъ, тѣсно звѣри въ клѣткѣ, одинокіе, плохо одѣтые люди съ голодными лицами и большой думой въ глазахъ. Человѣкъ въ пиджакѣ уже исчезъ, теперь на его мѣсто явился какой-то худенькій господинъ въ круглой, барашковой шапкѣ и старомъ драповомъ пальто рыжаго цвѣта. Ходилъ онъ всегда очень быстро, мелкими шагами, почти бѣгалъ; пальто ему было до смѣшного велико и сползало съ плечъ, онъ постоянно встряхивалъ своимъ маленькимъ тѣломъ, стараясь удержать пальто на плечахъ, его маленькое, умное лицо сверкало улыбками, губы неустанно вздрагивали, онъ то и дѣло держалъ тонкой и сухой рукою растрепанную, черную съ просѣдью бородку, кивалъ головой... И на фонѣ сѣрой тюремной стѣны онъ, почему-то, напоминалъ Мишѣ весело и ярко пылающую свѣчу въ тускломъ и грязномъ большомъ фонарѣ...

— Кто это—новый?—спросилъ Миша Корнѣя.

— Василій Никитичъ...

— Изъ рабочихъ?

— Кто его знаетъ? — спокойно сказалъ старикъ. — Какъ будто—изъ рабочихъ... однако—тоже въ родѣ политическаго... а больше всего—блаженный... Онъ здѣсь часто бываетъ...

— Бываетъ! — повторилъ Миша улыбаясь. Ему понравилось, что объ этомъ человѣкѣ говорятъ—„бываетъ“ въ тюрьмѣ, а не „сидитъ“.

— Очень безстрашный человек!—говорилъ Мишѣ Офицеровъ, по обыкновенію осторожно оглядываясь и понижая голосъ до шопота. — Всякому онъ можетъ правду сказать,—прокурору, начальнику... Вице-губернаторъ прїѣзжалъ, онъ и ему отлил пулю—я, говоритъ, такъ думаю, а вы—иначе... но, говоритъ, уважать другъ друга мы должны, потому что я — человекъ и вы тоже—человекъ... а кромѣ этого все остальное ошибка... И мундиръ, говоритъ, ничего не значить. Дали ему за это недѣлю карцера. А онъ засмѣялся и говоритъ: это ровно ничего не значить... просто — глупость! Что же, говоритъ, карцеръ доказываетъ...

Офицеровъ вдругъ выпрямился, и въ его глазахъ Миша впервые увидѣлъ какой-то новый блескъ, похожій на радость.

— И—вѣрно! Ежели я вамъ правду, а вы меня за это по мордѣ... развѣ отъ этого правда-то на вашу сторону передвинется?

— Вы разговаривали съ нимъ?—спросилъ Миша.

— Нѣтъ... что вы! — испуганно откатнулся въ сторону надзиратель. — Ч—боюсь! Я—только съ вами... вы говорите тихо... а онъ совсѣмъ не можетъ тихо говорить... такой ужъ голосъ!

И, застѣнчиво улыбнувшись, онъ прошепталъ:

— У меня есть одинъ стихъ... очень подходящій къ нему!

— Какой? Скажите! — попросилъ Миша. Офицеровъ оглянулся, закрылъ глаза рѣсницами и, вздохнувъ, сказалъ:

— Послѣ... какъ-нибудь... Гуляйте... а я отойду... какъ бы не увидали!

— Послушайте, Офицеровъ,—съ досадой заговорилъ Миша, остановивъ его за рукавъ мундира: — вамъ нужно...

понимаете, необходимо уйти отсюда! Ну, какой вы тюремщик? У васъ такая испуганная душа...

— Ахъ... да куда же я уйду? — тихо воскликнулъ надзиратель, торопливо выдернувъ рукавъ изъ руки Миши. — Все равно... вездѣ одинаковое... смирному человѣку — вся жизнь тюрьма... и одно ему мѣсто — могила!

Низко опустивъ голову, онъ пошелъ прочь, а Миша, чувствуя смѣсь жалости къ Офицеру съ раздраженіемъ противъ него, шагаль вдоль тюремной стѣны и съ острой досадой думаль:

— Ну, какой же смыслъ въ жизни этого человѣка... какой?

Съ неба на мокрую крышу тюрьмы и грязную землю неохотно и печально летѣли снѣжинки, падали въ грязь и незамѣтно исчезали.

За угломъ тюрьмы Миша увидѣлъ сѣрую, плотную группу арестантовъ, — одинъ изъ нихъ стоялъ, прижавшись къ стѣнѣ; весь онъ съежился и, какъ затравленная собака, суетливо дергалъ шеей. Голова у него смѣшно тряслась, руки были плотно прижаты къ груди, и онъ вполголоса хрипло бормоталь:

— Братцы... не я! Вотъ крестъ — не я!

Передъ нимъ неподвижно, какъ большіе камни, стояли трое товарищей, и одинъ изъ нихъ, высокій, тоже не громко и спокойно говорилъ:

— Не пугайте его, ребята... не бейте его!

И вдругъ, отступивъ на шагъ, онъ сильно взмахнулъ ногой и ударилъ стоявшаго у стѣны въ низъ живота, продолжая все такъ же спокойно убѣждать товарищей:

— Не бейте... зачѣмъ? Ну, что это?

Арестантъ глухо охнулъ и, какъ мѣшокъ, тяжело свалился на землю, а трое товарищей, не торопясь молча и дружно начали бить его пинками, высоко под-

нимая ноги, точно они мѣсили кучу глубокой грязи... И глухіе удары каблуковъ по мягкому тѣлу покрывали спокойный голосъ высокаго арестанта, который, нанося ударъ своей длинной ногой, аккуратно и ровно приговаривалъ:

— Не бейте!.. будетъ!.. не бейте!.. р-разъ!

Гнѣвъ, ужасъ, отвращеніе наполнили грудь Миши, онъ вдругъ точно задохнулся дымомъ, что-то горячее и темное бросилось ему въ голову, ослѣпило глаза и, задыхаясь, безъ крика онъ побѣжалъ впередъ...

Но трое арестантовъ уже отошли въ сторону и высокій говорилъ:

— Ну, Пашка, будетъ валяться... ну?

У ногъ Миши корчилось, поднимаясь съ земли, небольшое, измятое, испачканное грязью тѣло, и онъ слышалъ хриплый, рыдающій голосъ:

— Ничего... я—отплачу... ладно!

— Мерзавцы! — крикнулъ Миша, повернувшись къ арестантамъ.

Высокій усмѣхнулся и, молча вытянувъ руку, показалъ ему кукишъ...

— Ничего! — хрипло бормоталъ избитый. Онъ натягивалъ дрожащими руками шапку на голову, шатался какъ пьяный, кашлялъ и плевалъ кровью. Лицо у него было искажено, рыжая борода и усы тряслись, открытый ротъ жадно дышалъ и былъ точно глубокая кровавая рана на блѣдномъ лицѣ. А въ голубыхъ глазахъ сверкала холодная, острая жестокость... Миша помогалъ ему встать съ земли, вынулъ платокъ изъ кармана... Но въ это время лѣниво подошелъ часовой и укоризненно заговорилъ:

— Опять вы подходите, господинъ! Сколько разовъ...

— Они сейчасъ избили его!—вздрагивая всѣмъ тѣломъ, сказалъ Миша.

— Говорено было вамъ—не подходить...

— Вы—поймите!—они его били!—убѣдительно повторилъ Миша.

— Не ваше это дѣло!—скучно говорилъ часовой, идя сзади Миши.—Не вы начальство здѣсь... стало быть, и ходите себѣ по указанному мѣсту... А ежели еще будете подходить къ людямъ... я о томъ доложу и лишать васъ прогулки...

— Какъ они его били!—воскликнулъ Миша, въ ужасѣ закрывъ глаза...

— Ну, что жъ? Это ихнее дѣло... кто бьетъ, онъ свое получить... а вамъ бояться нечего... ежели не будете подходить...—ворчливо и упорно твердилъ часовой.

Миша рѣзко обернулся—лицо у солдата было усталое, глаза точно выцвѣли, и въ нихъ неподвижно застыла сѣрая скука.

— Съ нашего брата за васъ спрашиваютъ,—говорилъ онъ, лѣниво двигая губами...

Миша ушелъ въ камеру раньше, чѣмъ кончился срокъ прогулки. Когда онъ, въ сопровожденіи Офицера, вошелъ въ корридоръ, кто-то изъ сумрака крикнулъ имъ:

— Назадъ! Подожди у крыльца...

— Что такое?—спросилъ Миша надзирателя, снова выходя на дворъ.

— Сосѣда къ вамъ переводятъ.

— Кого?

— Не знаю...

Изъ тюрьмы вышелъ старшій помощникъ начальника, искоса, угрюмо взглянулъ въ лицо Миши, отрывисто скомандовалъ Офицеру:

— Веди!

И вдругъ неистово зарычалъ:

— А какъ у тебя револьверъ виситъ? Рохля... По-
правь... б..... сынъ!

IX.

Миша возбужденно ходилъ по камерѣ, а въ полу-
мракѣ вокругъ него, вливаясь тонкой струйкой въ фор-
точку окна, звучала тихая жалобная пѣсня—некра-
сивая пѣсня, похожая на отдаленный вой голоднаго
волка:

— А-а-а! о-о-ой! э-ой...

И все, что пережилъ юноша за послѣднее время,
точно воскрешаемое этимъ однообразнымъ стономъ,
вставало въ памяти его послѣдовательно, настойчиво
и упрямо, какъ бы требуя отъ него объясненія.

Его „подвигъ“ представлялся ему теперь чѣмъ-то
тусклымъ, мало понятнымъ, какъ старая, покрытая
пылью и копотью картина, а себя онъ видѣлъ смѣш-
нымъ студентомъ, безалаберно размахивающимъ ру-
ками среди толпы людей, сконфуженныхъ своимъ без-
силіемъ, устыженныхъ той легкостью, съ которой ихъ
побѣдила тупая, механическая, но организованная сила.
Усталыя, злыя, равнодушныя лица полицейскихъ, пре-
небрежительная гримаса офицера, которому Миша кри-
чалъ свою рѣчь, околоточный надзиратель съ боль-
нымъ зубомъ,—все это всплывало въ памяти юноши
холоднымъ бессмысленнымъ пятномъ, кошмаромъ, ко-
торый давилъ его мозгъ..

— Вѣроятно, имъ было стыдно за наше безсиліе...—
думалъ Миша и тотчасъ же понималъ, что эти угрю-
мые, усатые солдаты, приученные и привыкшіе обра-
щаться съ людьми, какъ со скотомъ, ничего не мо-
гутъ стыдиться и ничего не умѣютъ чувствовать, кромѣ
физической боли и страха предъ той силой, которая
поработила ихъ и двигаетъ ими, какъ хочетъ. Ему

вспомнился извозчикъ—какъ онъ пугливо задергалъ вожжами, когда околоточный крикнулъ на него... Прозвучалъ голосъ равнодушнаго человѣка у воротъ части,—человѣка, который говорилъ о людяхъ, какъ о бревнахъ или кирпичахъ... Онъ вспомнилъ мать Офицера, которая не протестовала, когда сыну ея дали фамилію по профессіи его отца, а вѣдь она должна была знать, что эта фамилія будетъ причиной злыхъ и обидныхъ насмѣшекъ надъ сыномъ... Можетъ быть, только изъ-за этого Офицеровъ провелъ три года на каторгѣ дисциплинарнаго батальона... Вспомнилась горничная начальника тюрьмы, простившая издѣвательство надъ нею только за десять рублей... Офицеровъ, на всю жизнь испуганный жестокостью людей... безсмысленная жалость старика Корнѣя, который, безропотно подчиняясь чужой волѣ, восемнадцать лѣтъ твердить людямъ все одно и то же тупое слово:— „нельзя!“ —и никогда не спросилъ себя—почему же нельзя?

Даже во снѣ люди видятъ и чувствуютъ, что ихъ бьютъ и, охваченные ужасомъ, они кричатъ во снѣ дикими голосами:

— Не бей! Пощади...

— Людей — нѣтъ, нѣтъ людей! — тоскливо думать Миша.—По землѣ ходятъ какіе-то странные, жалкіе исполнители чужой воли—то робкіе, то злые и жестокие и почти всегда — безличныя существа. Они едва ли понимаютъ то, что равнодушно дѣлаютъ, и никто изъ нихъ не смѣетъ, не въ силахъ сказать гордое человѣческое слово—не хочу! Тюрьма—внутри людей, и вся жизнь вокругъ нихъ тоже тюрьма...

Миша остановился среди камеры—отвратительное чувство какой-то липкой, холодной тоски наполнило его грудь. За окномъ уныло колебалась пѣсня:

— А-а-о-ой...

Мишѣ стало казаться, что это въ немъ, въ его груди дрожить и стонетъ тоска, боль, и горькій стыдъ за людей...

— Послушайте...—раздался въ камерѣ тихій шопотъ. Миша почти съ радостью пошелъ къ двери—въ отверстіи посреди ея ласково блеснули красивые глаза Офицера.

— Что вы?—спросилъ Миша.

— Такъ... не спите?

— Нѣтъ...

— Въ тюрьмѣ очень многіе плохо спятъ... Прослушайте стихи-то... если любопытно...

— Пожалуйста... говорите!

— Только, я думаю—они запрещенные.... Это во второмъ этажѣ было написано... въ башнѣ, карандашемъ на стѣнкѣ... Ужъ навѣрное запрещенные...

Глаза Офицера на минуту исчезли изъ кружка въ двери, потомъ онъ вставилъ въ него свои губы, и камеру наполнилъ тихій, таинственный шопотъ, весь пропитанный теплой грустью и страхомъ:

— Жилъ когда-то человѣкъ...

Только правдѣ былъ онъ другомъ.

И за эту дружбу съ правдой

Не любилъ никто его...

Говорили всѣ о немъ

Съ ненавистью и со страхомъ.

И нигдѣ себѣ пріюта

Человѣкъ не находилъ...

Одинокій, всѣмъ чужой,

Тихо умеръ онъ въ темницѣ,

И никто не провожалъ

Его гроба до могилы...

Неизвѣстно, гдѣ зарытъ

Вѣрный другъ гонимой правды,

Только сердце мое знаетъ

Эту тайну... и—молчать...

Въ кругломъ отверстіи старой, туго связанной желѣзомъ двери шевелилось что-то темное, мягкое, живое, рождая тихія, грустно дрожащія слова. Миша, широко открывъ глаза, стоялъ, наклонивъ голову къ окошку, слушалъ, и ему казалось, что это само дерево двери, насыщенное тяжелыми вздохами людей, поглотившее множество тоски и одинокихъ думъ, превратило человѣческое страданіе въ печальную легенду и теперь таинственно рассказываетъ ее. И этой легендѣ, чуть слышно вздыхая во тьмѣ за окномъ, вторитъ безконечная пѣсня—стонъ.

Въ окошечкѣ что-то передвинулось, потомъ теплыми огоньками заблестѣли, улыбаясь, глаза Офицера.

— Понравилось вамъ?—прошепталъ онъ.

Въ горлѣ Миши было сухо и въ груди его не хватило воздуха. Онъ пристально смотрѣлъ въ красивые глаза и вдругъ ему показалось, что тюремный надзиратель долженъ былъ самъ сочинить эти стихи, непременно самъ! Не сразу и тихо онъ отвѣтилъ:

— Да... понравилось... Почему вы думаете, что это запрещенные стихи?

— Какъ же—вѣдь о правдѣ! А похоже на Василя Никитича?

— Не знаю... можетъ быть... Вы сами... не сочиняете стиховъ?

— Я?—удивленно спросилъ Офицеровъ.— Нѣтъ... куда же? Я—не смѣю... Только когда еще въ солдатахъ былъ, такъ составилъ себѣ одну молитву...

— Какую? Скажите!

Нѣсколько секундъ тишины и — снова по камерѣ пронесся шелестъ простыхъ, задушевно сказанныхъ словъ:

— Господи, Боже мой! Почему такъ много въ людяхъ и жестокости, и злобы? Господи — почему?..

Этотъ вопросъ, какъ огромная волна, мягко, но сильно толкнулъ Мишу въ грудь, охватилъ и смялъ его. Онъ безшумно шагнулъ назадъ, присѣлъ на край наръ и, крѣпко упираясь спиной въ уголь печи, неподвижно уставился на дверь и—ждать чего-то...

А Офицеровъ спокойно говорилъ:

— Она была длинная... теперь ужъ я забылъ ее... Знаете—очень я люблю стихи... они совсѣмъ не похожи на то, что люди говорятъ...

Миша видѣлъ, что глаза надзирателя внимательно смотрять на него; онъ слышалъ шорохъ за дверью и однообразно-унылые звуки пѣсни за окномъ... Отъ печки спина его нагрѣвалась, но въ груди было тѣсно и холодно.

— Вамъ нездоровится?—спросилъ надзиратель.— Такая погода тяжелая...

— Нѣтъ, ничего...—глухо отвѣтилъ Миша.

Ему казалось, что въ камерѣ душно, воздухъ въ ней какой-то странно густой, насыщенный тяжелымъ, теплымъ шопотомъ, и трудно дышать этимъ воздухомъ.

— Вы—лягте,—посоветовалъ Офицеровъ.— Спать пора.

И неожиданно онъ добавилъ:

— А я знаю, кого рядомъ съ вами посадили...

Миша промолчалъ. Глаза Офицера ласково сверкнули и исчезли.

Теперь, на мѣстѣ ихъ, осталось только маленькое, круглое отверстіе по срединѣ двери, и сквозь него былъ виденъ мертвый, сѣрый кружокъ стѣны, освѣщенный ровнымъ, неподвижнымъ свѣтомъ. Болѣзненно наморщивъ лобъ, Миша смотрѣлъ на него и читалъ про себя:

— И нигдѣ себѣ пріюта
Человѣкъ не находилъ...

За окномъ едва слышно вилась и дрожала пѣсня, точно плутая во тьмѣ... Какъ будто тотъ, кто началъ пѣть ее, уже не могъ остановиться, безвольно отдался во власть ей и надрывалъ себѣ грудь въ этой одно-тонной жалобѣ...

Потомъ слуха Миши коснулся непонятный drobный стукъ... точно гдѣ-то упало нѣсколько капель дождя...

X.

Миша снялъ тужурку и хотѣлъ лечь, но въ глаза ему бросилось темное пятно плѣсени въ углу, и онъ вдругъ вспомнилъ безформенное, измятое побоями сѣрое тѣло арестанта у тюремной стѣны. Охваченный горячей волной жалости и отвращенія, онъ быстро пробѣжался по камерѣ, а потомъ вскочилъ на подоконникъ, прислонился головой къ желѣзу рѣшетки и, тихо постукивая пальцами по стѣнѣ, задумался, полный тяжелой тревоги.

Извнѣ къ стекламъ окна плотно прильнула густая тьма ночи, молча разсматривая блѣдное, осунувшееся лицо юноши. Рѣдкія, сухія снѣжинки, на мигъ вырываясь изъ мрака, тихо, грустно шуршали о стекла и исчезали, проглоченныя тьмою...

Мишѣ казалось, что вся жизнь людей окутана густой, мутно-желтой тучей болѣзненно напряженной жестокости. Всѣ поступки людей точно пропитаны непонятнымъ, бессмысленнымъ чувствомъ озлобленія другъ противъ друга и противнымъ желаніемъ истязать, издѣваться, мучить. То открытое и грубое, то—глубоко спрятанное внутри человѣка—тонкое, хищное или тупое и тяжелое—это темное чувство окрашиваетъ всю жизнь въ угрюмый тонъ осеннихъ сумерекъ, полныхъ тоски и гнетущаго холода... И среди этой дикой свалки

озлобленныхъ людей пугливо мелькають, какъ снѣжинки въ ночи, милые, добрые безсильные люди, въ родѣ Офицерова съ его матерью... Въ памяти Миши ясно прозвучала робкая жалоба:

— Господи, Боже мой! Почему такъ много въ людяхъ и жестокости, и злобы? Господи—почему?

Весело усмѣхаясь, предъ нимъ встали „два громы“ изъ Вязьмы, онъ вспомнилъ твердо увѣреннаго въ своемъ правѣ убивать... Якова Усова...

И откуда-то, какъ огни во мракѣ ночи, одиноко, мужественно являются суровые, крѣпкіе люди. Они ходять вдоль тюремной стѣны и, „несогласные со всѣмъ“, сосредоточенно думаютъ какую-то большую, всю жизнь обнимающую думу...

— Что они думаютъ?

Миша тяжело спрыгнулъ съ подоконника и снова заходилъ по камерѣ.

За дверью въ неподвижной тишинѣ корридора медленно плавалъ странный звукъ, напоминавшій кипѣніе воды. Миша остановился, прислушался... Въ камерѣ напротивъ его кто-то бредилъ, кто-то торопливо бормоталъ неясныя слова, захлебываясь ими, и въ этихъ словахъ—тоже слышалась жалоба... Въ концѣ корридора тихо разговаривали надзиратели.

— Только и всего! — услыхалъ Миша задумчивое восклицаніе Офицерова.

Снова въ камерѣ раздался какой-то странный стукъ,— нѣсколько быстрыхъ ударовъ, раздѣленныхъ неправильными паузами. Миша сумрачно оглянулся — по полу безшумно пробѣжалъ мышенокъ—точно прокатился маленькій клубокъ шерсти и исчезъ подъ нарами. И еще разъ настойчиво прозвучалъ этотъ нервный стукъ. Миша догадался, вздрогнувъ, зачѣмъ-то крѣпко прижалъ къ стѣнѣ ладонь своей руки и сталъ

гладить ея по шероховатой штукатуркѣ, какъ бы желая поймать этотъ стукъ.

Ему показалось, что звуки рождаются вотъ въ этой точкѣ стѣны,—тогда онъ всталъ на колѣни, зачѣмъ-то нахмурился, поднялъ руку... съ досадой опустилъ ее, снова поднялъ и безтолково забарабанилъ ногтями въ стѣну... Потомъ прислушался—было тихо...

Онъ вскочилъ, бросился къ двери и, приложивъ губы къ окошку, тревожно, умоляюще, но не громко воскликнулъ:

— Офицеровъ! Надзиратель...

И когда Офицеровъ явился у двери, Миша торопливо, нервно зашепталъ:

— Послушайте... голубчикъ! онъ стучить...

— Василий Никитичъ?

— Да? Это онъ?

— Онъ... только...

— Скажите... шепните ему—я не умѣю!

— Боюсь я...

— Ничего! Мы—осторожно...

— Ну, если узнають... такъ меня...

— Да нѣтъ же! Скажите, чтобы азбуку... Я не знаю...

Офицеровъ откачнулся отъ двери и изъ коридора прилетѣлъ его покорный шопотъ:

— Хорошо... я скажу...

И онъ ушелъ... А потомъ снова явился, блеснули его грустные глаза, и раздался шопотъ:

— Слушайте...

Не сказавъ ему ни слова, Миша подбѣжалъ къ стѣнѣ, остановился предъ ней напряженно и, улыбаясь, замеръ, весь охваченный трепетнымъ желаніемъ говорить, говорить!

Полуоткрывъ ротъ, онъ стоялъ предъ стѣной, тяже-

лой стѣной и, готовый раскланяться съ ней, смотрѣлъ на нее жадно горящими глазами...

Изъ стѣны раздѣльно и внятно летѣли одинъ за другимъ не громкіе, но твердые удары, упрямые, сухіе звуки камня, и пальцы правой руки Миши, невольно вздрагивая, послушно повторяли ихъ...

... Спустя нѣсколько дней Миша, закутавшись въ одѣяло, стоялъ на подоконникѣ, плотно прижимаясь плечомъ къ косяку и, нахмуривъ брови, рассматривалъ причудливые рисунки мороза на стеклахъ окна.

За тюремной стѣной, на холодное зимнее небо поднималось невидимое солнце, сѣрая, скучная тучи становились свѣтлѣй и прозрачнѣе. Выпалъ снѣгъ; онъ лежалъ на землѣ тонкимъ слоемъ, темная, мерзлая грязь, разрывая его бѣлизну, сумрачно смотрѣла въ небо...

Вздрагивая отъ холода, Миша вспоминалъ сухіе, твердые звуки, которые передала ему въ эту ночь изрѣзанная трещинами старая стѣна его камеры, вспоминалъ и—претворялъ ихъ въ слова и мысли...

— Да! Жизнь—жестка и безпощадна... Жизнь—борьба рабовъ за свободу и господъ—за власть, и она не можетъ быть мягкой и спокойной, она не будетъ доброй и красивой, пока есть господа и рабы!..

— Какой у него голосъ?—подумалъ Миша о своемъ сосѣдѣ. Онъ вспомнилъ его худое, тонкое тѣло и рѣшилъ, что голосъ, должно быть, высокій, рѣзкій, непріятный, совершенно лишенный тѣхъ сочныхъ, грудныхъ нотъ, какія звучать въ голосахъ людей добрыхъ и мягкихъ. И Миша недружелюбно покосился на стѣну, за которой теперь, должно быть, уже спалъ этотъ человѣкъ, такъ похожій на ярко горящую свѣчу въ грязномъ фонарѣ.

Въ памяти юноши все вставали мѣрными, суровыми рядами мужественныя, твердыя, холодныя, какъ куски льда, слова, складываясь въ крѣпкія, круглыя мысли.

— Да! Жизнь не будетъ справедливой и прекрасной, пока ея владыки развращаются властью своею, а рабы—подчиненіемъ... Нѣтъ! Жизнь будетъ полна ужаса и жестокости до той поры, пока люди не поймутъ, что одинаково вредно и позорно быть и рабомъ, и господиномъ...

Холодъ утра крѣпко обнималъ тѣло Миши жесткимъ объятіемъ. Часто, мигая красными отъ бессонной ночи глазами, Миша разсматривалъ рисунки мороза и порою оглядывался на стѣну съ недобрымъ чувствомъ, которое онъ не желалъ бы замѣчать въ себѣ, но невольно замѣчалъ. За эти нѣсколько ночей стѣна наполнила душу его неисчерпаемой массой быстрыхъ, нервныхъ, твердыхъ стуковъ и теперь, превращая ихъ въ мысли, онъ чувствовалъ, что сердце его покрывается такимъ же холоднымъ рисункомъ, какъ рисунокъ мороза на стеклѣ окна.

Но вмѣстѣ съ этимъ гдѣ-то глубоко внутри его тихо разгоралась теплая, согрѣвающая мысль:

— Произвольно и несправедливо все это... Развѣ можно дѣлить людей только на два лагеря?.. А, напримѣръ, я? Вѣдь, въ сущности я—не господинъ и... не рабъ!

Мелькнувъ въ его душѣ, какъ искра, эта маленькая, хитрая мысль тотчасъ же уступила мѣсто большому, суровому твердому мыслямъ. Онѣ ставили предъ юношей желѣзное требованіе работы долгой, трудной, незамѣтной—великой работы, полной непоколебимаго мужества, спокойнаго примиренія съ простой скромной ролью чернорабочаго, который очищаетъ жизнь огнемъ своего ума и сердца отъ гнилого, вет-